Вера Морозова

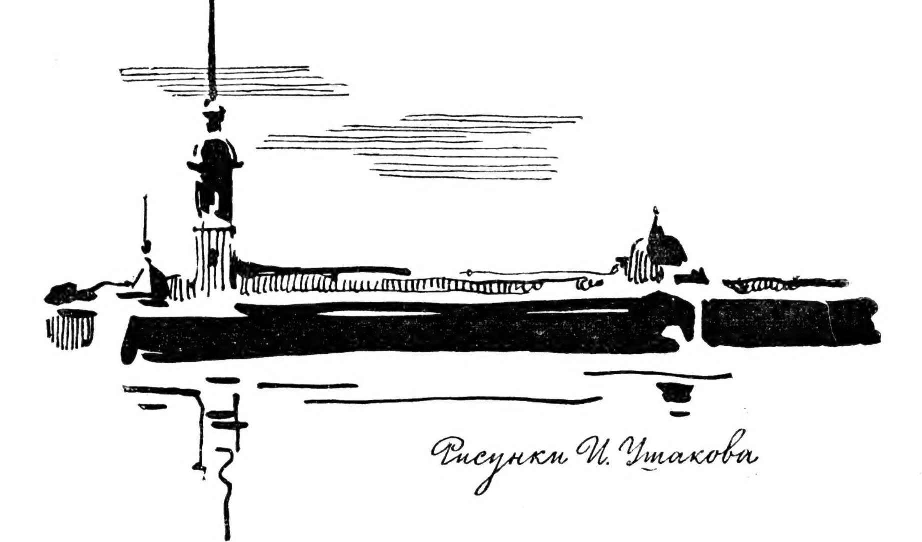


Мост вздохов

Издательство «Детская литература»

Вера Морозова

Мост вздохов



Рисунки И. Ушакова

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
~1972~

Морозова В. А.

М 80 Мост вздохов. Ил. И. Ушакова. М., «Дет. лит.», 1972.

256 с., с ил., 75 000 экз., 62 к., в пер.

Профессиональному революционеру Людмиле Сталь пришлось пережить многое. Арест на станции Граница с транспортом «Искры», перевозка шрифтов и оружия, пропагандистская деятельность в лейб-гвардии Семеновском полку, редактирование подпольных газет, тюрьмы и ссылки — таков путь этого замечательного человека.

7—6—3
461—72

Р 2

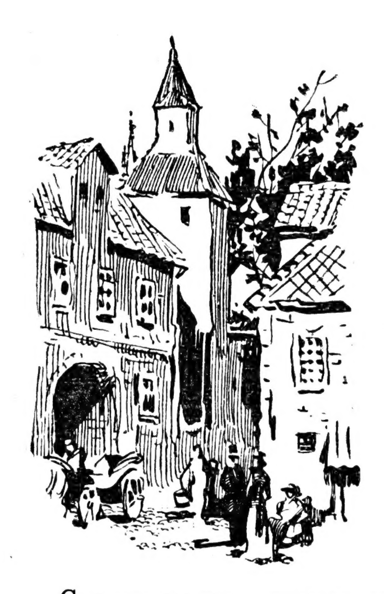
МЮНХЕН

Первые дни ноября в Мюнхене напоминали золотую осень в России. Багряные листья кленов устилали узкие улочки близ Старой ратуши; трещали под ногами опавшие желуди вековых дубов, отцветали крупные георгины в аккуратных палисадничках; шептались березки, тонкие, словно девчонки, поредевшей листвой; купались в пыли воробьи, распушив короткие перья, да смотрелись в прозрачные воды реки Изара, опоясавшей старую часть города, пики осоки с бархатными початками.

Солнце мягким светом заливало разноцветные крыши домов, играло в водах реки. Теплый ветерок шевелил пожелтевший лист. Осень, золотая осень, а в России уже первые вьюжные метели и тяжелый мокрый снег...

Высокая молодая женщина в модном парижском пальто, радуясь солнцу и теплу, прошла в павильон, откуда начиналась канатная дорога-фуникулер. На площадке, обрамленной стриженым самшитом, стоял толстый кондуктор с тяжелой сумкой через плечо. Он вежливо протянул билет и пригласил в вагон с зеркальными окнами, напоминавший блестящую игрушку. Прозвучал звонок. Кондуктор тщательно задвинул дверцы кабины, и вагон, качнувшись, медленно поплыл вверх.

Дама откинула шитую вуаль и начала рассматривать панораму города. Ступенчатые крыши домов, остроконечные кирки с золотыми крестами, пожарная каланча... А вот и знакомый отель, разукрашенный резными колоннами, в котором она остановилась после возвращения из Парижа. И опять ступенчатые крыши домов да высоченные пирамидальные тополя, которые, казалось, могли поспорить с пожарной каланчой. Вагон медленно вползал в узкий туннель, густо заплетенный диким виногра-



дом. Дама удивилась: в вагоне стало темно, и вдруг яркое солнце, будто омытое дождем, ударило в стекла кабины. Заискрилась изумрудная зелень лавровишневых деревьев, заголубело небо, прозрачное до синевы.

Из вагона высыпали студенты в форменных фуражках и заторопились к зданию Технического училища, громко переговариваясь. Дама посторонилась, пропустила студентов. А потом долго стояла у кружевной балюстрады. В голубой дымке расстилался город— с устремленными ввысь куполами соборов, вытянутой грушей обсерватории, огромным циферблатом часовой башни, широкой лентой реки Изара.

Средневековые улочки гулко разносили стук каблуков по крупному булыжнику. Дама обогнула здание Технического училища, выкрашенное серой краской и обнесенное массивной оградой. По обеим сторонам ворот возвышались фигуры воинов с арбалетами и пучками каменных стрел. За оградой строгие дорожки, усыпанные крупным желтым песком, и газоны с цветущим кустарником. На велосипеде, сверкающем спицами, проехал почтальон. Длинные худые ноги его смешно вращали колеса. Велосипед подпрыгивал по крупному булыжнику, и острые плечи почтальона вздрагивали. Почтальон с готовностью приподнял фуражку с широкой лентой. Дама вежливо ответила на приветствие.

Через несколько кварталов дама остановилась, проверила адрес и толкнула массивную дверь с медным кольцом вместо ручки. По крутой лестнице поднялась на второй этаж. В парадном пахло затхлостью и мышами. На звонок вышел мужчина лет сорока. Высокий, чуть сутуловатый. На широкоскулом лице выделялись карие глаза с хитрецой под редкими кустиками бровей.

— Наконец-то, Людмила Николаевна! — обрадовался мужчина и добавил:—Думал, что заплутали в незнакомом Мюнхене.

— Нет, Алексей Иванович, нашла-то сравнительно просто,

но время, к сожалению, рассчитать не смогла.— Она начала снимать пальто, положив ридикюль и лайковые перчатки на зеркало.— Надеюсь, не заставила волноваться?

Алексей Иванович неопределенно пожал плечами. Они познакомились в Париже — он приезжал закупать оружие, а она заканчивала там годичное пребывание, спасаясь от ареста, грозившего в России. Знакомство было столь непродолжительным, что он толком и узнать-то ее не успел. Запомнил лишь приятное открытое лицо да веселый звонкий голос. Знал, что она из Екатеринослава, из семьи фабриканта, что закончить образование ей на родине не удалось — продолжала его в Париже.

— А я возвращаюсь в Россию! — с радостью сказала Людмила Николаевна, проходя за Алексеем Ивановичем в небольшую комнату.

— То-то, смотрю, расфрантились! Едва признал!

Алексей Иванович окинул женщину пытливым взглядом. Действительно, трудно ее было узнать. Элегантна. Там она была скромнее, проще. А теперь платье тяжелого шелка плотно облегало высокую стройную фигуру. Широкий пояс с кожаной пряжкой подчеркивал тонкую, гибкую талию. Глухой ворот с ажурным кружевом оттенял белизну лица. Под густыми, пушистыми ресницами добротой светились серые глаза. Сросшиеся у переносицы густые брови и чуть вздернутый нос придавали лицу пикантность. Пухлые губы дрожали от сдерживаемой улыбки, а легкие светло-каштановые волосы и горделивая посадка головы делали ее запоминающейся и красивой.

— Пришлось принарядиться — так конспиративнее! — Людмила Николаевна виновато оглядела платье, и улыбка, которую она пыталась все время удержать, осветила ее лицо.

Комната, тесно заставленная мебелью, ей понравилась. Людмила Николаевна присела на венский стул, сложив маленькие руки. Посреди комнаты продолговатый стол, заваленный конвертами, банками с клеем, пачками прокламаций, пахнувших скипидаром. В углу — газеты в аккуратных стопках. Людмила Николаевна сразу узнала — «Искра»! Именно из-за «Искры» она и сделала вынужденную остановку в Мюнхене, где в эти месяцы 1901 года печаталась газета, из-за нее и разыскала Алексея Ивановича, занятого транспортировкой нелегальщины в Россию. Кажется, его временно отстранили от закупки оружия. В эмиграции он не первый год, тяготился разлукой с родиной, но пока ему не разрешали вернуться в Россию — за ним значился громкий судебный процесс, каторга и редкостный по муже-

ству побег. Вот и кочует по Европе по партийным делам... А в России — жена, дети, товарищи...

— Продолжим наш старый разговор.— Алексей Иванович деловито натянул черные нарукавники и начал рассовывать прокламации по конвертам.— Нельзя игнорировать опыт народовольцев в доставке литературы в Россию. Вспомним Дейча, Клеменца, Морозова, Фигнер. Правда, доставка нелегальщины тогда не имела такого массового характера, но метóда та же... Ильич требует, чтобы «Искра» как можно больше и чаще попадала к рабочим.

— Мне кажется, что мы в Париже,— все тот же разговор.— Людмила Николаевна с доброй усмешкой посмотрела на своего собеседника.— Вот именно, размах доставки литературы в наши дни стал другим, а посему давайте мне транспорт «Искры», да не жадничайте. Здесь каждое слово созвучно моим чувствам. Обрадовалась, когда впервые в Париже увидела ее, сразу домой заторопилась. Явку в московскую организацию получила — теперь дело за вами, дорогой Алексей Иванович!

— Явка явкой! — Алексей Иванович почесал редкую бородку.— А вот как быть с литературой?

— Отвезу — я не боюсь!

— Да разве дело в боязни? Нет, голубушка, как доставить литературу целехонькой!

— Я — счастливая! — Людмила Николаевна подсела поближе к столу и, подперев красивую голову маленькими руками, не отводила глаз от собеседника.

— Молодость... Молодость...—не то шутливо, не то неодобрительно проговорил мужчина, продолжая раскладывать прокламации по конвертам.

— Какая там молодость — двадцать восемь!—с легким вздохом ответила Людмила Николаевна.— Провезу литературу так, что комар носу не подточит. Только дайте побольше — обидно доставлять по чайной ложке. Рабочие так ждут газету...

— Нужно все взвесить,— с некоторой ворчливостью проговорил Алексей Иванович.— Берите, голубушка, банку с клеем и начинайте помогать — это тоже скажется на количестве отпущенной вам литературы.

Людмила Николаевна, засмеявшись, натянула нарукавники и, раскрыв конверты веером, начала их смазывать клеем. Работала ловко, быстро.

— Из Парижа я частенько отправляла листовки в письмах. Бывало, ночи напролет надписывала конверты в Россию. Толь-

ко эффективность такого способа не велика. Хотя помню, как в бытность в Екатеринославе мы радовались, когда приходили такие письма. Старшая сестра дала адрес, по которому потекла нелегальщина ручейком.— Людмила Николаевна чистой тряпкой осторожно проводила по конверту.— Волновались, читали, спорили до хрипоты, а потом пожаловала полиция... Обыск... Неприятности... Оказывается, в жандармском управлении на заметку брали всех, кто получал корреспонденцию из-за границы. Вызвали отца и приказали приструнить дочек. Дольше всех в городе продержался страховой агент общества «Нью-Йорк» — в ворохе деловой корреспонденции терялась нелегальщина. Но потом и он провалился. Начались аресты, всевозможные кривотолки... Даже не хочется вспоминать...

— Но благодаря этим письмам вы и ваши сестры приобщились к революции,— возразил Алексей Иванович, и редкие кустики его бровей взлетели вверх.

— Конечно, дело не в письмах — в доме собирались «неблагонадежные», велись политические споры да и старшая сестра рано вовлекла меня в круг социальных вопросов. Но и письма, безусловно, делали свое дело.— Людмила Николаевна взяла ридикюль и вынула надушенные листки.— Совершенно забыла, в поезде строчила письма по соннику. Пригодятся для шифровки — написаны по всем правилам, расстояние между строк приличное, тайнопись будет удобно разместить. Ну и тягомотина: «Милостивая сударыня, видеть во сне черную кошку в пятницу не такое уж несчастье, как могло показаться на первый взгляд...» Удивительно: жандармы любят читать эти глупости!

— Они любят читать не только письма по соннику,—ответил Алексей Иванович. Не прерывая работы и показав глазами на край стола, попросил: — Положите их там.

— Нет, отправка багажа — дело стоящее. Сразу везешь пуд нелегальщины! Честь и слава! А так письма, бандероли—сколько невидимых миру слез: то бумага разных цветов, то формат брошюры не соответствует формату книги. Однажды в каталог Луврской картинной галереи заделывала брошюру Плеханова... Бог ты мой, думала, поседею! Конечно, заботишься не о себе — малейшая оплошность стоит свободы товарищам...

— Да, оплошности не прощаются! — понимающе кивнул головой Алексей Иванович и, прервав работу, закурил папиросу.— Здесь, в Мюнхене, как-то непривычно чувствуешь себя после российского подполья. Первые месяцы по ночам вскакивал при каждом шорохе.

— Вы давно в Мюнхене?

— В Мюнхене? Нет, сравнительно недавно.

— Правильно, мы же в Париже встречались! — поспешно заметила Людмила Николаевна и, как всегда при смущении, покраснела.

— В Париж завернул случайно. Оружие самое дешевое в Бельгии.— Алексей Иванович еще раз с жадностью затянулся и, с сожалением загасив папиросу, принялся за конверты.— Там произошел трагикомический случай. На пароходе «Генерал Тотлебен» ночью начался обыск. Слышу, поднялась беготня, грубая брань. Закрылся в каюте: пароход утром уходил в Россию и через знакомых матросов я отправлял партию наганов. На пристани кто-то убил полицейскую собаку — подозрение пало на русских. Вот так петрушка, а у меня полный чемодан оружия! Закупил в Льеже — в городе несколько оружейных фабрик, дешевле не придумаешь. Сначала решил не открывать каюту, но потом понял — бесполезно. Постучали. Здоровущий полицейский ввалился в каюту, а на палубе — второй, с овчаркой. Полицейский вытягивает мой чемодан и требует ключи. Поволынил, поволынил, а потом откинул крышку. Наганы, черные, вороненые, лежат один к одному. Думаю — конец! Полицейский равнодушно поглядел на мое богатство: «Хотите в торговле попробовать? Желаю удачи — некоторым везет». Едва на ногах устоял от удивления. Полицейский начал прощаться и вдруг кинулся диким зверем. Что такое? Какая беда приключилась? В руках у меня перочинный нож, будь он неладен. Подарили, когда сделку завершал.

— Перочинный нож?! — От удивления у Людмилы Николаевны округлились серые глаза.

— Да, самый обыкновенный перочинный нож. В Бельгии законы строгие: если оружие является товаром, то пожалуйста — имейте при себе целый чемодан, а если оружие предназначено для защиты, то хранение его карается тюрьмой.— Алексей Иванович прищурил карие с хитринкой глаза и опять потянулся за папиросой.— Спасибо, хорошо язык знал. Долго спорил с полицейским, отказывался идти на берег, объяснял, что нож — подарок... Выручил кок — посоветовал запрятать нож в чехол. Тут полицейский успокоился—в чехле нож становился товаром.

— И как же закончилось дело в Бельгии? — спросила Людмила Николаевна, ошеломленная такой своеобразной логикой.

— Закончилось обычно — меня выслали из страны, но произошло это позднее. В последний раз был в Льеже в мае. Аре-

стовывал все тот же здоровущий полицейский, который производил на пароходе ночной обыск. Он признал меня и сказал: «Вы, мосье, скупаете оружие — это не противоречит нашим принципам торговли, но нас заставляют преследовать русских революционеров...» А потом в полиции подсовывали переводчика, какого-то типа из охранки, ссылаясь на закон, якобы запрещающий вести допрос иностранца без переводчика. Я отказался... Но терзали долго.— Алексей Иванович посмотрел на Людмилу Николаевну грустными карими глазами, сделал глубокую затяжку.— Теперь занимаюсь транспортировкой «Искры»...

— Ну и дела! — восторженно отозвалась Людмила Николаевна, серые глаза ее лучились.— А я торчала в Париже на этих проклятых фельдшерских курсах! Кругом такие события, борьба... Нет, скорее в Россию!

В ее звонком голосе слышалось явное неудовольствие, на круглом лице от обиды дрожали губы. Алексей Иванович мягко улыбнулся, пожелтевшими от табака пальцами зажег спичку, закурил.

— Ничего, успеете. Дел на каждого хватит. «Искру» запрячем в чемодан с двойным дном? Этот способ пока оправдывает себя.

— Оправдывает-то оправдывает,— торопливо согласилась Людмила Николаевна, стягивая черные нарукавники.— Но раз я в Мюнхене, то, помимо чемодана, наградите меня и юбкой, в которую была бы зашита литература. Я сильная, выносливая.

На лице Людмилы Николаевны вспыхнуло такое нетерпение, так энергично она встряхивала головой, что Алексей Иванович еще громче рассмеялся:

— Не торопитесь, дорогая: и чемодан с нелегальщиной, и юбка, начиненная прокламациями, как пирог... Рискованно. Тут с контрабандистами товарищи договариваются о переброске большой партии... Скорее всего, договорятся.

— Вряд ли... Контрабандисты нелегальщины боятся, открещиваются от нее как черт от ладана. Мне один бандюга объяснял: если на границе зацапают с литературой, то из обычного контрабандиста он сразу превращается в политического преступника. Тут и долгий арест, и следствие...

— Конечно, лучше французские чулки таскать без пошлины,— с горечью согласился Алексей Иванович, кивая головой.— За литературу берутся неохотно, да и верить им нельзя. Часто сваливают тюки в лесу, сочиняя, что за ними гнались стражники. Прохвосты, настоящие прохвосты... «Искру» нужно доверять

только самым хорошим людям... Людям идеи... Вот почему требуется особенная осторожность.

— Пожалуй, вы правы,— неохотно согласилась Людмила Николаевна.

— Я займусь чемоданом с двойным дном, а вы погуляйте по Мюнхену.— Алексей Иванович поднялся, чтобы проводить гостью.— Город прекрасный, живописный. Посмотрите средневековую Старую ратушу, побывайте в пинакотеке, галерее живописи... Какие есть жемчужины: Рембрандт, Гойя... Да и от соборов получите удовольствие...

— Спасибо, Алексей Иванович. Решила побродить по берегу Изара. Желтый кружащий лист, покрасневшие от легких морозцев деревья — все золотую осень России напоминает.— Людмила Николаевна помолчала и, закалывая шляпу большой булавкой, спросила: — Как будет с чемоданом?

— Обычно. За вами заедут в отель, кто-то из наших будет провожать, он и чемодан привезет... Наберитесь терпения и побольше выдержки — дело не шуточное...

СТАНЦИЯ ГРАНИЦА

Вагон плавно покачивало. За окном проносились аккуратные станции в зелени тополей; небольшие городки с неизменной остроконечной киркой и блестевшим часовым циферблатом у колокольни; с узкими улочками, тесно зажатыми кирпичными домами; с деревянными мостами над мелководными речушками; разукрашенные яркими красками осени леса с зелеными островками ельников. Золотая осень! Осень и в России была ее любимым временем года, а здесь, в чужой стране, красота казалась несказанной.

Людмила Николаевна, утомленная дорожными хлопотами и беготней по городу, отдыхала. Положила на диван голову и бездумно рассматривала припорошенные желтизной леса. Кажется, отъезд прошел вполне благополучно. На вокзале ее провожал молодой человек из русских студентов, одетый ради такого случая с особой тщательностью. Дорогое драповое пальто. Мягкая фетровая шляпа. Он вел Людмилу Николаевну под руку, а носильщик в фуражке с высокой тульей нес заветный чемодан черной кожи с белым набором. Непринужденно остановились у вагона. Лицо ее было под густой вуалью — спасибо моде! Огляделась неторопливо, достойно. У вокзального колокола стоял

Алексей Иванович. Из конспиративных соображений он не подошел проститься, но много курил, зажигая спички чуть вздрагивающими пальцами. В карих глазах—тоска. Было немного стыдно за свою радость, но что поделаешь? Ударил последний звонок. Она поднялась в вагон и, уже держась за поручни, долго махала бежавшему за вагоном студенту, чувствуя свежий ветерок и вызывая неудовольствие усатого кондуктора. Алексей Иванович снял шляпу, прижал ее к груди, но даже в эти последние минуты оставался сдержанным. Тоска захлестнула сердце — его можно понять: опять чужбина, долгая разлука...

В купе сидел благообразный старичок с бородкой клинышком. Он вежливо приподнялся, поздоровался. Помог поставить чемодан на полку и, извинившись, углубился в газету. Людмила Николаевна отколола шляпу и тоже начала листать журналы, которыми на дорогу снабдил Алексей Иванович, но потом отложила, испытывая столь долгожданное чувство покоя. В вагоне загорелся свет, проводник в белом сюртуке предложил кофе. Старичок закрыл газеты и с удовольствием принялся чаевничать.

— Позвольте узнать: не с баденских ли вод? — спросил он, потирая пухлые руки.

— Нет, из Парижа. В Мюнхен заезжала к подруге.

— Париж... Париж...— мечтательно запел старичок.— Сколько безумств связано в моей жизни с этим городом... «Комеди Франсез», «Гранд опера»... Елисейские поля... Лувр...

— В Париже каждый может найти все, что созвучно его сердцу.—Людмила Николаевна подняла сросшиеся брови и внимательно посмотрела на соседа.

— А что созвучно вашему сердцу? — Старичок вновь потирал пухлые руки.— Если не рассердитесь на любопытство: путь дальний, а дорожные разговоры — самые откровенные. К тому же русскому человеку без них не обойтись.

— К чему сердиться? — искренне удивилась Людмила Николаевна, и ее большие серые глаза заискрились.— Я в Париже была впервые, впечатление ошеломляющее. Эйфелева башня... Сорбонна... Целыми днями бродила по городу, восторгалась и удивлялась. После тихой провинциальной жизни свыкнуться с Парижем весьма не просто, потом засела в библиотеках да пропадала на лекциях.

— Значит, поехали за знаниями, а не в модные магазины? Похвально, весьма похвально.

— Нет, я не пуританка. Парижским модам свою дань отда-

ла. И в Мюнхен заезжала, чтобы передать коробки от портных. Только пришлось в модах остановиться: батюшка ограничил меня деньгами. Тут и занялась науками, а то бы...— Людмила Николаевна, лукаво засмеявшись, тряхнула красивой головой.

— Батюшка человек состоятельный?

— Да, весьма. В Екатеринославе ему принадлежит крупная фабрика, но деньгам счет знает и мотовству не способствует.

— Денежки счет любят,— довольно хихикнул старичок и не удержался от нового вопроса: — Всё промотали? Подарки успели купить?

— Конечно, купила: матушке — модное боа, сестрам — последние шляпки от мадам Бонатье, а подругам — безделушки.— Людмила Николаевна показала глазами на полку с чемоданом.— Полнехонек всякого добра.

Старичок одобрительно кивал головой. Улыбалась и Людмила Николаевна. Она радовалась и возвращению на родину, и русской речи, и дорожному разговору, без которого действительно не выдержать такой дальний путь, и тому, что почти не приходилось говорить неправды, ибо по опыту знала: излишняя ложь частенько осложняет положение, а забот и так предостаточно.

— А как с социалистическими идеями? — Старичок громко высморкался в красный фуляровый платок.

— Я изучаю литературу — мадам Сталь и Жорж Санд.— Людмила Николаевна отвечала очень серьезно.— Сделалась в Париже большой поклонницей женской эмансипации.

— Это все дело безопасное: эмансипация, социология, но только в известных пределах.— Старичок предостерегающе поднял пухлую руку, таинственным шепотком прибавил: — В юности я был лавристом. Да, да, сторонником Лаврова. Начитался книг, к несчастью, они оказались в семейной библиотеке, и стал готовить себя в революционеры. Прежде всего решил «сжечь за собой корабли» и сбежал из дома, а потом уже занялся «подготовкой». Трудился усерднейшим образом. Начал с системы Канта — Лапласа, как полагается, потом от астрономии перешел к физике, далее следовало изучать химию, физиологию и, лишь обогатив свое познание этими науками, заниматься социализмом. Но силенок не хватило — в книгах разбирался плохо, все пугало, отвращало. Спасение пришло неожиданно. Как-то вечерком вычитал у Бакунина интереснейшее суждение, что большинство из тех, кто в юности являлся крайним революционером, с годами становился умереннее, а в старости — даже реакционером...

Представляете! Это писал сам Бакунин, которого я боготворил, как и Лаврова. Подумал, подумал и решил: к чему эти мудрствования, когда все равно повторишь жизнь своего отца? Вернулся к родителям домой из слесарной мастерской, попросил прощения... Матушка от счастья щедро наградила меня деньгами и отпустила в Париж, а в библиотеке повесила портрет Бакунина.

— Значит, вы из реакционеров? — холодно спросила Людмила Николаевна, позванивая ложечкой о тонкий край стакана.— Я об этом сужу по возрасту.

— Ну уж реакционер! — хмыкнул старичок в бородку клинышком.— Просто из здравомыслящих. Только пережитое помогло мне снисходительнее относиться к увлечениям молодежи.

Людмила Николаевна потеряла интерес к разговору. Смотрела в окно, вслушивалась в стук колес. Сколько таких рассудительно-снисходительных, а попросту трусливых людей на Руси! Смолоду пошумят, покуражатся, пожонглируют революционными фразами, а потом побеждает так называемый здравый смысл. Вот и превращается человек в обывателя, святые порывы, стыдясь, списывает на грехи молодости...

Золотая осень сменилась вьюжной зимой, шуршащий лист — крупными хлопьями снега. На третий день из-за поворота показалась пограничная станция Варшавско-Венской железной дороги Граница. Потянулись длинные приземистые пакгаузы, чистенькие кирпичные постройки, товарные составы на запасных путях, охраняемые солдатами частей, прикомандированных к таможне. Кондукторы в необъятных романовских полушубках держали зажженные фонари. Пробегали озабоченные офицеры, громыхая шашками и покрикивая на солдат.

Людмила Николаевна тревожно наблюдала за беготней, поднявшейся на пограничной станции. Пожалуй, она впервые поняла, как трудна задача, как сложен и полон случайностей ранее неведомый ей путь доставки столь большого транспорта, как тяжело будет миновать препятствия и как необходимо все это преодолеть. Старичок свернул плед и попросил кондуктора привязать его к чемодану.

— Ба, голубушка Людмила Николаевна, да чемоданы-то у нас одинаковые! — удивился он, когда кондуктор снял с верхней полки чемоданы.

Людмила Николаевна и сама удивилась. У дивана два совершенно одинаковых чемодана жатой кожи с массивными замками.

Только у ее чемодана набор был из белого металла, а у старичка — из черного. Она даже обрадовалась этому обстоятельству. Чемодан-то как удачно подобрали... Как у всех! На такой чемодан и внимания не обратят. Впрочем...

Кондуктор попросил их не выходить из вагона. У дверей появился усатый унтер в лихо заломленной папахе. Пассажиры столпились у окон, приглушенно переговариваясь. Показался длинный и худой чиновник — таможенник, с большой папкой, напоминавший ученого аиста. Он торжественно вышагивал, высоко поднимая тощие ноги. За ним полковник и жандармский ротмистр. Усатый унтер выкатил грудь, кондуктор засуетился.

Людмила Николаевна, вздохнув, возвратилась в купе и приготовилась к неизвестности. Дверь откатилась. Таможенник ледяным голосом поздравил с возвращением и попросил приготовить паспорта. Неприятно похрустывая тонкими длинными пальцами и крепко зажав папку под мышкой, он ждал. Людмила Николаевна через плечо протянула паспорт. Таможенник опустил очки на кончик длинного носа и начал сличать приметы, означенные в документе. Полковник в купе не заглядывал, а стоял у окна в коридорчике. Но ротмистр, молодой и щеголеватый, беззастенчиво вертел чемоданы.

— Возможно, вам нужна помощь? — полюбопытствовала Людмила Николаевна, чуть прищурив глаза.

Ротмистр задержал взгляд на элегантной даме, выпрямился. В парижском пальто из легкой пушистой шерсти, отделанном витым шнуром, Людмила Николаевна была удивительно хороша. Блестящий меховой воротник сливался с локонами светло-каштановых волос. Стройная. Гибкая. В руках крошечная муфта. Большие серые глаза полны лукавства и насмешки. Черные густые брови резко выделялись на смуглом, с легким загаром лице. Казалось, старичок заметил впечатление, произведенное его соседкой на молодого ротмистра, и довольно усмехнулся. Ротмистр отступил в коридор, не переставая разглядывать молодую женщину.

Людмила Николаевна держалась непринужденно. Молча следила за таможенником, все еще терзавшим паспорт. Изящно вскинула лорнет в черепаховой оправе, когда кондуктор попросил у нее билет.

— Мадам возвращается из Парижа.— Таможенник не отрывал бесцветных глаз от документа.— Срок вашей визы не истек... Мадам возвращается раньше...

— Да, семейные обстоятельства...— Людмила Николаевна с

легким недоумением отвечала таможеннику, подчеркивая неуместность его вопроса.— Матушка расхворалась.

— Мадам следует в Петербург или в Москву?—допытывался таможенник, просматривая на свет вид на жительство.

— Конечно, в Москву... У меня и билет до первопрестольной...— Людмила Николаевна говорила мягко, хотя назойливое внимание таможенника, как и присутствие жандармского ротмистра, вызывало смутное беспокойство.— Москва... Петербург... А почему вас это занимает? Разве появились какие-либо ограничения?

— Нет, не появились, мадам.— Таможенник вежливо козырнул и повернулся к старичку, не отдавая ей документа.— Ваш паспорт?

Сосед раскрыл бумажник. Людмила Николаевна по каким-то неуловимым признакам начинала догадываться о неблагополучии. «Возможно, эти строгости каждый раз на границе. А теперь, после выхода «Искры», таможенники совершенно голову потеряли,— раздумывала она.— Паспорт собственный, а нелегальщина так славно запрятана. К тому же чемоданы с двойным дном для таможенников практически недосягаемы». И все же спокойствие не приходило. Полковник перешептывался с жандармским ротмистром, кидал многозначительные взгляды то на нее, то на соседа. Людмила Николаевна, призвав выдержку и самообладание, продолжала мило улыбаться старичку, с которым таможенник выяснял какие-то обстоятельства.

— Господин возвращается из Бадена?

— Да, из Бадена... Лечился на водах... Каменная болезнь почек...— Старичок нервничал, дряблые щеки его вспыхнули.

Таможенник поднес паспорт к близоруким глазам и в который раз проверял визы. «Видно, поляк. Обороты речи странные, да и выговаривает слова с излишней старательностью... Но какой же дотошливый!» — с сердцем решила Людмила Николаевна и зябко повела плечами.

— Господин проследует в Петербург? — Таможенник раскрыл пронумерованную книгу и сделал отметку.

— Нет, поначалу в Москву, а затем уж в Петербург.— Старичок вздернул бородку, недовольно отрезал: — Вольному — воля!

— Пожалуйста, покажите ваши вещи!

Сосед толкнул свой чемодан и, неожиданно улыбнувшись, обратился к Людмиле Николаевне, сидевшей на мягком диване:

— Могу сыграть плохую шутку, сударыня! Чемоданы-то на-

ши как близнецы похожи, возьму и увезу... А сестры и подруги моей очаровательной попутчицы останутся без парижских платьев и шляпок.

На круглом лице Людмилы Николаевны изобразился такой неподдельный испуг, что даже невозмутимый чиновник, напоминавший аиста, ухмыльнулся.

— Лучше казните! Без подарков меня в России не примут, да и сама я франтиха отчаянная. Надумали — без туалетов из Парижа!

— Трепещите, трепещите, любезнейшая Людмила Николаевна!

Старичок галантно поцеловал ее руку и, очень довольный собой, нахохлился. Людмила Николаевна понимающе улыбнулась.

Таможенник направился в соседнее купе и холодно сказал:

— Попрошу вещи доставить в таможню... По инструкции они подлежат досмотру...

Людмила Николаевна возмущенно всплеснула руками, надула губки. Старичок раскричался:

— Милостивый государь, я надворный советник... Надеюсь, меня не подозревают в недозволенных провозках контрабанды?

— Это же безумная трата времени,— капризничала Людмила Николаевна, энергично поддержав своего попутчика.

— Формальность, мадам... Пустая формальность,— быстро ответил таможенник и, не слушая возражений, приказал усатому унтеру: — Отнеси, братец!

Людмила Николаевна сдвинула бровки, поморщилась. Подумав, решительно отвернулась к окну.

— Мадам, во избежание неприятных случайностей попрошу проследовать в таможню! — неожиданно вмешался в разговор жандармский ротмистр.

— Пойдемте, голубушка! Как вам могло прийти в голову такое: доверить чужим людям вещи? — Старичок суетливо поднялся и, поманив пальцем кондуктора, попросил: — Возьми-ка мой чемодан.

Молодая дама, поддерживаемая своим попутчиком, неторопливо шла за кондуктором, тащившим чемоданы к одноэтажному зданию вокзала, в котором размещалась таможня. В просторном зале, напоминавшем сарай,— длинные столы. Пахло затхлостью, обдавало холодом. Вдоль стен, побеленных известью,— дубовые скамьи. Внимание ее привлекла железная

дверь с решетчатым оконцем. Вот и конец пути! Сердце заныло, защемило.

Кондуктор поставил чемоданы на стол. Получил мелкую ассигнацию. Попрощался, довольный. Она позавидовала ему — у двери стояли солдат и жандармский ротмистр. Ей-то так легко не уйти! Пассажиры, их становилось все больше, выстраивались вдоль стола у чемоданов, корзин и баулов по одну сторону, таможенники — по другую. Людмила Николаевна заняла свое место по соседству с каким-то толстяком с неприятным лицом. Заломив бобровую шапку и распахнув шубу на меху, он нервно барабанил короткими пальцами по крышке стола. Нервозность толстяка раздражала ее. Недовольно прищурив серые глаза, она опустила подбородок в воротник. Старичок сердито кашлял, закутывал шею теплым шарфом.

— Теперь часа на два застряли. Холод для моих почек страшнее пистолета.— Он с горечью улыбнулся.— Позволил себе перефразировать Грибоедова.

— Важно, чтобы ноги были в тепле,— ответила Людмила Николаевна, стараясь поддержать разговор: все было полно ожидания и неуверенности.

— Какие лица у таможенников — квадратные подбородки, бычьи шеи! — наклонился к ней надворный советник.— Да, они похлеще любых контрабандистов... Теперь уж глядите за вещами в оба глаза.

— А мне так хочется в буфет... Горячего бы шоколаду! — мечтательно проговорила Людмила Николаевна, поглубже засовывая руки в пушистую муфту.— Скорее бы все кончилось.

— Ждать и догонять, голубушка, всегда тяжело,— отозвался старичок, натягивая меховые перчатки.

Ждать пришлось долго. Таможенники придирчиво рылись в чемоданах, заставляя выкладывать вещи, взвешивали багаж.

— Каждый раз по-новому! То почти не глядят, а то спасения нет! — ворчал надворный советник, постукивая замерзшими ногами.

Наконец таможенник подошел поближе и остановился около толстяка в бобровой шапке. Толстяк еще сильнее забарабанил короткими пальцами, засопел. Таможенник приказал открыть чемодан, помедлив, спросил:

— Недозволенных товаров нет?

— Спаси бог! — возмутился толстяк.

— А это что? — Таможенник ловко вынул картонку из



чемодана и обнаружил пачку фильдекосовых чулок.— Пошлину нужно платить!

— Беда-то какая! Господин чиновник, чулки для жены... Почему платить пошлину?

— Для личных нужд в таком количестве не разрешается. Инструкция, пункт восьмой.— Таможенник нехотя достал книгу и стал делать записи.— Да и стыдно, господин Пшеничников, не первый раз встречаемся.

— Первый... Вот те крест — первый...



— Хватит юлить... — остановил ротмистр толстяка, пытавшегося что-то возразить. — Старые, ох какие старые знакомые!

Жесткие складки, появившиеся у губ, придали лицу ротмистра злое выражение. «Почему они так обращаются с ним?.. Видно, субчик»,— недоумевала Людмила Николаевна, вслушиваясь в чужой разговор.

Толстяк заморгал белесыми ресницами и с редкостной проворностью вытащил бумажник.

К удивлению Людмилы Николаевны, таможенник отрицательно закачал головой, когда она начала отстегивать ремни чемодана. Поглядел с нарочитым безразличием и, отчетливо выговаривая слова, поинтересовался:

— Недозволенных товаров нет?

— К чему? Коммерцией не занимаюсь.— Людмила Николаевна пожала плечами.

Таможенник снял со стола чемодан, поставил на зеленые весы, напоминавшие большой пустой ящик. Сердце ее встревоженно колыхнулось. Таможенник привычно перевел гири по железной планке и уныло бросил, записывая вес на бумажке:

— Сорок два фунта... Многовато!

— Родня большая, да и денег истрачено немало,— шутила Людмила Николаевна, не выказывая беспокойства.

Таможенник промолчал. Поковырялся с весами, вновь поставил чемодан. Задумчиво взглянул на молодую женщину и, что-то прикидывая, беззвучно пошевелил губами. Потом подозвал жандармского ротмистра, пошептался. Извинился и попросил даму подождать. Затем перешел к надворному советнику, нервно теребившему бородку клинышком, и, словно чему-то обрадовавшись, быстро потащил его чемодан на весы. «Белый набор... Черный набор... — раздумывала Людмила Николаевна. — Вот она, неизвестность, при которой каждая минута — тюрьма или свобода». Жандармский ротмистр энергично помогал таможеннику — передвигал гири, взвешивал чемодан.

— Двадцать три фунта! Что за чертовщина — чемоданы-то одинаковые! — распалялся таможенник, показывая на весы.

Людмила Николаевна пожала плечами. В душе нарастала тревога. «Счастье, что чемодан не велели открыть... Обойдется... Обойдется...» — успокаивала она себя. Старичок с недоумением поглядел на нее и, ухмыляясь, спросил:

— Голубушка, провозите слитки золота! А?!

— Золото мне бы не помешало,— с мягкой улыбкой отозвалась молодая женщина.

Таможенник поставил чемоданы рядышком. Оглядел и осторожно начал простукивать, приложив ухо к крышке. И как тогда в вагоне, Людмилу Николаевну снова начали раздражать тонкие, худые пальцы чиновника. Простукивал он ловко — несколько раз возвращался к одному и тому же месту. Форменная фуражка наползала ему на глаза.

— Сшиби с зимы рога,— посоветовал ему жандармский ротмистр, доставая из кармана шинели портсигар.

— Господа, попрошу освободить чемоданы.— Таможенник распрямился и потребовал: — Предъявите на основании пункта второго инструкции вещи для досмотра.

Говорят, надежда последней оставляет человека. Людмила Николаевна в томительные часы ожидания хорошо поняла значение этих слов. С какой-то задорной энергией она начала расстегивать ремни, туго обхватившие раздувшиеся бока чемодана, открывала замки ключиком и, полушутливо принимая помощь надворного советника, выкладывала на стол покупки модных парижских магазинов. Вот они, вещи, которые с таким старанием выбирала для камуфляжа: яркая бухарская шаль, воздушное платье в густых оборках, изящные коробки с дорогими духами, тонкое белье, куски кружев — валансьен... Лицо таможенника изменилось: из скучающего и безразличного сделалось сосредоточенным и холодным. Старичок нахохлился, будто сердитая птица, на происходившее смотрел с неодобрением и брезгливостью. Жандармский ротмистр больше не крутил ус, а с яростью выбрасывал из чемодана надворного советника, отказавшегося это делать, свертки и сюртуки, книги и коробки конфет.

— А казался душа-человек,— громко заметил старичок, обращаясь к Людмиле Николаевне, и, перехватив злющий взгляд ротмистра, нравоучительно закончил: — Недаром говорят в народе: человека видим, а души его не видим.

— К старости следовало бы быть умнее! — прокричал ротмистр, давший волю гневному чувству.

— Начнем отделять овец от козлиц,—с горечью заметил старичок.

Людмила Николаевна положила маленькую руку в лайковой перчатке на его руку, добрым взглядом просила успокоиться. Надворный советник галантно поцеловал ее руку, наклонив голову.

— Прикинем на весах чемоданы! — буркнул таможенник, как бы с трудом раскрывая плотно сжатые губы.— Нет, нет... Каждый в отдельности.

Ротмистр согласно кивнул и быстро стащил с весов чемодан с белым набором, принадлежавший Людмиле Николаевне.

— Семь фунтов! — Таможенник аккуратно записал цифру на клочке бумаги.— Ставьте второй...

Людмила Николаевна до боли сцепила маленькие руки, нетерпеливо постукивала меховыми башмаками, спасаясь от холода. На весах чемодан с белым набором, ее чемодан, который с такой тщательностью готовил в дорогу Алексей Иванович.

— Пятнадцать фунтов! — уронил таможенник и в раздумье попросил ротмистра: — Еще раз следует проверить.

— Семь фунтов...— Ротмистр грубо кричал: — Пятнадцать фунтов!

Людмила Николаевна поняла, что слова он выкрикивал со зловещим смыслом. Потом уже, в арестантском вагоне, эти слова долго будили ее ночами: «Семь фунтов... Пятнадцать фунтов...»

— В вашем чемодане, мадам, пятнадцать фунтов! — желчно обернулся к ней таможенник.— Разница большая.

— Сделаны из разной кожи... Вот и все.— Она спокойно встретила колючий взгляд чиновника.— Да, и чемоданы делают различные мастера — не вижу в этом трагедии.

— И все же трагедия произошла, сударыня! — бушевал ротмистр, размахивая руками и возбужденно дергая ус.

— Велик Леонардо да Винчи: «Проси совета у того, кто умеет одерживать победу над самим собой»,—презрительно прищурив большие серые глаза, обратилась Людмила Николаевна к надворному советнику.— Этой мудрости меня учили с детства. Странно видеть человека при исполнении служебных обязанностей, столь потерявшего власть над своими чувствами и поступками.

Она высоко подняла красивую голову и легким движением поправила прическу. Ротмистр вызывал у нее гнев. Пухлые губы ее презрительно сжались, сросшиеся густые брови вопросительно поднялись. Страха она не знала, более того, казалось, что все это происходит с кем-то другим, а она со стороны присутствует при некрасивой и неприятной сцене.

— Чемоданы сделаны из одной кожи... Выпущены на одной фабрике в Мюнхене — вот марка, мадам.— Таможенник старался говорить мягко, испытывая невольное уважение к достоинству этой молодой и изящной женщины.

Людмила Николаевна молчала. Она понимала, что причину нашли, что скоро для нее все будет кончено, но все еще не теряла надежды на какое-то чудесное избавление от опасности. Надворный советник, любуясь ее красотой, попытался вступиться:

— Господа, откуда могла молодая дама знать вес чемодана? Пошла и купила — эти хозяйчики умеют навязывать свои товары... От их любезной наглости не так просто отделаться.

— Конечно. Так и было.

— Чемоданов с двойным дном на фабрике «Франц Мен-

цель», где вы изволили купить его, не продают,— с явной издевкой отпарировал ротмистр, стараясь не смотреть в сторону Людмилы Николаевны.

— Так не сама же она его сделала? — невесело пошутил старичок, не понимая всего драматизма положения.

— Вот эту загадку и должна раскрыть следствию ваша очаровательная спутница! — все с той же издевкой отвечал ротмистр.

Ротмистр круто повернулся на каблуках сапог, начищенных до блеска, поманил унтера с красной толстой шеей. Неповоротливого, квадратного. Людмила Николаевна замерла. Что будет? Неужели все откроется? Она подведет Алексея Ивановича? Провалит транспорт?!

— Мадам, очевидно, нам объяснит, чем вызван небывалый вес чемодана? — как можно мягче спросил таможенник. В его голосе слышалась надежда.

— Ничего не понимаю—чемодан купила на фабрике «Франц Менцель». Это рядышком с отелем, в котором остановилась по приезде в Мюнхен. Купила потому, что мой парижский оказался маловат.— Людмила Николаевна, улыбаясь, с раскрасневшимися от волнения щеками, показала на разложенные на столе свертки и пакеты.— Почему он вам не нравится, господа, представить не могу. Ах, тяжелый! Так страдаю я одна. Чем так заинтересовалась таможня? Ротмистр нервничает... Оскорбительно кричит... На контрабандистку я не похожа... Даже чулок не везу.

Надворный советник умильно кивал головой, был с ней согласен. Действительно, как унизителен этот осмотр: его, заслуженного человека, подозревают, уличают, фактически обыскивают... А что они добиваются от этой милой дамы... Подумаешь, чемодан тяжелый...

— Мадам отказывается отвечать на вопросы? — Таможенник почему-то взял кривой нож.

— Не отказываюсь, а не могу понять, что следует отвечать,— серьезно заметила Людмила Николаевна.

Таможенник широко раскрыл чемодан и ножом вспорол шелковую клетчатую подкладку. Словно этим ножом ударил в грудь Людмилу Николаевну. По дну чемодана расползалась широкая безобразная полоса. Он встряхнул чемодан, и посыпались тонкие газетные листы, встряхнул сильнее — газеты покрыли стол. Людмила Николаевна и бровью не повела. Надворный советник приглушенно вскрикнул. Таможенник, лицо которого выражало крайнюю озабоченность, осторожно подрезал

подкладку... Газеты падали на отполированный стол, как шуршащие листья в осеннюю пору.

— «Искра»! — зло выдавил ротмистр.— Попрошу к столу не прикасаться! — накинулся он с каким-то остервенением на пассажиров, заинтересованных происходящим.

— Разверзлись хляби небесные!—с шутливой отчаянностью проговорил студент, поправляя черные очки.— Вот чудеса!

Ротмистр метнул гневный взгляд. Студент осекся, а надворный советник, взъерошив бородку клинышком, оскорбленно отошел от Людмилы Николаевны. Вид у него был обескураженный. Таможенник осторожно раскладывал газеты по стопкам. Людмила Николаевна зачарованно смотрела на печатные листы: какой труд пропадает, сколько надежд гибнет, как огорчится Алексей Иванович...

— Шпионку поймали! Шпионку! — послышался громкий крик.

Людмила Николаевна с недоумением оглянулась. Кричал тот самый толстяк с белесыми ресницами, кто был уличен в провозе контрабандой партии дамских чулок. Вот он, патриот-то! Губы ее дрогнули в иронической усмешке, а в серых больших глазах— тоска. Провал, провал, бедный Алексей Иванович...

— Вот ваша расейская беспечность, господин надворный советник! — задиристо выговаривал ротмистр старичку, с трудом удерживая гнев.— Ехали в одном купе... Ручки целовали... Пытались защищать...

— Какая неприятность... Какая неприятность...— Старичок отвернулся, махнув с подавленным отчаянием рукой.

— Ничего не понимаю! — с искренним недоумением отозвалась Людмила Николаевна, кутаясь в пушистый мех воротника.— Чудеса...

— Придется найти разгадку чудесам, сударыня! — Ротмистр яростно стукнул кулаком по столу, он не владел собой: — «Искра»... Снова «Искра»...

Столь неприкрытая ярость ротмистра вернула Людмиле Николаевне хорошее настроение. В глазах запрыгали лучики смеха, уголки пухлых губ дрогнули, а на румяных щеках ямочки. Громким звонким голосом спросила:

— Значит, знакомы с «Искрой»? То-то так обрадовались! — Насладилась его гневом и иронически посоветовала: — Не забудьте «насчет Федора распорядиться».

Ротмистр не понял, о чем сказала Людмила Николаевна, но студент в черных очках рассмеялся. Действительно, тургенев-

ский помещик, творивший суд и расправу над крепостными, так напоминал распоясавшегося ротмистра. Да-с, самообладанию этой дамы может позавидовать любой мужчина. Браво, браво, браво: «насчет Федора распорядиться».

— Вы арестованы! — Ротмистр с силой взял Людмилу Николаевну под локоть.— Пройдите в то помещение.

Толпа расступилась. Людмила Николаевна, гордо вскинув голову, прошла направо, где темнела железная дверь с решетчатым оконцем.

ТАТАРСКАЯ ЛОПАТКА

— «Обругав мечтателей дураками, государь рассердился, и взволнованный лепет сменился резким, громким криком. «Пусть знают все,— высоким фальцетом кричал Николай,— что, посвящая все свои силы... я буду защищать самодержавие так же твердо и проч.!» Нам пришлось разговаривать с одним из депутатов. «Какое на вас впечатление произвела речь государя?» — спрашиваем мы. «А вас секли когда-нибудь?» — «Нет».— «Ну так вы и не поймете. А я чувствовал, будто меня высекли, и напрасно». И это не одиночный отзыв...— Людмила Николаевна обвела камеру торжествующим взглядом: — «Общее впечатление в стране от речи дурное. Монархистам стыдно за царя. Наш брат радуется скандалу в благородном семействе. Николай убил свою молодую популярность, и мы сердечно благодарны ему за поспешность. Он — орудие истории, разрушающей потихоньку трон Романовых. Она вложила в царственные руки не скипетр, а лом, и Николай уже выломал первый камень в основании трона. Руку, товарищ!» — В больших серых глазах Людмилы Николаевны озорной огонек, в голосе издевка. Едва сдерживая улыбку, она продолжила чтение прокламации: — «...Женщины, а вместе с ними и «Русская мысль», были твердо уверены, что молодая 22-летняя государыня, как доктор философии и зоологии(?), явится сторонницей высшего женского образования!..»

Взметнулось пламя керосиновой лампы, оставляя черную полосу на стекле. Заходили тени на сырых стенах камеры. Послышался безудержный хохот, и Людмила Николаевна бросила на стол прокламацию.

В камере Таганской тюрьмы, куда после долгих мытарств и злоключений попала Людмила Николаевна, оказалось тринадцать курсисток, участниц последних манифестаций. То были

майские дни 1902 года, дни больших студенческих беспорядков, связанных с годовщиной кровавых событий Ходынки. Прокламация непросвещенному человеку могла показаться устаревшей, но это было не так: каждый год в университете по традиции читали прокламацию, выпущенную при коронации Николая в кровавые дни Ходынки; каждый год шли студенты на Ваганьковское кладбище почтить память безвинных жертв, и каждый год происходили схватки с полицией, которые обычно заканчивались арестами и тюрьмами, закрытием университета и вводом туда казаков.

В те ставшие уже давними дни события развернулись трагически. Коронация Николая Второго была назначена на май 1896 года. Первопрестольную освобождали от нежелательного элемента, прежде всего от студенчества. Время экзаменов в университете перенесли на страстную неделю — это вместо поста! Городовые по городу разносили ошеломленным студентам железнодорожные билеты, брали подписку о выезде из столицы в течение двадцати четырех часов. Строптивых не жаловали — подкатывали на извозчике, усаживали и везли под охраной на вокзал. А тем временем газеты трубили о коронации, зазывали, сулили манну небесную. И преступление произошло — народ валом повалил на Ходынское поле, где назначалось гуляние по случаю коронации. Угощение. Давка. Отовсюду слышались стоны, проклятья. На Ходынке погибли тысячи. Их похоронили на Ваганьковском кладбище в братских могилах. Неприметные холмики с бумажными цветами, поникшими от дождей. Так родилась печальная слава Ходынки... Но история этим не закончилась. Осенью начались занятия в университете, возвратились студенты. Возмущение было столь велико, а народное горе так безмерно, что на Ваганьковском кладбище состоялась многолюдная демонстрация. Студенты подняли на руках Карповича, того самого, кто впоследствии убил министра просвещения Боголепова, и он густым басом говорил о позоре России — о Ходынке. Когда студенты запели «Вечную память», появилась полиция. Свистки, топот, побои. Демонстрантов окружили конные жандармы с шашками наголо и довели до университета через всю Москву.

В этом 1902 году дни памяти жертв Ходынки стали особенно бурными.

Вот почему камеры Таганской тюрьмы переполнены, вот почему вновь гуляла по рукам прокламация, рассказывающая о коронации Николая Второго, прозванного в народе после

Ходынки Кровавым, вот почему ожила песня времен русско-турецкой войны:

Именинный пирог из начинки людской
Брат готовит державному брату...

Песенку пела Людмила Николаевна при одобрительных взглядах своих подруг по камере. Ее пригнали этапом со станции Граница. Путь долгий — тюрьмы, централы... Сколько несправедливости и людского горя довелось ей повидать! Соседству с курсистками обрадовалась — все время проводила с уголовными, а теперь в самой гуще событий.

— Никогда не забуду Ермолаева... Толстый... В полковничьих эполетах... Бродит по манежу, а позади эскорт из шести негодяев полицейских... Усы торчат, как у шкодливого кота, глаза злые, диковатые. Голосом трубным вещает: «Доигрались, господа студенты, теперь в Сибирь... В Сибирь...» — Тоненькая курсистка с синяком под глазом возбужденно рассказывала: — Кругом свист, крики: «Подлец, подлец!» Городовые от испуга выкатили глаза, едва дышат, словно караси на горячей сковороде.

— Песню-то, песню про Ермолаева как можно запамятовать? — с укором перебила ее курсистка с круглым румяным лицом.— Умора... «Вот идет Ермолаев...» — Девушка не удержалась и с удовольствием залилась громким смехом.

— Помилосердствуйте... Расскажите все толком,— взмолилась Людмила Николаевна, придвигая керосиновую лампу, и, сняв стекло, начала протирать.— Без малого год кочую по тюрьмам да этапам, света белого не видела — одичала. Пожалейте сироту, совершенно оторвалась от событий. А у вас каждый месяц года стоит.

Людмила Николаевна была счастлива, что судьба ее свела с курсистками, которые после ареста опьянены борьбой, будто сама к живой жизни прикоснулась. Да и запущенная камера Таганской тюрьмы помолодела — не беда, что на железных койках грязные тюфячки со следами раздавленных клопов, что на стенах от сырости отвалилась штукатурка, что вещи свалены в углу, что в железных кружках тепловатая водица, именуемая чаем.

— Так, рассказ для непосвященных,— с шутливым пафосом начала тоненькая курсистка с синяком под глазом. Она бойко встряхнула стрижеными волосами в мелких кудряшках.— Мы собрались по традиции в физиологической аудитории. Противо-

правительственные речи полились рекой. О Ходынке припомнили все: и лесть народу в газетах, и Кремль, залитый огнями электрических лампионов, и русско-французский альянс, когда в Большом театре перед началом спектакля исполняли «Марсельезу» вперемежку с «Боже, царя храни»... Но главное — реки народной крови.— Худенькое лицо ее болезненно передернулось, и безобразный синяк почти закрыл правый глаз.— По аудитории сновал инспектор бешеным волком, яростно заглядывал каждому в глаза: «Господа, считаю необходимым указать, что сходка добром не кончится, и вынужден буду прибегнуть к полиции...» Его никто не слушал. Инспектор вытащил кондуит, пытался записать фамилии выступавших, но переписать всех невозможно. А потом кто-то из шутников этот кондуит выхватил к общему восторгу. Инспектор обиженно заморгал красными глазами и поторопился вызвать полицию — с Ермолаевым он в давней дружбе.

— Ермолаев... Ермолаев... А с кафедры уже потребовали объявить сходку перманентной! — радостно добавила все та же курсистка с румяным круглым лицом, накидывая на плечи шерстяной платок.

— Перманентной? — не удержалась Людмила Николаевна от вопроса и, подумав, повторила: — Перманентной?..

— Вот именно, пока одни митингуют, то другие отдыхают, а когда первая партия митингующих устала и проголодалась, то их место занимают из числа отдохнувших. Это вечное движение происходит до тех пор, пока полиция не прекратит доступа в университет. Помню, последняя перманентная сходка длилась три дня...— Курсистка маленьким кулачком потерла ушибленный глаз и деловито заметила, обращаясь к Людмиле Николаевне: — Если студентов арестовывают, они проходят с пением «Марсельезы» — это закрепляет успех и привлекает к сходке внимание общественности...

— Обожди, Саша,— перебила ее подруга с большой русой косой и голубыми, как васильки, глазами, не принимавшая ранее участия в разговоре.— Ты охрипла от рассказа и устала от возбуждения.— Девушка поцеловала подругу в лоб, привлекла к себе.— Слышим, кто-то кричит: «Полиция... Университет казаки оцепили!» Началось главное — осада. Манежную площадь запрудила толпа. Публика, узнав о начавшихся беспорядках, дежурила. Поплыли через цепи городовых корзины с хлебом и колбасой.— Девушка помолчала и мечтательно заметила: — А все же высшее счастье в борьбе!.. Снова вынырнул инспектор

и захлебнулся от возмущения — студенты преспокойно устраивались на ночлег в аудитории. К великому веселию, он взошел на кафедру и изрек: «Полковник Ермолаев обещал арестов не производить, если господа студенты дадут слово разойтись по домам». Поднялся вой, свист, хохот — инспектора сдуло с кафедры. В дверях полковник Ермолаев. Сам собственной персоной. В плечах косая сажень, за ним городовые — гренадеры! Полковник оглядел всех критически и приказал: «Вы-хо-ди гусь-ком... Гусь-ком... По од-но-му... По од-но-му...» Городовые ринулись на студентов, и как эхо перекатывалось: «Вы-хо-ди по од-но-му! По од-но-му...» С большим скандалом нас поднимали и попросту вышибали из аудитории...

— Нет, нет... Дальше я...— запальчиво сказала тоненькая девушка, приложив к синяку носовой платок.— Стоим во дворе, озираемся. Небо бархатистое, с яркими звездами. Городовые держат зажженные факелы, лица в зареве огней зловещие. Выстроились живым коридором до самого Манежа и покрикивали: «По од-но-му! По од-но-му!» За полицией — конные жандармы. Морды у лошадей неестественно большие, с красными глазами. Мужчины идут первыми по этому коридору. Кто-то поет «Марсельезу»... В Манеже встречает новый наряд полиции — и опять гренадеры. Холодно. Пол земляной. Пахнет лошадьми. А мы радуемся родным стенам — студентов всегда при волнениях загоняют в Манеж. Благо близко! Даже седла, что висят на недосягаемой высоте, кажутся знакомыми. В Манеже освоились быстро — в дальнем углу нашли черный хлеб, предназначенный для кормления лошадей. Это была удача — началось угощение. И в эту историческую минуту появляется сам Ермолаев! Сразу же под циркульным окном вырос стол, закоптила керосиновая лампа. Потрескивали факелы. Кругом, словно на поле брани, расположился на ночлег военный лагерь: кто решил согреться от холода, песни, хороводы... Ермолаев насупил брови, пошептался с городовыми. Короткое замешательство, и пожалуйте — Ермолаев в сопровождении почетного эскорта городовых начал разгуливать по Манежу, стараясь не забыть и темных углов. Но долго ходить ему не дали...

— Как это не дали?! — Людмила Николаевна не сводила с рассказчицы широко раскрытых глаз.

— Не дали, и все! — У курсистки от удовольствия округлились глаза. Она подсела поближе к Людмиле Николаевне.— Стали травить его песней, как зайца...— Девушка громко расхохоталась.— Это нужно было видеть! Ермолаев выкатил грудь,

шествовал, громыхая шашкой, а студенты собрались небольшой группкой. Кто-то из филологов гнусаво начал отпевать:

Вот идет Ермолаев...

Студент взмахнул длинной рукой, и хор отозвался:

Тра-ра-ра-ра-ра...

Под высокими сводами еще висела рулада, а запевала, запрокинув голову, торжественно выговаривал:

С виду чистый боров...

И опять хор старательно, как в итальянской опере, вторил:

Тра-ра-ра-ра-ра...

В песню вливались сильные мужские голоса:

Видно по походке,
Что любитель водки...

Ермолаев недовольно передернул плечами, а городовые, потеряв бравую выправку, пугливо косились на полковника. А песня все ширилась, вбирая все новые и новые голоса. Запевалу держали на руках, он закатывал глаза, запрокидывал голову, подражая знаменитостям:

Вот идет Ермолаев...

Припев подхватил весь Манеж, и странно засуетились голуби, которые жили в лепных карнизах.

Тра-ра-ра-ра-ра...

Неожиданно наступила тишина. Значительная. Долгая. Запевала поднял руки, требуя внимания. Все замерли, лишь потревоженные голуби шумно взмахивали крыльями. Минута... другая... И трио хорошо слаженных мужских голосов речитативом закончило:

Видно по ухватке,
Что любитель взятки.

Запевала, которого студенты все еще держали на руках, изящно повернулся к полковнику, приветливо взмахнул зеленой фуражкой. Ермолаев вспыхнул, пребольно ударил себя шашкой по ногам и возвратился к столу под смех и свист. В эту ночь он не сделал ни шагу!..

В камере Таганской тюрьмы смеются. Действительно ловко! И полковник такой одураченный. По-детски надула губки курсистка с русой косой, смеется. Краешком платка вытирала слезы ее подруга с синяком под правым глазом, смеется. Людмила Николаевна восторженно захлопала в ладоши, смеется. Задорно подталкивали друг друга локтями сестры-близнецы с курсов Герье, смеются... Теперь полковник надолго запомнит прогулку по Манежу... Да-с, прогулочка!

— Стали нас вызывать к столику о трех ножках, где грозно восседал Ермолаев, устанавливать личность. Рядом с Ермолаевым пристроился инспектор, который пытался остановить сходку. И не стыдно негодяю! — мягким грудным голосом заговорила курсистка с русой косой.— Сидит на краешке, называет фамилии и в патетических случаях вразумляет: «Каждый студент есть отдельный посетитель университета» — таков первый параграф студенческих матрикул...» — Курсистка гневно свела брови и, будто продолжая спор с инспектором, закончила:—Я молчать не стала, сказала правду этому идиоту: «Студенты воспринимают себя коллективом... Матрикул пора выбросить на свалку, да и стыдно превращаться в жандарма!» Инспектор едва не свалился со стула. Городовой бросился ко мне, тут подоспела Лиза,— девушка вновь с нежностью привлекла к себе подругу, тоненькую курсистку,— заслонила меня, и синяк, к огорчению, достался ей... Ночью при свете фонарей студентов из Манежа вывели на площадь, рассадили по длинным ящикам, собачьим фурам, и развезли по тюрьмам. Так мы оказались в Таганской тюрьме, в камере, перенаселенной клопами.

— Кстати, как будем спать? — Людмила Николаевна брезгливо переворачивала тощие тюфячки.— Клопы... Одни клопы... Нужно протестовать... Непременно. Теперь время позднее, поди, и дежурного офицера не вызовут.— Она решительно обернулась к курсисткам: — Спать будем по очереди на столе, утром заявим протест!

Протест не прошел бесследно. Арестованных развели по разным камерам Таганской тюрьмы. Четырехэтажное здание тюрьмы было построено буквой «Т». Изнутри паутиной оплетали его железные балкончики, соединенные перекидными мостиками, по которым ходить страшно. И все же на мостиках маячили надзиратели со связками ключей. Висячие мостики и переходы, как лучи в пучок, собирались у стола дежурного офицера на первом

этаже. От этого стола и начиналось путешествие заключенного до камеры.

Оказавшись в камере на третьем этаже, Людмила Николаевна слабо вскрикнула. Стены камеры будто рябые. Нет, они разукрашены следами раздавленных клопов. Она попыталась оттянуть койку, придвинутую к стене, и отшатнулась — бордовой массой шевелились клопы. Отвратно! Унизительно! Резко повернулась, подбежала к двери с квадратной форточкой. В соседней камере показалась плоская улыбающаяся физиономия с вульгарным золотым зубом. Приподняв приплюснутую кепочку, сосед прошепелявил:

— Мадемуазель без кривизны?

Людмила Николаевна, привыкнув во время скитаний по тюрьмам к жаргону, ответила:

— Да, политическая.

— Из железных носов?

— Нет, не дворянка... Отец — фабрикант в Екатеринославе.

— Клада не зашили в ошкуре? — Уголовный, заметив ее удивление, переспросил: — Деньги не пронесли в тюрьму?

— Нет, обыски... Личные обыски...

Уголовный презрительно сплюнул, почесал в затылке и философски заключил:

— Хана... Татарская лопатка дыхнуть не даст — ему нужно барашка в бумажке. Теперича пропадете... Как пить...— Уголовный обрадовался слушательнице, придвинулся ближе. Загремели кандалы. Насладившись произведенным эффектом, начал откровенничать: — Мне привалил фарт. Кандалы и те ношу на сапогах! Татарская лопатка все может, если учует, что перед ним арестант старинной закваски, а не тюремная трава без названия.

— Татарская лопатка? — переспросила Людмила Николаевна, и пухлые губы ее дрогнули в усмешке.

— Так старшего надзирателя кличут... Да они все тут на одну колодку.— Уголовный присвистнул и махнул рукой.— Не подумайте — хвостобойством не занимаюсь. За море Байкал следовал не раз... Зверь травленый, прошел огонь, воду и медные трубы.

— Обвиняетесь в бродяжничестве... Из Иванов непомнящих? — Людмила Николаевна внимательно взглянула на соседа. К уголовным она привыкла: в российских тюрьмах политические частенько сидели вперемежку с уголовными.

— Вестимо, из Иванов! — довольно осклабился сосед.—Про-

падаю из-за вашей змеиной породы. Чуть вешалицу не схватил. Спасибо дружку — помог концы схоронить, а то бы пеньковая веревка.

Людмила Николаевна не проявляла интереса к разговору с уголовным. Как всегда, хвастался, считая, что упоминание о виселице возвышает его в глазах окружающих.

— Как за Байкал ходил, так и вашего брата повидал — к шпанке завсегда политических приткнут. Шпанка — лихая. Прошлый раз с нами шла барышня, молоденькая, чистенькая, вроде вас.— Уголовный ткнул в сторону Людмилы Николаевны грязным пальцем.— Вспомнить страшно. Кобылка — она лютая... Барышня махонькая, любой варнак обидеть мог...

— А стража? Солдаты?

— По нашему — ду́хи... Духи на пути тихие, сами боятся нашего брата... Кобылка — она лютая...

— Не знаете, что стало с девушкой? Как звали?

— Она не сказывала. Дотянула, сердешная, до Бийска — кровью харкала, а потом в пыль упала и затихла... Кобылка дюже жалела... Здря померла!

Невдалеке послышался тихий звон, который всегда безошибочно узнавала Людмила Николаевна. Надзиратель медным ключом стучал о пряжку ремня — проводили политическую в карцер и боялись неожиданных встреч на поворотах. Форточка сразу прикрылась, уголовный исчез. Звон стал отдаляться. Очевидно, свернули в правую часть, где располагалась канцелярия.

— Я этих наказаниев по карцеру не обожаю...— тихо протянул уголовный, который вновь появился в форточке. Вид сконфуженный, понял, что девушка не отходила от двери.— Мне нужно почтеление...

— Поощрение? — поправила Людмила Николаевна, с некоторым недоумением разглядывая могучую фигуру собеседника.

— Капитал капиталом, а Татарская лопатка...— Уголовный боязливо покрутил головой. Очевидно, надзиратель занимал все его мысли.— Вы, барышня, проситесь к политикам на второй этаж. Здесь дюже трудно — на окнах щитки, камеры темные, а уж крику от нашего брата натерпитесь... Особливо по ночам, да и беды хлебнете от Татарской лопатки. Правды от него не добиться ни на русский байрам, ни на татарскую пасху, как в народе говорят.— Уголовный безнадежно махнул рукой.— Держите... Зря деньжат-то не утаили... Плохо придется...

Людмила Николаевна протянула руку и схватила крошечный узелок, завязанный в грязную тряпку. Посмотрела. Ба,

целое богатство — щепотка чая, три куска сахара, целковый... Когда это он успел? Благодарно ему закивала.

— Барышня, черные книги читали? — Уголовный потерял свой уверенный вид и спрашивал робко, с какой-то затаенной надеждой.— Не простые, а черные...

— Черные? — Густые брови Людмилы Николаевны взлетели вверх, в больших серых глазах смешинки.— Черные?

— Да, книги все зряшные, их на любом развале достанешь... Есть тайные, правильные...

— Нет, черных книг не читала, да и вообще...

Уголовный не дал Людмиле Николаевне договорить. Лицо сжалось, голос упал до загадочного шепотка:

— Барышня, не таитесь от меня... Очень нужно правду знать. Понимаете, правду, это не каждому дается... Она только в черных книгах записана.— В голосе его слышалась страсть.— Читают эти книги в скитах при лучине опосля долгой молитвы.

— Вздор! Зачем голову засоряете напраслиной? — Людмила Николаевна с жалостью смотрела на собеседника, который напоминал ей обманутого ребенка.

— А почто вас заарестовали? — лукаво спросил уголовный, и в глазах блеснула надежда.— Почто?

— За литературу... За книги...

— Ага! А про черные книги не слыхивали? Зачем от меня таитесь? Грех, грех большой, барышня!

— Кто это вам наговорил? Одно невежество!

— Сказывал перед смертным часом странник за морем. Где-то в тайге он запрятал ту книгу, да сыскать не смог.— Глаза уголовного стали мечтательными.— В черной книге вся правда, а в других — одна бумага... Так, значит, не знаете... Ну, прощевайте.— Он перестал уговаривать собеседницу, приподнял кепочку и закрыл форточку.

Послышался стук отпираемых камер, скрежет дверей. Разносили чай. Шаги надзирателей гулко передавали каменные своды. Впереди шел старший надзиратель, известный в тюрьме по прозвищу «Татарская лопатка». Кряжистый. Неприветливый. Под нависшим узким лбом маленькие глаза. Злые. Колючие. За ним другой надзиратель из новичков, молодой парень с рыхлым лицом и яркими веснушками. Угловатый. Неловкий. В руках ведро с кирпичным чаем, прикрытое железной крышкой, рябой от вмятин. Надзиратели свернули в закуток, и снова сосед приоткрыл форточку. Сказал торопливо, воровато бросая взгляды вдоль коридора:



— Возьмите у Татарской лопатки скипидару да заткните дырки от клопов, а то и минуты не соснете. Клопы нового человека завсегда учуют. Приветик, утречком побалакаем... Татарская лопатка в келью слободно запрячет за разговорчики.

Людмила Николаевна не успела ничего ответить. Татарская лопатка подкрался неожиданно. На сапогах войлочные туфли. Увидел открытую форточку, но промолчал. Только в глазах появился сердитый блеск. Дверь распахнул широко. Быстрыми шажками обежал камеру. Потрогал стол, глянул на окно с решеткой, приподнял кровать. Ткнул заскорузлым пальцем в кружку:

— Чайку... Побалуйтесь...

Молодой надзиратель таращил от усердия глаза. Сделал несколько шагов, колыхнул ведро с чаем. Крышка упала, загремела. Парень с испугом глянул на Татарскую лопатку и торопливо поднял крышку. Людмила Николаевна не подала кружки. Стояла, скрестив руки на груди, презрительно оттопырив нижнюю губу. Татарская лопатка поджидал, переступая в тупорылых юфтовых сапогах. Приглядывался к новенькой.

— Утром попрошу вызвать прокурора... Доложите начальнику тюрьмы.—Голос Людмилы Николаевны звучал повелительно.

— Чем же, красавица, тюрьма не угодила? — с издевкой полюбопытствовал Татарская лопатка.— Сразу прокурора! Вот она, грамота!

— Сделаю заявление.

— Прокурору... Али на волюшку задумали письма сотоварищам отсылать о наших порядках... Миром жить не хотите!..— В голосе клокотала злость.

— Мира с тюремщиками не заключаю! — Людмила Николаевна дерзко взглянула в лицо надзирателя.

Глаза его почернели от гнева, кулачищи сжались. Весь напружинился, словно для прыжка. Стал понятен почти суеверный страх соседа перед Татарской лопаткой. Стукнул кулаком, опрокинул стол. Казалось, еще минута, и он ударит женщину, повалит, начнет топтать сапожищами с тупыми носками.

— Господин старший надзиратель, арестантики, поди, заждались,— подобострастно заговорил молодой парень, и от волнения веснушки на лице проступили ярче.

Татарская лопатка недовольно крутанул головой. Гнев его остыл. Сказал с хрипотцой:

— Скипидар пришлю. Клопы-то зажрут. Начальнику докладывать не буду. Делов много. Порядочки строгие: чуть что — в келью али смирительная рубаха... Подумайте, барышня, прежде чем войну объявлять! — Татарская лопатка обнажил гнилые зубы и направился к двери.

— Война объявлена! — с вызовом остановила его Людмила Николаевна.— Не доложите, так в субботу подам письменно рапорт!

— А это нюхала? — Надзиратель поднес к ее лицу кулак. Зло сплюнул и нехорошо ругнулся.

Молодой парень вытянулся и проводил глазами Татарскую лопатку. Дождался, пока хлопнула дверь. Устало вытер рукавом вспотевший лоб и, наливая в кружку чай, зашептал:

— Дюже они сердитые... «Рапорт, рапорт»! Такого слышать не могут.— Надзиратель сунул краюху хлеба и кинулся за Татарской лопаткой.

«Когда вас завтра поведут в баню, то напишите своей сестре Лизе записочку и положите в бане под шайкой у окна. Только, пожалуйста, не пишите ничего грустного, так как она очень скучает и беспокоится о вас. Сторож из бани».

Людмила Николаевна вертела крошечную записку. Лиза в Таганке! Вот неожиданность! Без малого два года не видала сестры. Записку принес тот самый надзиратель, свидетель ссоры с Татарской лопаткой. Кажется, он относится сочувственно — записку передал, книгами снабжал из соседних камер. Почти неделю сражалась она с начальником тюрьмы. Обрюзгший, старый. Слова цедил медленно, нервически кривил рот. Иронически жалел, что подследственная не связана с тюремным управлением, от которого якобы зависел ремонт камеры. Людмила Николаевна пригрозила голодовкой, и начальник сдался — перевел на второй этаж, где содержались политические.

Новая камера мало чем отличалась от той, которую она занимала в соседстве с уголовными. Все тот же полумрак, сырость, грязь, щитки на окнах, закрывающие небо, но не было клопиного засилия, унижающего и оскорбляющего чувство человеческого

достоинства, не было площадной ругани, висевшей как удушливый смрад. Главное — рядом находились товарищи. Она узнавала новости, перестукивалась, хотя ее, как подследственную, держали в строгой изоляции. В тюрьме оказалась не только Лиза, но и Люба, и Аня — четыре сестры собрались в Таганке! Бедная мама! Как-то ей приходится? Наверняка приехала из Екатеринослава и стоит у проходной с передачами. Старенькая, сгорбленная, с узелками для четырех своих дочерей... Жаль, очень жаль...

Людмила Николаевна обхватила голову маленькими руками. Мысли безрадостные, тяжкие. Мать она любила самозабвенно. Еще из Парижа писала домой, как сильно скучает, как видит ее во сне, как хочет припасть к материнской груди, стать той самой девчушкой, любимицей. Она подсчитывала дни до встречи, а судьба распорядилась иначе...

Дурным голосом закричал мужчина. Людмила Николаевна встрепенулась и подбежала к двери. Да, без сомнения, кричал ее сосед, словно захлебывался от боли. Послышались громкие рыдания, удары, и сразу все замерло. Было страшно. Тюремная тишина постепенно гасила все звуки жизни, делала шум болезнью, натягивала нервы. А сегодня этот истошный крик и полное молчание. Такая тишина страшнее всего, она многозначительна, таит несчастье. Людмила Николаевна приложила ухо к двери, замерла. И опять послышался крик, как стон. Почему? Сосед плачет? Приговорили к смерти? Нет, суд не состоялся — он подследственный... Избили... Избили... Политического? Нет, невозможно! Сердце ее заныло от щемящего чувства. По коридору прогромыхали сапоги. Надзиратели. Стало слышно, как торопливо открывали дверь, как ругался дежурный надзиратель, уронив связку с ключами. Захлебываясь, глотая слова, сосед что-то бурно говорил надзирателям. Его пытались успокоить, но безуспешно. Рассыпаясь по гулким коридорам, множась и нарастая, разносился крик:

— Па-ла-чи! Па-ла-чи! Не-на-ви-жу!

Истерический плач и удары, удары... Конечно, начали избиение... Избиение... Людмила Николаевна заколотила в железную дверь, закричала, ощущая на губах солоноватый вкус слез. Она пыталась раскрыть квадратную форточку, иногда ее оставляли открытой, но бесполезно — стальная задвижка плотно держала. А голоса все прибавлялись, словно ураган промчался под каменными сводами. Крепли. Перекатывались. Нарастала беготня по коридорам. И вновь все замолкало, будто кто-то невидимый ди-

рижировал этим страшным тюремным хором. В тишине, казавшейся неестественной, невидимые голоса перекликались, страдали от неизвестности.

— Ма-ма... Бед-ная ма-ма!.. А-а-а!!!

Людмила Николаевна не выдержала, схватила табуретку и начала размеренно бить по железу. Дверь не поддавалась, лишь на пол падали щепки дубовой табуретки. Но женщина продолжала бить. Била с упорством и силой, которая рождается в минуты ярости. Сил этих человек не знает. Она убедилась в этой мудрости позднее, когда сделалась узницей Петропавловской крепости.

— Па-ла-чи!

Казалось, что она слышит, вернее, ощущает удары, грохот падающего тела. Людмила Николаевна плакала навзрыд, руки болели от напряжения, горло перехватило от истошного крика, а она все наносила и наносила удары по железу. Табуретка развалилась. Исковерканную ножку сама отшвырнула с отвращением. Светло-каштановые волосы рассыпались по плечам, наползали на глаза. Вытерла мокрое от слез лицо краем кофты и, пошатываясь, подошла к столу. В серых глазах вспыхнул упрямый огонек — схватила железную кружку и с радостью запустила в керосиновую лампу, висевшую на длинном шнуре. Звона разбиваемого стекла она не слышала в общем шуме, но сверкнувшие осколки в густых сумерках охладили гнев. Истерзанная, с головной болью, женщина устало опустилась на кровать. Сил не было, будто переломили хребет. Из неистового грохота ее чуткое ухо улавливало один-единственный — высокий и резкий голос своего соседа. Вот он громко всхлипнул, запричитал, закричал. Все дальнейшее плыло в тумане — гортанно ругался Татарская лопатка, скрежетала железная дверь, падал человек... Началась возня — по коридору уводили соседа. Он сопротивлялся, хватался за стены. Его отдирали, затыкали рот, пытались связать. Да, сосед... Сосед... Такой веселый, красивый. Они встречались на прогулке. А теперь он один боролся и страдал. И эта яростная борьба в одиночку наполняла ее душу отчаянием. Она лишь свидетельница надругательства над личностью!

Клубок человеческих тел перекатывался по коридору. Драка происходила под ее дверью. Опять удары, тяжелое дыхание, громыхание кованых сапог. Кажется, она потеряла рассудок. Так страшен был ее крик. Она снова колотила в дверь, грозила кулаками, кричала:

— Па-ла-чи!

А в коридоре суетились, дрались:

— Вя-жи! Вя-жи!

Татарская лопатка... Без сомнения, его ненавистный голос. Лавина человеческих тел отползла, подобно снежному кому. Несчастного тащили волоком, стараясь заглушить его крики. Возня все дальше, дальше. Крики замирали. Громыхнула дверь, заскрежетала по камню. Так скрежетала только одна дверь в тюрьме — темного карцера.

Абструкция не затихала до вечерней проверки. Слышался вой, звон разбиваемой посуды. Хлопали привинченные к стенам койки, дрожали от ударов железные двери.

Форточка открылась неожиданно. За общим шумом Людмила Николаевна не заметила, как подкрался Татарская лопатка. Его сердитое лицо с низким лбом сегодня особенно строго. Оглядел злыми глазами учиненный в камере разгром и сипло выдавил:

— Номер восьмой заключен в карцер за нарушение инструкции. Прекратить беспорядок...

— Па-ла-чи! — прохрипела Людмила Николаевна, которая колотила парашей о привинченную койку.

— Брандахлыстка проклятая! — начал поносить ее Татарская лопатка.— Кнута захотела... За Можай загоню...

Потом Людмила Николаевна долго удивлялась и даже осуждала себя за опрометчивость: с редкостной быстротой швырнув в надзирателя парашей, она бросилась к форточке, желая ударить столь ненавистное лицо. Она задыхалась от пьянящего чувства ярости, от возбуждения и унижения, которые может только испытать человек, заключенный в каменный мешок. Очевидно, в своем гневном порыве она была так страшна, что Татарская лопатка первый захлопнул форточку. Женщина долго колотила кулаками по железу. Потом отошла в дальний угол, где стоял чайник с водой, и жадно начала пить. «Как не стыдно... Так потерять контроль над собой... Нервы ни к черту... Стыдно... Стыдно...» Она плеснула из кружки на разгоряченное лицо. Тяжело дышала. Опять сделала несколько глотков и долго поливала из смятого чайника на шею, руки, плечи.

— Барышня... Барышня... Брань на вороту не виснет...— неожиданно послышался негромкий голос надзирателя, молодого парня с рыжими веснушками.— Они разгневались, а вы в крайности. Не дай бог зашибете ненароком — в Сибирь на каторгу угодите...

В его светлых глазах было такое сочувствие, что Людмила Николаевна отвернулась. Действительно, нескладно все получилось, так и на каторгу угодишь, но главное — так потерять над собой власть... Стыдно... Стыдно...

— Коли найдешь у коровы гриву, так у кобылы будут рога! — Парень жалко улыбнулся и заметил: — Бранливый они человек... Ох, какие они ироды... Нет моих сил в этом проклятом месте служить... Уйду в деревню...

Людмила Николаевна угрюмо молчала. Она обтерла лицо холщовым полотенцем, села на каменный пол: табуретку сломала, кровать на день поднимали. Успокоившись, начала укладывать светло-каштановые волосы, чистить юбку. Но горечь не покидала ее: негодяи, избили человека, пользуясь властью да крепкими тюремными стенами. Нет, насилие не должно оставаться безнаказанным. Нужно что-то придумать, непременно придумать.

На вечерней проверке, которую, против обыкновения, ждали с большим нетерпением, по камерам ходил начальник тюрьмы в окружении свиты надзирателей. На отечном лице неудовольствие. Он наклонил голову с серебряными висками и сухо сказал:

— Арестант восьмой камеры заключен в карцер...— Подумал и неохотно добавил: — За нарушение инструкции.

Людмила Николаевна внешне казалась спокойна. Лишь в серых глазах недобрые огоньки да потуже стянуты узлы шерстяного платка, что всегда служило признаком волнения. Голос ровный. Слова растягивает:

— В чем состояло нарушение?

Начальник многозначительно взглянул на женщину. Строгая. Собранная. Лишь на круглом лице следы усталости да глубокие складки у рта. Выдержав его взгляд, Людмила Николаевна медленно опустилась на кровать, которую отомкнул надзиратель. Села, привалившись к стене. Она видела, как возмущенно засопел Татарская лопатка, как хотел подскочить и поднять ее силой, как укоризненно смотрел дежурный офицер в отутюженном мундирчике, как вытянулось лицо у молодого надзирателя.

— Где вас воспитывали? — бранливо обратился начальник тюрьмы. Толстая шея с обвисшей кожей покрылась пятнами.

— В гимназии... Потом завершала образование за границей,— спокойно объяснила ему Людмила Николаевна.— Слушала курс лекций в Сорбонне.

— Вежливости вам не дали ни дома, ни за границей, сударыня! — Голос начальника задрожал от возмущения: — При встрече с начальником тюрьмы следует встать! Слышите, встать!

— Потрудитесь не кричать на меня. Воспитания не хватает вам, коли позволяете в таком тоне разговаривать с женщиной.— Она сердито сдвинула густые брови и, сверкнув глазами, с издевкой закончила: — Впрочем, рукоприкладство в тюрьме процветает, судя по обращению с моим соседом. Но политические молчать не будут! Об этом я уполномочена сделать заявление.

Людмила Николаевна поднялась и шагнула к начальнику. Стояла бледная от сдерживаемого гнева, голос звенел:

— В чем состояло нарушение инструкции?

— Арестант самовольно сорвал щиты, начал кричать, вернее, стал инициатором тюремного беспорядка.— И, словно убеждая себя, начальник тюрьмы ворчливо сказал: — Претензий к администрации он предъявить не может. О смерти матери сообщили ровно через месяц после получения письма... Письмо залежалось в канцелярии...— И опять голос его окреп: — Самовольство арестованных, как и нарушение дисциплины, заслуживает резкого порицания...

Татарская лопатка понуро опустил голову, чувствуя вину, дежурный офицер в отутюженном мундирчике подобострастно улыбнулся.

— У человека умерла мать, а вы разглагольствуете... Затерялось письмо... Нет, сознательно утаили! По вашей вине лишь через месяц сын узнал о смерти любимой матери. Тиранство... Палачество...— Людмила Николаевна говорила с таким возмущением, что начальник смешался.— Одеревенели от жестокости. Сын потерял мать: не закрыл ей глаза, не услышал последней воли, не выполнил сыновнего долга — не предал ее тела земле... Где границы человеческой тупости? В таком состоянии начать избиение, волочить в карцер... Кичитесь своей бесстрастностью, добру и злу равнодушны... Есть ли у вас мать?

Начальник угрюмо молчал. Татарская лопатка воровато бегал глазами, ожидая малейшего знака, чтобы наброситься на заключенную. Молодой надзиратель онемел, покраснел от волнения и страха. Дежурный офицер не смел вмешиваться — дисциплина превыше всего, но в душе он не одобрял начальника, разрешившего такое наговаривать политической.

— Эксцессов не допущу! При беспорядках введу войска.—



Начальник тюрьмы потрогал тугой ворот мундира и зловеще закончил: — Всех на карцерное положение!

— Обещаю, что беспорядки начнутся! — Людмила Николаевна не смогла промолчать.

— Советую опомниться — сила солому ломит.

— Только солому, но не человеческие характеры.

Людмила Николаевна считала разговор законченным. Отошла к окну и повернулась спиной. Слышала, как громко хлопнула дверь камеры, как ожесточенно гремел ключами Татарская лопатка, как выговаривал дежурному офицеру начальник тюрьмы.



Да, борьба началась. Не дождавшись конца вечернего обхода, Людмила Николаевна стала выстукивать по трубе деревянной ложкой:

«Го-ло-дов-ка! Го-ло-дов-ка!»

...В Таганской тюрьме наступили черные дни. В коридорах, на лестницах и висячих балкончиках появились солдаты Астраханского полка. Бурные пререкания заключенных с администрацией, в которых принимала участие Людмила Николаевна, результатов не дали. Прогулки были отменены, переписка с волей прекращена, суточное питание сведено к холодной воде и клеклому

хлебу, а заключенный восьмой одиночки все еще продолжал находиться в темном карцере, закованный в ножные кандалы.

По коридорам слышалась частая смена караула, топот сапог, громыхание прикладов и крикливая ругань офицера, успевшего своим пронзительным голосом заслужить ненависть всей тюрьмы. Надзиратели ожесточились. Стало трудно дышать. Тюремные своды давили. Когда арестованные попытались начать новую абструкцию, в камеры ввели солдат. Арестованные объявили голодовку.

Медленно двигались дни, казались бесконечными часы.

В камере застыл солдат, прижав к ноге винтовку, и не отводил глаз от арестованной.

Людмила Николаевна лежала на койке, дрожала от холода и голода. Бледная. Ослабевшая. Голова кружилась. Сладковатый ком подкатывал к горлу, подташнивало. Мучительно ныл желудок, болезненные спазмы кругами обхватывали живот, будто кто-то прикасался раскаленным металлом.

Пятый день, как говорят товарищи, самый трудный. Потом наступает безразличие, апатия, полусонное состояние... Сегодня голод казался непреоборимым. Весь ее молодой, здоровый организм властно требовал пищи, без которой наступит катастрофа, произойдет непоправимое. Есть... Есть... Есть... Женщина отводит глаза от табуретки, на которой лежит краюха ситного. Пахучего. Пушистого. Обычно в Таганской тюрьме кормили отвратно, как и в большинстве российских тюрем, но теперь, в дни общей голодовки, напугавшей администрацию, появились невиданные раньше ситный и молоко. Здесь рядом кружка с теплым молоком. Татарская лопатка даже причмокивал губами, когда наливал из эмалированного кувшина. От искушения Людмила Николаевна отворачивает голову, молоко казалось самым страшным соблазнителем. В Париже читала, кто-то из народовольцев из-за молока сорвал голодовку. Много дней отказывался от пищи, а тут, на беду, принесли в каземат молоко. Поставили вот на такой же табурет. Женщина с ненавистью смотрит на табурет, придвинутый тюремщиками к койке. К пище он относился равнодушно. Увидел, как на кружку села муха, как ползала, перебирая лапками. Потом упала в молоко, забарахталась. Человек решил спасти муху — вынул, положил на одеяло, а сам машинально облизнул палец, беловатый от молока. Дальнейшее было кошмаром—сила жизни оказалась сильнее разума: схватил стакан и единым залпом выпил... Это воспоминание страшит

Людмилу Николаевну, она отворачивается и от пахучего ситного, и от теплого молока.

Возможно, она бы так не ослабела за голодовку, если бы двигалась по камере. Подошла бы к оконцу, из которого проглядывал клочок неба. Как часто огорчалась, что этот клочок зажат деревянными щитками, а теперь он казался невиданной радостью и раздольем. В первый день голодовки она стояла под окном. Солдат отворачивался, будто ничего не замечал. Но проклятая Татарская лопатка подсмотрел, донес дежурному офицеру, солдата сменили, сделав строгое внушение. Пожалуй, изо всех солдат, которые несли пост в камере, он был самый добрый. Теперь какие-то истуканы. Фуражка с оловянным орлом. Оловянные глаза. Медная пряжка на широком ремне. Медный лоб. Ружье с деревянным прикладом. Деревянный истукан.

И опять неторопливо ползли мысли. Она радовалась этому полусонному состоянию, которое должно заглушить голод. Начальник тюрьмы сдержал слово — все политические на карцерном положении, связь полностью потеряна, лишь тишина звенела до боли в ушах. На беду, и сон не приходил... Людмила Николаевна начинает декламировать:

Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно мятежным,
И в возрасте зрелом, со старостью смежном,
Всю жизнь мою — снова и снова —
Звучало одно неизменное слово:
«Свобода! Свобода!»

Солдат громыхнул прикладом, сделал несколько шагов вперед. Серые глаза Людмилы Николаевны от возмущения широко открылись. Негодяй решил подслушивать, чтобы доложить офицеру. Вот она, тюрьма, где шпионят, вынюхивают, доносят... В ушах била кровь — это ощущение появилось недавно. Женщина облизнула пересохшие губы, приподнялась на локтях и отпила несколько глотков воды. Пить воду по условию голодовки разрешалось. Правда, был долгий спор: самые категоричные, среди них была и Людмила Николаевна, требовали запрета и на воду, тогда администрация скорее пошла бы на уступки, но большинство возражали, доказывая, что среди политических есть больные и отсутствие воды явилось бы бедствием. Теперь и она счастлива возможности сделать несколько глотков. Почувствовала облегчение, но ненадолго. Есть захотелось с большей силой. Опять лениво потекли мысли. Припомнились пасхальные

дни дома, когда она, гимназистка, вместе с сестрами и матушкой садилась за праздничный стол. Ах, какой это был стол! Завален куличами и пасхами, крашеными яйцами и телятиной с золотистой корочкой, грецкими орехами и конфетами в ярких обертках... Она тряхнула головой, чтобы отогнать коварные воспоминания, но справиться не могла... Выпускной бал в гимназии. В актовом зале длинный стол под белоснежной скатертью. И опять индейки, заливные осетры, колбасы, торты, припудренные сахаром. К несчастью, она всегда любила поесть, да и сластеной слыла отчаянной. Сестры беззлобно посмеивались, а матушка радовалась ее аппетиту, защищала. Теперь проклятая еда лишила ее рассудка. Есть... Есть... Есть... Нет, верно, и вспоминать ничего нельзя — все думы о еде.

— Заславская с вещами в контору! — Татарская лопатка замялся и скороговоркой закончил: — На допрос требуют.

Людмила Николаевна с трудом поднялась. Нашли время для допроса! Села, обхватив голову руками. Камера сразу поплыла, закружилась.

— Может, откушаете... Дело-то долгое...— совращал ее Татарская лопатка.

Людмила Николаевна не удостоила его словом. Сидела, прислонившись к стене. Камера казалась пустой. Койка, привинченная к стене, параша да табуретка, внесенная вчера. Это после бунта администрация учинила погром. Татарская лопатка торопил:

— Поднимайтесь... Поднимайтесь...

Людмила Николаевна встала, завязала платок. Сложила вещицы. Где же книги? Конечно, их забрали, когда переводили на карцерное положение. Сквозь решетку пробирался солнечный луч. Робкий, неуверенный, рассеченный тюремной решеткой. Захотела подойти к тому заветному клочку неба, но солдат громыхнул прикладом. Оглядела камеру и, пошатываясь, направилась к двери.

В коридоре ее поджидал надзиратель, молодой парень с веснушками на белом лице. Он покачал головой, выхватил узелок, который она от слабости и нести не могла. В глазах его сочувствие. Даже идти старается тише, чтобы она успевала. Конечно, изменилась за голодовку, а у парня, верно, совесть пробудилась... Бежать ему, бежать из тюрьмы нужно, пока не утратил в себе человека! Интересно, будет ли поджидать ее в камере солдат? Слабо усмехнулась — почему же ждать возвращения, когда она идет с вещами? И только теперь сердце учащенно забилось. Взя-

ли с вещами... С вещами? Что должно измениться в ее судьбе? Она задыхалась. На лице проступил холодный пот. С лестничного пролета тянуло сыростью. Женщина остановилась, вызвав неудовольствие Татарской лопатки, стала натягивать жакет. В камере едва сумела накинуть на плечи — сил не хватило, а теперь... Кто знает? Сиреневый жакет из Парижа отделан белкой и витым шнуром. За долгие месяцы скитаний по тюрьмам стал почти черным, мех вылез. Руки плохо слушались. Жакет падал, она пыталась его снова накинуть на плечи. Помог надзиратель с веснушками, не обращая внимания на сердитое сопение Татарской лопатки. Она засунула руки в манжеты. Татарская лопатка начал стучать ключом по медной пряжке, и процессия снова двинулась. При переходе через висячие балкончики женщина едва не упала. Хорошо, что надзиратель подхватил ее. Голова отчаянно кружилась, а высота казалась огромной. В Париже она поднималась на Эйфелеву башню. Вспомнила —тогда тоже, казалось, ощущала качание башни и легкое подташнивание. А теперь она всего лишь спускалась со второго этажа Таганской тюрьмы. И опять мысли вернулись к предстоящему допросу. Пожалуй, это не по делу о провозе «Искры», скорее всего, об участии в бунте...

В узкой и длинной комнате сидели женщины. По лицам и одежде догадалась — политические. Надзиратель бросил ее узелок в угол, где уже лежали чьи-то вещи. Женщины бледные, изнуренные. Да, это те, кто голодал. Ввалившиеся глаза. Дрожащие руки. На приветствие ответили слабым кивком. Людмила Николаевна стала разглядывать политических — в Таганке ее держали в одиночке, прогулок лишали, и она никого не знала. Правда, они переговаривались по вечерам, когда тюрьма жила голосами.

Начальник тюрьмы сидел за высокой конторкой и торопливо делал пометки в бумагах. Старший писарь раскрывал папки, давая шепотком пояснения.

— Людмила Заславская! — громко выкрикнул писарь.

Людмила Николаевна подняла голову. Начальник тюрьмы взглянул на нее из-под седых бровей и размашисто расписался в бумаге. Писарь вложил лист в двойной конверт и припечатал сургучной печатью. Потом выкликали других женщин. Опять на свече растапливали сургуч, запечатывая конверты. По настороженным взглядам соседок Людмила Николаевна поняла, что все обеспокоены. Эта игра в молчанку! Что-то замышляли... Возможно, что сошлются на решения Особого совещания, которыми так

богата практика российского суда, и погонят в Сибирь. Рядом с ней курсистка. Миловидная. В поношенном платье. Она нервно теребила носовой платок. Будто угадав ее мысли, тихо сказала:

— Возьмут и объявят о принадлежности к одной группе и по двести второй статье Уложения о наказаниях махнут на каторгу.

— Все основания для группового процесса налицо — никто друг друга в глаза не видел,— невесело отшутилась Людмила Николаевна.

— Разговорчики! — сердито прикрикнул писарь, не отрывая глаз от папки.

Для солидности писарь надел на длинный нос очки в железной оправе. Видно, они ему мешали и едва держались на кончике носа.

Людмила Николаевна мучительно раздумывала: кого ей напоминал этот не в меру сердитый писарь? Дятел... Дятел... Длинный нос. Бусинки вместо глаз. Короткий. Нахохлившийся. А главное, какая важность от столь значительной работы! Ямочки на ее щеках дрогнули, а в серых глазах опять смешинки. Курсистка с недоумением поглядела на нее, потом на писаря и так же улыбнулась.

Казалось, процедура будет длиться бесконечно. Слышался монотонный голос писаря да скрип пера в крепких пальцах начальника тюрьмы. Тишина висела в этой узкой и длинной комнате. От ожидания и усталости у Людмилы Николаевны поплыли перед глазами оранжевые и зеленые круги, они свивались, будто змеи, отпугивая и страша. Она уперлась затылком в стену и прикрыла глаза. Почему не говорят ничего? Что задумали? Главное — измотать неизвестностью, доставить волнение. Ничто так не пугает человека, отбывшего долгие месяцы одиночного заключения, как неизвестность.

— Вы-во-ди!

Начальник тюрьмы отбросил перо, вытер платком толстый затылок.

Канцелярия заполнилась солдатами. Суетился дежурный офицер саженного роста, громыхая шашкой. Солдаты образовали узкий проход. Опять отрывистая команда. Сверкнули шашки. Политические переглянулись. Эдакие строгости против женщин, да после голодовки! Грохот сапог. Нестерпимый блеск стали. Золотые погоны офицера. Крики начальника тюрьмы. Суетливая торопливость надзирателей.

— Встать! Вы-хо-ди!

Людмила Николаевна гневно взглянула на начальника тюрьмы. Собрала последние силы и громко спросила:

— Объясните, что это значит?

Начальник тюрьмы отвернулся. Отправкой ведал дежурный офицер. Он сложил запечатанные конверты в черный портфель и, подойдя к женщинам, начал тыкать пальцем и громко пересчитывать.

Людмила Николаевна первой прошла сквозь строй солдат. Застывшие, будто не живые. Бесцветные глаза да крепко сжатые ремнем подбородки. Надзиратель сунул узелок. Тяжесть его ужаснула. Стараясь не уронить узелок, она шла, ослабевшая. Дальше... Дальше...

На дворе ликовал апрель. Голубизна неба казалась бездонной. Солнце заливало тюремную канцелярию, обсаженную белоствольными березками. Искрились стекла тюремной церкви. Звенели птицы. В мелких лужицах купались воробьи. Разрезали плотную синь стрижи. На чахлом кустарнике набухали почки. Робкий ветерок освежал лицо. Весна... Весна...

Людмила Николаевна невольно замедлила шаг, чтобы сохранить в своем сердце всю эту ширь, птичий перезвон и ликование весенних красок. И среди этой обновленной природы мрачно чернела тюремная карета с зарешеченными оконцами, распахнутой дверцей и двумя жандармами.

Она глубоко вздохнула и, стараясь не замечать усатых жандармов, еще раз взглянула на слепящее весеннее солнце.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ БАШНЯ

Людмила Николаевна застыла у окна и слушала невидимого певца. Торжественно и тягуче выводил он слова. С легкой грустью. С тоской. Голос его, красивый и гибкий, раздавался откуда-то сверху. Временами чуть вздрагивал, словно от сдерживаемого волнения, порывался и снова с мягкой грустью продолжал задушевный разговор:

По пыльной дороге телега несется,
В ней по бокам два жандарма сидят,
Юный изгнанник в телеге той едет,
С оковами руки, как плети, назад.
Дома оставил он мать беззащитную —
Станет она от тоски изнывать.
Дома оставил он милую сердцу —
Станет она тосковать, горевать.

В Бутырской тюрьме, куда апрельским утром перевезли Людмилу Николаевну как участницу голодовки, происходили серьезные события. Третьего дня состоялся суд над студентами Московского университета, арестованных во время политических беспорядков. «Судили по вдохновению»,— шутили арестованные. Показаний никто не давал, да и следствия не вели настоящего. Комедия, а не суд! Но приговор суровый — ссылка на поселение в Сибирь! Приговор читали, а публика кричала: «Мерзавцы... Подлецы...» Дамы ужасались. Пристав успокаивал. Честно сказать, такая жестокость всех удивила. И вот теперь студентов развели по разным камерам перед отправкой в Сибирь...

Людмила Николаевна так же ждала решения своей участи. Дело о доставке нелегальной литературы затянулось. На допросы не вызывали, если не считать того, последнего. Жандармский полковник держал пространную речь о молодости, увлечении... Людмила Николаевна молчала. Потом полковник обрушился на брошюру, желтенькую, крохотную книжечку «Как держать себя на допросах». Поносил неизвестного автора, метал громы и молнии. Нужно отдать ему должное — брошюру изучил досконально. А уж в конце получилось курьезно — полковник стал уверять, что теперь на допросах все придерживаются другой тактики и дают откровенные показания, она просто отстала, пока сидела год в тюрьме. Людмила Николаевна хохотала до слез, а полковник яростно комкал пустой лист бумаги. Кто-то подсовывал ей для опознания фотографии, но она научилась владеть собой и небрежно их отбросила.

Обескураженный полковник отправил ее в камеру. Обвинения не предъявили, суда не было, но в Сибирь наверняка упекут.

Камера Людмилы Николаевны на втором этаже Полицейской башни. К сожалению, одиночка. Серая. Мрачная. Только в углу образок с чадящей лампадой. Из-за полумрака камера напоминала келью. Крохотная. Неприглядная. Образок появился за день до ее водворения. Бутырскую тюрьму посетила сиятельная филантропка и ужаснулась отсутствию икон. Вот и прислала, обусловив, чтобы их повесили в женских камерах.

Людмила Николаевна стала протестовать, но старик надзиратель отговорил. «Обожди, голуба душа, их надзиратели украдут и на Сухаревке продадут, как тебя на прогулки начнут выводить». Женщина не сразу поняла, что говорил старик, а потом удивленно качала головой. Старик Акимыч политическим сочувствовал. Высокого роста, убеленный сединой. Властное красивое

лицо и черные жгучие глаза. С Акимычем тюрьма считалась. Притеснений не чинил, с воли доставлял передачи...

— Ох, голуба душа, и страху вчерась принял из-за вас...— с легкой хрипотцой заговорил он с Людмилой Николаевной.— Того гляди, и сам загремлю кандалами по Владимирке...

— Почему, Петр Акимович? — охотно отозвалась Людмила Николаевна: понимала, что хитрый старик старается разговаривать побольше, чтобы скрасить ее одиночное заключение.— Владимирка?!

— Из седьмой камеры попросили на Полянку записочку переслать. Чахоточная, махонькая, в чем душа держится, а отправляют в Якутию... Из одиннадцатой письмецо подбросили... Да с первого этажа от мужчин две писульки... Почтальон.— Старик говорил обстоятельно, подливая конопляное масло в лампаду.— Заложил письма за голенище, помолился — и в проходную. А там эта каналья, старший надзиратель... Дьявол сущий. Поманил меня пальцем. Я, как водится, грудь колесом, глаза вытаращил — он службу любит! — Акимыч одобрительно хмыкнул.— «Придется, голубчик, тебя обыскать...» Вот они, наветы да козни!

— Это вас-то, Акимыч! — искренне удивилась Людмила Николаевна и, сдвинув пушистые черные брови, подтвердила: — Действительно, козни...

— «Как прикажете, ваше благородие!» — гаркнул во всю мочь, а у самого душа в пятки ушла.— Акимыч присел на табуретку и сложил большие руки.— Думаю, пропал. Найдут, супостаты, письма! Схватился за живот, начал мордой воротить: мол, прошу покорнейшего прощения, надобность есть в отхожее место.— Старший надзиратель махнул рукой.— Письма там разорвал на мелкие кусочки, да сплоховал — не выбросил. Посмотрел, посмотрел и сунул за голенище. Думаю, ушел, аспид, из проходной. Ан меня поджидает — сапоги заставил снять, кусочки отыскал... Крику-то, крику...

— Бедный Акимыч! — посочувствовала Людмила Николаевна.— Так оплошал!..

— И на старуху бывает проруха! Нужно было их сожрать, да уж больно не хотелось,— раздумывал старик, потирая небритый подбородок ладонью.— «Попался, безбожник!.. Душегуб проклятый! — распалялся старшой.— Вот и получается, что арестованные марок в апреле купили на десять рублей, а через канцелярию ушло одно письмо... Куды они марки дели? Засолили? А вы, архаровцы, за деньги эти письма выносите».

— Счастье, что так кричал — о главном не догадался,— пыталась успокоить огорченного старика Людмила Николаевна.

— Простите, ваше благородие, бес попутал. Деньжат мало платят, вот и решил приработать. Письма от купеческих детей вреда для государствия не представляют, а выпить большая охота.— Старик крутил головой, морщился, как от зубной боли.— Канючил, канючил... Простил, ирод, только наградных лишил на пасху да деньги отобрал для наказания... Знаем эти наказания — самому выпить хотелось. Пьянчуга на всю тюрьму, прости меня господи! — Старик размашисто перекрестился.— Потерпи малость с иконой... Сопрут ее, вестимо сопрут...

— Камеру после вечерней проверки отопрете, Акимыч?

— Знамо дело, отопру. Чур, песен не петь, а по башне гуляй себе на здоровье.— Старик собрался уходить, но, подумав, с опаской прибавил: — Я против насилия. Очень графа Толстого почитаю. Зачем человеку быть волком? Вот закончу службу, получу пенсион и в Ясную Поляну отправлюсь. Побеседую... Они до простого человека охотчивые. О тюрьмах расскажу, обо всем, чего нагляделся за двадцать годочков. Тюрьмы нужно разрушать, а не гнать чистую барышню, одну-одинешеньку, среди бандюг и убийц по этапу.

— Акимыч, когда меня будут отправлять? — Людмила Николаевна ласково, дружелюбно большими серыми глазами смотрела на надзирателя.

— Прошел слух — третьего дни... Только скажу опосля, а пока не унывай. Что из продухтов принести из городу?

— Спасибо, Акимыч... Денег нет...

— Не беда, на калач от Филиппова наскребу...

В тюремной канцелярии на свидании Людмила Николаевна получила селедку. Зало́м. Крупная. Золотистая от жира и с большим животом. Видно, с икрой. Дежурный надзиратель покосился и ухмыльнулся. Хороша! Потом приказал развернуть газету, выбросил ее в корзину. Так и шла Людмила Николаевна, прихватив селедку за жабры. Удивительно... Сестра знала, что селедку она с детства не любила, и вдруг принесла. Да еще советовала поторопиться ее разре́зать. Было что-то многозначительное в карих глазах Лизы, которую недавно выпустили из Таганской тюрьмы. Так и лежала селедка на краю стола, наполняя камеру ароматом дымка и копчености. Людмила Николаевна долго любовалась чудо-селедкой, упрекая себя за эгоизм: какую радость

доставит товарищам после вечерней проверки, Акимыч откроет камеры, и пир горой...

Вечерами, в дежурства Акимыча, Полицейская башня превращалась в клуб. Акимыч стоял на часах, караулил, боясь появления дежурного офицера. Но обычно офицер рвением не отличался — сидел в канцелярии да сражался в «козла». За день от крикливого и шумного полковника, начальника тюрьмы, все уставали. Тому все чудились заговоры, побеги, пугали студенты, которых не удавалось отправить этапом. Он устраивал проверки, умучивал надзирателей, делал разносы, а вечерами все отдыхали. Арестанты в камерах под надежными замками, в коридорах надзиратели...

Ждать Людмила Николаевна не умела — ее деятельный характер переносил часы вынужденного бездействия с большим трудом. Уголовные раздали ужин — жидкую кашицу, в которой, по меткому выражению заключенных, крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. Приходил офицер на вечернюю проверку. Теперь совсем недолго — только солнечный луч дойдет до середины стены, в тюремной церкви отобьют шесть ударов, и улыбающийся Акимыч отопрет камеры...

Людмила Николаевна — вся внимание. Слушала, как хлопали двери нижнего этажа. Громкий всплеск голосов. Обход закончился. Полицейская башня считалась у начальства на хорошем счету — ни шумных протестов, ни беспорядков, ни жалоб... Грузные шаги Акимыча все ближе, ближе. Она разложила на столе селедку. Прощупала живот. Толстый-то какой! Ну и ну! Акимыч принес длинный нож. Внезапно ее осенила догадка: резала с осторожностью, отделила голову, но дальше нож не пошел, словно уперся во что-то твердое. Сдерживая волнение, тонкими пальцами начала прощупывать разрез. Ни кишок, ни пузыря — все аккуратно извлечено. Ба, тонкая трубочка! Бумага... Ура! «Искра»! Расплывшиеся от жира пятна... Масляные буквы... Счастье-то какое! Сдернула с гвоздя холщовое полотенце и бережно разложила газету, чтобы впитался жир. Медленно проводила по холсту рукой, жир расползался кругами. «Искра»! Ее старая знакомая живет и здравствует, а она слоняется по тюрьмам да казематам! Жадно пробежала глазами. «Революционный авантюризм». Интересно! По сжатому и точному стилю узнала — Ленин. Только он так просто мог писать. Пониже наклонила голову, читала, вернее, глотала слова.

В Полицейской башне собрались революционеры различных убеждений. Большинство работниц, неискушенных в политиче-

ских дебатах. Но были и опытные спорщики из эсеров. Главное, что всех волновало,— отношение к террору. Вверху под камерой Людмилы Николаевны отбывала срок Аргунова. К искровцам относилась пренебрежительно, считая их методы борьбы отжившими. Свои убеждения отстаивала до хрипоты. Последние события с покушением Леккерта на генерал-губернатора в Вильно вскружили ей голову.

— Леккерт — настоящий герой,— тянула слова Аргунова, стараясь вдеть черную нитку в иголку.— Правительство бесчинствует. Против участников первомайских демонстраций ввели телесные наказания... Иными словами, рабочих попросту выпороли... Только Леккерт своим выстрелом спас честь революционного движения!

— Но он казнен! — с горечью ответила Варенцова, разглаживая рукой шов юбки.— Казнен! Генерал-губернатор отделался легким ранением. Да если бы он был убит, место занял другой — благо губернаторов на Руси хватает. К несчастью, ничего не изменилось, и Леккерт погиб напрасно.

— Как — напрасно? Он отомстил за поруганных, защитил и действием показал, как должен вести себя настоящий революционер.— Аргунова сердито взглянула на стоявшую у двери Людмилу Николаевну.—Террор является не только тактическим способом борьбы с существующим строем, но преследует и цели значительные...

— А именно? Хотелось бы услышать поподробнее...— не утерпела Людмила Николаевна.

— Опоздали, голубушка! — Аргунова с достоинством наклонила голову.— Сути спора не слышали. Речь идет о геройстве Леккерта!

— Речь у нас всегда одна, только имена меняются! — с сердцем заметила Варенцова.— А принцип...

— Да, спор принципиальный: могут ли революционеры применять террор для защиты своего человеческого достоинства?— Аргунова не дала договорить Варенцовой. В словах вызов.

— Итак, с позиции борьбы с существующим строем спустились до защиты человеческого достоинства,— парировала Варенцова, и глаза полыхнули сердитым огнем.

Спор происходил в камере Аргуновой. Полукруглая, сравнительно просторная, с двумя окнами, выходившими на Долгоруковскую улицу. Обычно эту камеру избирали местом встреч. Сегодня здесь оживленно: помимо Аргуновой и ее напарницы, пожилой работницы из Тулы, почти все обитательницы Поли-

цейской башни. За столом Аргунова. Худая. С бледным лицом и горящими глазами. На черном шнурке — пенсне, которое она постоянно роняет. Около нее Варенцова Ольга Афанасьевна. Немолодая. Приятная. Мягкий овал лица и большие мечтательные глаза. В тюрьме она не впервые — отбыла Уфимскую ссылку и вот опять привлечена по делу Северного рабочего союза. Опытная. Людмила Николаевна с ней сдружилась и симпатию чувствовала большую. Варенцовой жилось трудно — никто не приходил на свидания, передач не получала, да и за время следствия обносилась отчаянно. Кофта... Юбка... Башмаки... Ветошь. У Людмилы Николаевны даже сердце зашлось. Теперь Полицейская башня обшивала Варенцову, не обращая внимания на ее протесты. Здесь уж Людмила Николаевна не отступила — сестры принесли материю, кое-что достал Акимыч, и дело закипело. Вечерами надзиратель тайком выдавал ножницы, а иголки да нитки... Как их не иметь в тюрьме! Варенцова ворчала, но в глазах радость: ничего нет дороже дружеского внимания!

К спору прислушивались и работницы. Конечно, они не были искушены в политике, но Людмила Николаевна старалась, чтобы они поняли правду.

— Террором нельзя подменить классовой борьбы.— Она обняла Варенцову, ласково погладив по плечу.— Террором увлечены те, кто не имеет прочных теоретических устоев.

— Как, Балмашев, который убил Сипягина, не знал теории? Закончил жизнь на виселице... Такая смерть — лучшая агитация против царизма. Она дороже десятка забастовок и стачек, за которые искряки так ратуют! А смерть Леккерта? Опять виселица и опять агитация! — От возбуждения Аргунова уронила пенсне и быстро водрузила его на тонкий нос.

— Виселиц много... Балмашев... Леккерт... Одиночки, которые не могут решить исхода классовой борьбы... На арене истории рабочий класс.— Людмила Николаевна говорила спокойно.— Одиночки могут вызвать сенсацию, но этого мало.

— Люди умирают на виселицах! — истерически кричала Аргунова, едва сдерживая рыдания.

— Так трудно вести серьезный и принципиальный спор! — прищурив глаза, отрезала Людмила Николаевна.— Принципиальный спор, а не взывание к чувствам.

На душе ее закипало раздражение. В словах Аргуновой улавливала какую-то неискренность, крикливость, желание внешнего эффекта, рассчитанного на непросвещенных слушательниц.

В камере тишина. Головы склонились над работой. Даже

Аргунова крестом подшивала подол черной юбки для Варенцовой. Но вот она распрямилась, воткнула иглу в крышку стола и запальчиво начала:

— Каждый террористический удар отнимает силу у самодержавия. Более того, террор перебрасывает эту силу на сторону борцов за свободу.— Аргунова не владела собой, возбужденно прохаживалась по камере.

— Интересно узнать, как это практически возможно? — полюбопытствовала Варенцова, переглянувшись с Людмилой Николаевной.

— Если террор будет проводиться систематически, то революция победит.— Аргунова не ответила на вопрос Варенцовой, стараясь не замечать иронии.— Важно не отступать от террора. Против толпы у самодержавия есть солдаты, против революционных организаций — тюрьмы, а что может противопоставить правительство героическим одиночкам? — Глаза Аргуновой светились торжеством.— Никакая сила не устоит против неуловимых!

— Та же самая сила, те же самые тюрьмы... Только с одиночками, или, как вы их называете «неуловимыми», справиться правительству проще.— Людмила Николаевна поближе придвинулась к столу и стала помогать Варенцовой разматывать нитки.

— Нет... Нет... Нет... Одиночки неуловимы, а посему — бить министров, бить губернаторов, известных своей жестокостью, на острастку остальным. С воли мне передали статью, в которой вопрос ставится только в одной плоскости: «В кого бить?» — Аргунова насладилась произведенным эффектом.—Автор весьма зрело доказывает — удобнее всего бить в министров: у них нет дворцов, где они могли бы отсидеться, как в крепости, нет охраны... И одиночки им воздадут должное.

— Как странно слушать эдакие несуразности...— Людмила Николаевна помолчала и резко закончила: — Вернее, глупости, в которых трудно сказать, чего больше—наивности или нарочитого вреда... Одиночки... Дворцы... Министры... А какое же место в политической борьбе отводится народу? Это в том случае, если эсеры считают себя политической партией?

Аргунова задохнулась от возмущения. На бледных щеках вспыхнул румянец, она сжала кулачки и нервически передернула худыми плечами. Ответить ей помешала Варенцова.

— Совсем как у Чехова: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит

собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка».— Варенцова осуждающе посмотрела на Аргунову и, раздельно выговаривая слова, закончила: — Утопия! И вредная утопия... Народ должен сидеть, пока одиночки своими действиями не принудят правительство пойти на уступки? Кто из революционеров может разглагольствовать об этом серьезно?

— Политическое невежество! Грубое! Дикое! — поддержала ее Людмила Николаевна.

— И все же самодержавие нам оставило лишь один путь борьбы — смерть... Да, да, смертью смещать всякого насильника! — патетически подняла руки Аргунова.

— От твоих слов сверху печет, а снизу морозит,— вставила Пелагея, пожилая работница из пятой камеры.— Все смерть да виселица, мы жить хотим!

В камере засмеялись. Аргунова с осуждением покачала головой.

— Ну, будет вам, спорщики... Не поссорясь, и мировой не пить! — попыталась остановить накал страстей Настасья, соседка Варенцовой.— А про смерть и слушать не хочется...

С Настасьей считались. Было ей под пятьдесят. В тюрьме оказалась случайно — домик на Малой Лесной отдала под сходку. Политикой сама не интересовалась, но отказать рабочим не могла. Беспризорными осталось пятеро ребятишек. Частенько плакала, но и на шутку слыла охотницей. Селедку, которую она отобрала у Людмилы Николаевны, закончила чистить и с удовольствием облизывала пальцы. Круглое лицо лоснилось от жира. Видно, стосковалась по женской работе. Селедку разрезала на крохотные кусочки. Теперь примерялась к краюхе черного, стараясь никого не обделить, и принялась угощать. Ели с радостью, подхваливали. Полицейская башня жила коммуной, вечерние ужины служили единственной поддержкой в скудном тюремном харче. Аргунова глотала свой бутерброд торопливо, как большая худая птица. Людмила Николаевна удивлялась, как это она раньше не понимала вкуса селедки. Варенцова ела не спеша, старательно подбирая крошки.

— И все же будущее принадлежит террору... Как некогда в битвах вожди решали исход поединком, так и террористы в единоборстве с самодержавием завоюют России свободу.—Аргунова подметила улыбку Людмилы Николаевны и пояснила: — Это из последней прокламации... Жаль, что отказываетесь их читать.

— Думается, у вас на глазах черная повязка, чтобы не видеть и не слышать реальной жизни, бушующей вокруг.

— Эсеры скоро начнут воспевать рыцарские турниры, приспособив их к своим убеждениям... А цель одна — дезорганизовать рабочее движение.— Варенцова рассердилась и резко сказала: — Даже глупость должна иметь пределы!

— В революции есть дела большие и малые,— не унималась Аргунова.

— Большие дела — охота за губернатором, а малые — это подготовка демонстрации, в которой примут участие несколько тысяч рабочих! — Варенцова сдвинула брови: — Диво дивное, что за мешанина у так называемых теоретиков. Каждое положение марксизма переворачивают на свой лад, законы логики отбрасывают за ненадобностью.

— Достаточно изобретать велосипед... Он уже изобретен, у меня есть сюрприз.— Людмила Николаевна развернула «Искру» и стала читать: — «Социал-демократия всегда будет предостерегать от авантюризма и безжалостно разоблачать иллюзии, неизбежно оканчивающиеся полным разочарованием. Мы должны помнить, что революционная партия только тогда заслуживает своего имени, когда она на деле руководит движением революционного класса...»

В камере тишина. Лишь негромкий голос Людмилы Николаевны нарушал ее.

Варенцова отложила работу, подперла круглый подбородок рукой, слушала. Аргунова нервно закурила и, прикрыв глаза, стояла у косяка двери.

— Ульянов. Очень правильно, что выступил во время общей сумятицы!

Варенцова радостно улыбнулась. Она знала Владимира Ильича. Встретила в Уфе, где отбывала ссылку. Он тогда приезжал к Надежде Константиновне. Как горячо говорил о плане создания общерусской газеты! Теперь уже есть такая—«Искра»! Запомнился — сильный, одержимый.

— Ульянов... Забыл смерть брата на виселице! — патетически воскликнула Аргунова, бросая недокуренную папиросу.

— Читай дальше...

Камера зашумела. Людмила Николаевна возвысила голос:

— «Когда обострилось студенческое движение, мы стали звать рабочего на помощь студенту («Искра» № 2), не берясь предсказывать формы демонстраций, не обещая от них ни немедленного перебрасывания силы, ни просвещения ума, ни особой неуловимости. Когда упрочились демонстрации, мы стали звать к организации их, к вооружению масс, мы выдвинули

задачу подготовки народного восстания».— Голос Людмилы Николаевны зазвенел.



— Народного восстания...— с радостью повторила Варенцова.

— Читай дальше! Потом будем разговаривать! — послышался чей-то недовольный и напряженный окрик.

— «...Да, господа, мы стоим и за будущие, а не за одни только прошлые формы движения. Мы предпочитаем долгую и трудную работу над тем, за чем есть будущее, «легкому» повторению того, что уже осуждено прошлым. Мы будем всегда разоблачать людей, у которых на языке война с шаблонами догмы, а на деле только и есть, что шаблоны самых обветшалых и вредных теорий перебрасывания силы, разницы между крупной и мелкой работой и, конечно, уже теории поединка и единоборства...» — Людмила Николаевна перевела дыхание и взглянула на Аргунову.

Лицо Аргуновой казалось белее снега. Худые длинные пальцы мяли папиросу. Она сдернула пенсне, и появилось что-то жалкое и беспомощное и в ее худых, выступающих плечах, и в чахоточном лице.

— «Кто действительно ведет свою революционную работу в связи с классовой борьбой пролетариата, тот прекрасно знает, видит и чувствует, какая масса непосредственных и прямых запросов пролетариата (и способных поддерживать его народных слоев) остается неудовлетворенной. Тот знает, что в массе мест, в целых громадных районах рабочий народ буквально рвется на борьбу, и его порывы пропадают даром за недостатком литературы, руководителей, за отсутствием сил и средств у революционных организаций».— Людмила Николаевна отпила несколько глотков из кружки, заботливо ей придвинутой.

— Дальше, дальше...—хрипло попросила Аргунова, вытирая капельки холодного пота со лба.

— «И мы оказываемся,— мы видим это, что мы оказываемся,— в том же проклятом порочном круге, который, как злой

рок, тяготел так долго над русской революцией. С одной стороны, пропадает даром революционный порыв недостаточно просвещенной и неорганизованной толпы. С другой стороны, пропадают даром выстрелы «неуловимых личностей», теряющих веру в возможность идти в ряду и шеренге, работать рука об руку с массой...»

Людмила Николаевна торопливо отложила газету. Вскочила. Аргунова потеряла сознание.

УЗНИК ШЛИССЕЛЬБУРГА

И опять камера. Полутемная. Холодная. Только теперь на третьем этаже. Людмила Николаевна подтащила табурет к окну. Вскарабкалась. Из ее окна видна Пугачевская башня с зубчатыми стенами и крохотными окнами. В одной из камер сидит товарищ Макар, сопроцессник Варенцовой по делу Северного рабочего союза. Условия в Пугачевской башне суровые. Там нет добродушного Акимыча, нет тех небольших вольностей, без которых пребывание в тюрьме становится сущим адом. Надзиратели новые, кое-кого для устрашения привезли из Петропавловки. Связь с Пугачевской башней лежит на Людмиле Николаевне. Иного пути нет, даже Акимыч отказался помочь. А дело серьезное — вчера Варенцову допрашивали в Судебной палате, обнаружили новые обстоятельства, о которых нужно поставить в известность сопроцессников из Пугаческой башни. Вот и надумали передать эти новости «махами». Людмила Николаевна не понимала Варенцову, которая все твердила об осторожности. Какая может быть осторожность, если дело касается товарищей? К тому же Варенцова молодчага. Сколько в ней скромности, достоинства, уважения к рабочему человеку. Как потешно рассказывала она о пребывании на курсах Герье в Москве, что на манер Бестужевских. Герье-то оказался оригиналом. Профессор восседал в свиданной комнате рядышком с жандармским офицером, нашептывая курсисткам об откровенных показаниях. Запугивал, стращал... Вот они, русские либералы! Вся тюрьма провожала его свистом... Говорят, общественное мнение накалилось, и профессору придется подать в отставку... В Москве Варенцовой учиться долго не пришлось — выслали под гласный надзор в Иваново-Вознесенск. Она отошла от былых народнических увлечений. В городе началась стачка... Арест и первая ссылка в Уфу, которая ей позволила познакомиться с Надеждой Констан-

тиновной Крупской и услышать Владимира Ильича Ульянова. После ссылки определилась на жительство в Воронеж. Там в 1902 году происходил съезд Северного рабочего союза. Варенцова в шутку пересказывала жандармский документ, который она прочитала при допросе: «Варенцова Ольга Афанасьевна, тщедушная, за 30 лет, служит в статистическом бюро, выдержанная, уравновешенная натура; заядлая социал-демократка искровского толка... Переселившись в Ярославль и вступив в местный социал-демократический комитет, она явилась агентом Северного союза, участвуя на съездах деятелей оного, а равно в выработке программы и устава его. Лично ведет постоянную пропаганду среди рабочих...» Варенцова говорила об этом посмеиваясь, прищурив мечтательные глаза, но Людмила Николаевна понимала, что́ сделала эта немногословная женщина. Она и во время следствия думала не о себе, а о товарищах, хотя ей грозили серьезные неприятности — два ареста, ссылка...

Людмила Николаевна держала в руке белый платок и приглядывалась к окну Макара. Желтела стена Пугачевской башни с оконцами в нишах. Она схватилась руками за решетку, боясь сорваться. Наконец-то в третьем окне появилась чья-то голова. Казалось, человек улыбается. Да нет, расстояние довольно большое. И все же приветливо закивала. По привычке огляделась на дверь. От неловкого движения качнулась, с трудом сохраняя равновесие. Перемахивались споро. Людмила Николаевна владела этим искусством превосходно — три взмаха вверх, два по горизонтали... Вверх, по горизонтали... Снова вверх, вверх, снова по горизонтали... И опять... И опять... Словно сигнальщик на корабельной мачте. И то сказать, удерживаться на этом колченогом табурете, поставленном на стол, было не просто и требовало не меньшей ловкости, чем у завзятого морского волка. Взмах, взмах, взмах... Белый платок вверх — вниз, вверх — вниз... Она не успела договориться о новой встрече, как голова Макара исчезла. Очевидно, кто-то помешал. Расстроенная, опустилась на пол, больно ударившись коленом. Потащила по каменному полу свое сооружение. Стол качался, скрежетал и грозил рассыпаться. И вдруг открылась дверь. Акимыч, запыхавшийся от быстрой ходьбы, помог установить стол, сбросил табурет. Его полные губы под седыми усами вздрагивали.

— Голуба душа, перемахиваешься? Говорил тебе — не время. Из Шлиссельбурга привезли государственного преступника! Берегут пуще глаза... Там ироды, а не надзиратели... Начальство днюет и ночует... К нам позвонили, дали сигнал: мол, задержите

виноватую.—Старик досадливо сплюнул и, вздохнув, добавил:— Теперича жди начальство...

Людмила Николаевна ничего не ответила. Так вот почему стремительно исчез в окне Макар. В карцер повели... Наверняка...

От наказания Людмилу Николаевну спас Акимыч. Он стоял, выкатив грудь, увешанную медалями, и ел глазами дежурного офицера. На вопросы отвечал четко. Слишком старый воробей: мол, чтобы из окон Полицейской башни при его дежурстве кто-то посмел перемахиваться по тюремной азбуке!.. Людмила Николаевна опустила глаза, боялась, что офицер прочтет насмешку. И все же офицер приказал перевести ее в ту самую камеру, сырую и полутемную, в которой находилась Ольга Афанасьевна Варенцова.

Так Людмила Николаевна оказалась на первом этаже Полицейской башни. Через мутное стекло виднелся тюремный дворик, зажатый каменными башнями. Чахлая береза. Серебристая полынь... Голуби. У низкого здания тюремного цейхгауза свалены бревна...

В первый день Людмила Николаевна не отходила от окна: ждала необыкновенного узника Пугачевской башни. Сначала гуляли женщины. По кругу. В серых халатах и белых косынках. Временами замедляли шаг, но свисток надзирателя восстанавливал порядок. На вышке топтался дежурный офицер, а в центре дворика — надзиратель.

Людмила Николаевна недоумевала: таких строгостей тюрьма давненько не знавала.

Потом гуляли мужчины. В мешковатых халатах и бескозырках мышиного цвета. Мужчины курили, переговаривались. Движение по кругу, напоминавшее вращение колеса, столь радовавшее начальство, не получалось. В центре вырос Акимыч. Воинственный. С большущим наганом у пояса и грозно торчащими усами. Свисток об окончании прогулки дали раньше обычного. Загоняли арестантов торопливо. Чудеса...

Прохрипели часы, и из Пугачевской башни вывели нового заключенного. В каторжном халате с большим бубновым тузом. Значит, каторжанин... Людмила Николаевна прилипла к стеклу. Небольшого роста. Узкоплечий. Лет сорока. Шел свободно, изящно наклонив голову. Лицо красивое, тонкое. Печально рассматривал тюремные стены. Он снял бескозырку, и блеснула се-

дина в черных волосах. «Прогулка одному? Странно...» — недоумевала Людмила Николаевна. Таинственный заключенный обошел двор по кругу. Остановился у чахлой березы и, вынув из кармана кусок хлеба, подманивал тихим свистом голубей. Людмила Николаевна сразу признала в нем долголетнего тюремного жителя. Незнакомец, присев на корточки, крошил хлеб. Голуби стайкой слетались из древних ниш. Распушив перышки, они вращали круглыми глазами, а потом, осмелев, все ближе и ближе подходили к своему покровителю. Мужчина начал кормить, тихо разговаривал. Голуби садились на плечи, брали крошки из рук.

Надзиратели выстроились у красной стены и замечаний заключенному не делали. Удивительно... Обычно нарушение порядка вызывало грубый окрик. Теперь молчали, будто не решались. Заключенный распрямился, стал подражать щебетанию синиц. И опять легко, привычно.

Незнакомца увели, а Людмила Николаевна, сгорая от нетерпения, поджидала Акимыча, чтобы узнать правду о новом жителе Пугачевской башни.

Наконец Акимыч открыл дверь и пропустил конопатого уголовного с ведерком, в котором плескался суп. По запаху — гороховый. Уголовный, подмигивая кривым глазом, зачерпнул половником суп и плеснул в миску, приговаривая:

— Сыт крупицей, пьян водицей.— Потом почесал в затылке и виновато заметил: — Супец плоховат.

— Ну поговори мне, ворюга несчастная! — окрысился на него Акимыч.

— Пошто... Пошто... И дурень кашу сварит, была бы крупица да водица.— Уголовный философски закончил: — А в супцето одна водица... Видать, крупицу ложить забыли...

Он хмыкнул и загремел половником по дну ведерка. Людмила Николаевна смеялась. Супец-то того... Зря Акимыч навалился на уголовного. Обычно она принимала участие в таких перебранках, но сегодня... Торопливо выхватила у Акимыча ломоть хлеба и, боясь, чтобы тот не ушел, попросила:

— Нужно поговорить!

Акимыч с деланным неудовольствием покачал головой. Видно, и самому хотелось поделиться новостями. Прикрикнул на уголовного и отправил его на кухню. Сел на табурет, широко расставив ноги в стоптанных сапогах.

— Новенький-то из самого Шлиссельбурга... Из государственной тюрьмы!

— Быть не может! Перепутал, старый. Оттуда никого не

выпускают! Заживо погребенные...— Людмила Николаевна задохнулась от волнения.— Шлиссельбург... Там народовольцы...

— Не по нашей части знать, кто такие. Но по рождеству, дай бог память, проходил через Бутырки Тригони. Гнали на Сахалин, а Москвы-то не сумели миновать. Сутки сидел в Пугачевской башне. Порассказал о своем житье-бытье... А политические сразу письма на волю. Огромаднейшие опосля были неприятности начальству — недосмотрели, недоглядели! — Акимыч говорил крикливо, передразнивая старшего дежурного офицера.

— А этот кто? — Людмила Николаевна умоляюще сложила руки.— По хитрым глазам вижу — знаешь...

— Поливанов... Петр Сергеевич... Из богатых помещиков. У отца имение в Саратовской губернии, а сыночек двадцать годков просидел в Шлиссельбурге... Горячий человек, его надзиратели побаиваются. Сказывают, в Сербии за свободу дрался, а потом своего сотоварища из тюрьмы освобождал в Саратове... Солдата загубил. Его присудили к смертной казни, потом заменили каторгой в Шлиссельбурге... Вот отбыл, а теперича на поселение под Акмолинск.— Акимыч вздохнул и печально закончил: — Знамо дело, спокойно дожить не дадут!

— Акимыч, голубчик, мне нужно поговорить!

— Так поговорили же! — Старик вскинул густые брови.

— Да с Поливановым...— Людмила Николаевна даже кулачком по груди постучала.— Это же герой!

— Не балуй, девка! Он из тех, кто царя убил...— Акимыч переложил связку ключей и поднялся во весь богатырский рост.— Начальник дюже недоволен, когда узнал об его прибытии. Каждому приказывал следить... Ходите, мол, охраняйте порядок... Шкуру спущу... А ты глупости болтаешь... Таких делов наделаешь, что и не расхлебаешь... Круто взял, не туда попал... То-то!

Акимыч собрался уходить, но Людмила Николаевна не пустила его. Схватила руку и заспорила:

— Он расскажет правду о Шлиссельбурге. Там Вера Фигнер... Николай Морозов... Петр Карпович... Вся Россия следит за их судьбами.— Людмила Николаевна помолчала.— Нужно все обмозговать хорошенько. А присказками не отделаешься. «Круто взял, не туда попал»! — передразнила она надзирателя.— Я не горячусь, но такой возможности не имею права упускать.

— Вот и помозгуем,—миролюбиво закончил Акимыч.—С виду такой тихий, обходительный, а посмотрит, так мороз по коже дерет... Правду, характерный.

Акимыч приложил палец к губам. Ушел. Людмила Николаевна поднесла руки к пылающим щекам. Народоволец! Человек героической поры! Биографию Поливанова знала, читала в нелегальных изданиях. Прав Акимыч — и в Сербии был, и Новицкого в Саратове освобождал. Случилось это после разгрома «Народной воли». Поливанов установил с Новицким связь, готовил побег. Сколько мужества, преданности в дружбе... Новицкого вывели на прогулку. У тюремного сада на извозчике ждал Поливанов. Новицкий засыпал глаза табаком сопровождавшему его надзирателю. Перескочил через ограду. Надзиратель поднял тревогу. Райко, который помогал побегу, правил лошадью. Надзиратель преследовал беглецов, и Поливанов застрелил его из револьвера. Беглецы помчались по Московской улице, но случилось несчастье — на повороте опрокинулась пролетка. Беглецов настиг конвой, высыпали обыватели. Дикая, озверевшая толпа... Крик... Вой... Стон... И удары... Удары... Удары... Их забили до полусмерти. Райко умер, а Новицкого и Поливанова приговорили к повешению. Людмила Николаевна в волнении прошлась по камере. Однажды она стала свидетельницей такой расправы: в селе поймали конокрада. Озверевшие люди, колья, как пики, и животный страх в глазах затравленного человека. И вот теперь жизнь свела ее с Поливановым, пережившим самосуд, а затем и царское судилище...

Все существо Людмилы Николаевны было захвачено одним желанием — увидеться с Поливановым. Она должна рассказать о судьбах «заживо погребенных», привлечь внимание к ужасам Шлиссельбурга. Но как? Как? Даже Акимыч струсил и рассердился не на шутку...

И все же случай представился. Людмилу Николаевну вызвали на свидание в тюремную канцелярию. Маленькое здание в глубине тюрьмы, зажатое корпусами, без решеток на окнах. Сестры обнялись, расцеловались. Лиза оживленно передавала новости, вынимала из кошелки свертки, книги... И вдруг по дворику зашагал Поливанов. Задумчивый и печальный. Очевидно, из предосторожности его вывели сюда, поближе к администрации, а не в то обычное место прогулок, которым пользовались обитатели Полицейской башни. Гулял, так сказать, на глазах начальства. Людмила Николаевна оттолкнула сестру. Спасибо, окно низкое, широкое. Встала на подоконник и, дождавшись момента, когда Поливанов подошел поближе, сказала:

— Петр Сергеевич! Вас приветствует революционная Россия!

Голос ее задрожал, на больших серых глазах навернулись

слезы. Она протянула маленькую руку. Поливанов остановился. Мягко улыбнулся. С достоинством и изяществом поклонился. И впрямь он оправдывал свое прозвище «Испанец», полученное в Шлиссельбурге. Осторожно взял ее руку, поцеловал.

Людмиле Николаевне так много хотелось передать ему, выразить восхищение, но от волнения она не могла найти слов. Покраснела от досады, закусила губу и, роняя слезы, выдавила:

— Помним и гордимся!

К Поливанову спешили надзиратели. Он их будто не видел. Еще раз поклонился и тихо ответил:

— Спасибо. Передайте привет товарищам!

— Полицейская башня! Напишите! — Людмила Николаевна глотала слова.

Надзиратели подбежали к окну, запыхавшись от быстрого бега. Один из них, с большой бородавкой на подбородке, смахнул ладонью пот и поднес свисток к губам. Узник так презрительно окинул его взглядом, что тот не решился поднять тревогу. Только покрепче зажал в кулаке свисток. Поливанов, стараясь не привлекать внимание к молодой женщине, прикрыл спиной окно. Медленно закинул назад длинные волосы и продолжал прогулку.

— Слезай! Слезай! Людмила! Сумасшедшая! — торопила сестру Лиза, замирая от страха.— Тебя лишат свидания.

Свидания сестер действительно лишили. Людмила Николаевна кляла себя, что не сумела сказать Поливанову тех нужных слов, которые никогда не приходят в решительную минуту.

— Мы привыкли к тюрьмам и, если хотите, со стыдливой деликатностью видим, что почти каждый политический деятель прошел через тюрьму и ссылку...— Поливанов слегка грассировал, делал ударение на последних слогах.—Радищев... Писарев... Чернышевский... Именам их нет числа. Прикрываемся фиговыми листочками и считаем это вполне допустимым. Но допускать-то не следует. В Шлиссельбурге каждый был борцом.— Поливанов наклонился к Людмиле Николаевне.— Каких замечательных товарищей дал мне Шлиссельбург. Самое святое, чистое, бескорыстное — все там в казематах, за метровыми стенами. Вера Фигнер хотела покончить жизнь самоубийством, когда одна из голодовок закончилась неудачей. Так велика была ее вера в товарищей.

— Вера Николаевна? — Людмила Николаевна не спускала

восторженных глаз с Поливанова.— Неужто она знавала разочарование?

— Как каждый живой человек... Но это не обычное разочарование — это крушение всех надежд. Если отступили в борьбе лучшие, то что ожидать от остальных?

— Не понимаю, вернее, не представляю событий тех лет, Петр Сергеевич.

— Конечно... Конечно... То было в годы сражений со смотрителем Соколовым в Шлиссельбургской крепости. Страшенный человек. Ему принадлежали слова, редкостные по цинизму: «Если прикажут арестованным говорить «ваше превосходительство», то буду говорить, а прикажут задушить — задушу вот этими руками».— Поливанов поморщился, как от физической боли.— Держали нас в ужасающих условиях — ни книг, ни переписки, ни общих прогулок... Вот и решили объявить голодовку, к которой подключилась Вера Николаевна Фигнер... Но голодовка окончилась безрезультатно... Фигнер настаивала на продолжении, но ее не поддержали. Все это можно понять — люди измучились нравственно и ослабели физически. Только Фигнер, наша совесть, оказалась бескомпромиссным человеком...

Они сидели на бревнах около Полицейской башни. Акимыч воспользовался отсутствием начальника тюрьмы и выпустил на прогулку Людмилу Николаевну в тот час, когда там находился Поливанов. После того случая Поливанова вновь выводили в общий дворик. Пригревало сентябрьское солнце. Пахли скипидаром бревна, роняя густую смолу. Поливанов блаженно вытянул ноги. Теперь, когда Людмила Николаевна видела его вблизи, он казался намного старше своих лет. Глубокие морщины на лбу. Желтизна на лице, которая бывает только у людей, проведших долгие годы в заточении. Под крупными карими глазами одутловатые мешки, брови седые. Взор угасший. Но как преображалось лицо, когда он заговаривал о товарищах. Пожалуй, Людмила Николаевна впервые поняла ту силу, что держала народовольцев,— товарищество!

— В Шлиссельбурге, в сей юдоли печали, собрался цвет России. Наши прекрасные женщины—Вера Николаевна Фигнер и Людмила Александровна Волкенштейн.— Лицо Поливанова мечтательное, нежное.— Это не преувеличение, нет! Сознание, что рядом с нами страдания переносили женщины, многих удерживало от самоубийства. Жизнь в Шлиссельбурге не ценилась.

— Какие страшные слова! — Людмила Николаевна вздрогнула.

— Жизнь страшнее этих слов... Однажды мы работали в мастерских — их завоевали жестокой борьбой.— Поливанов перехватил вопрошающий взгляд Людмилы Николаевны и добавил: — Да, мастерские, где слесарили, столярничали. Признаться, я не был поклонником физического труда, но большинству это доставляло подлинную радость... Так во время работы вызвали к коменданту несколько товарищей... Среди них и Волкенштейн. Все всполошились, инструменты побросали. Оказалось, что по коронационному манифесту друзьям сокращены сроки. Волкенштейн узнала, что должна выйти живой из могилы. Известие она встретила с гневом, испытывала неловкость, жалела друзей... Ее поздравляли, а она «просто мирилась с фактом».

Людмила Николаевна слушала внимательно. Перед глазами стояли эти чудесные женщины. Величественные, с горделивыми осанками. Лица их так хорошо известны России. Тонкие. Одухотворенные. Страдающие. И слова Поливанова, который почти двадцать лет имел счастье видеть их, казались невероятными, почти фантастическими.

— Волкенштейн любила все живое. В Шлиссельбурге даже подсмеивались, когда она в бумажке выносила клопа на прогулку. У них с Фигнер был общий огород — аршин земли, зажатый высоким частоколом. На этом клочке плодом невиданного труда выросло на кустиках несколько ягод малины. Малина в Шлиссельбурге! — Лицо Поливанова порозовело от удовольствия.— Все ждали сбора урожая, но между подругами появились разногласия. На несчастные кустики малины навалились гусеницы, которые нами воспринимались зловещими драконами. Фигнер требовала уничтожить драконов, пока они не сожрали ягоды, а Волкенштейн соглашалась на потерю урожая — лишь бы не убивали гусениц! — Поливанов засмеялся и, вытирая слезы, закончил: — Я до страсти люблю все живое: сколько раз ужин заменял овсом для голубей, но до такого состояния не доходил. Впрочем, когда человек лишен привычных условий, то любовь ко всему живому возрастает до гиперболических размеров.

— Конечно... Конечно...— охотно согласилась Людмила Николаевна, вытаскивая из тюремного халата серый хлеб. Прихватила его не случайно — заметила, с каким сожалением Поливанов каждый раз разводил руками, когда заканчивал кормление голубей.— Пожалуйста, берите...

— Славно. Очень славно.— Поливанов с мальчишеской непосредственностью заворковал, подманивая зобастого голубя.— Не

могу удержаться, продекламирую стихи покойного Саблина. Он застрелился на конспиративной квартире на Тележной, откуда выносили метательные снаряды в день цареубийства... Застрелился, а потом Геся Гельфман открыла дверь полиции.— Поливанов помолчал, провел рукой по лицу, как бы отгоняя тягостные воспоминания, и мягким голосом начал:

Голуби по двору ходят, воркуют
Сизой артелью своей.
Все подозрительно как-то толкуют,
Быстро летят от людей.
Часто гурьбою громадной слетаются
Мирно ко мне под окно;
Целой коммуною дружно питаются,
Делят по-братски зерно.
Видно влиянье идей растлевающих
В бедной семье голубей —
Мыслей основы основ подрывающих,
Социализма идей.
Где у них личность, от злых ограждающий
Мудрой полиции глаз?
Где у них кормчий, их жизнь направляющий,
Этот порядка компáс?
Здесь анархизма пример замечается —
Страшный пример для людей!
Браки свободны — никто не венчается,
Нет ни попов, ни церквей.
Голуби сизые, пташечки бедные,
Развращены вы совсем!
Кем же идеи эти зловредные
К вам прививаются? Кем?
Скажут — природой... Для благ человечества
Выскажу мненье свое:
Если природа враждебна отечеству —
Выслать подальше ее!

Поливанов задумчиво кормил голубей. Важных. Знающих себе цену. Они раздували зобы, распушив сизые перья. Ворковали.

— Хорошо-то как! В неволе к голубям и я привязалась. Они словно вестники свободы. В Минской тюрьме я кормила их на подоконнике. Бывало, все крошки подбирала со стола, а то и свой хлеб отдавала. Любовалась, как они толкались, выхватывали куски друг у друга... Что-нибудь им рассказывала — и становилось легче. А едва арестованные начинали борьбу с администрацией, так голуби страдали первыми — запрещали кормить, не подпускали к окнам...— Людмила Николаевна смутилась, покраснела.

Поливанов понял ее. Мягко улыбнулся и, вызвав сочувствие Людмилы Николаевны, снова развел руками — хлеб кончился. С сожалением смотрел, как голуби отходили, оставляя на песке острые следочки, напоминавшие кленовые листы.

— Вы рассказывали о Волкенштейн,— напомнила Поливанову молодая женщина.

— Так Волкенштейн отличалась редкостной принципиальностью. В Шлиссельбург наведывался из Жандармского управления генерал Шебеко, грубый мужлан. Окрики. Угрозы. Узники решили его бойкотировать. Генерал от такой дерзости опешил. В камерах поворачивались к нему спиной и в разговоры не вступали. Мы были лишены переписки и о родных узнавали при обходах начальства.— Поливанов замолчал, погладил бородку.— Разъяренный генерал ворвался в камеру Волкенштейн и, боясь обструкции, начал: «Ваша матушка...» Но она сразу же оборвала: «От вас я не хочу ничего слышать даже о своей матери!» Потом-то долго горевала от неизвестности — мать она боготворила, но чувство товарищества оказалось сильнее.

— «Природа — мать! Когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни...» — Людмила Николаевна посмотрела на Поливанова и спросила: — Помните, у Некрасова?

— Да... Да... Долгие годы нас лишали общения. Требовали, голодали, протестовали, и первая брешь — женщины получили совместную прогулку. Сколько радости! Счастья! И вдруг Волкенштейн решила отказаться от этой льготы, ибо узники-мужчины ее не имели. Пользоваться тем, что несправедливо, невозможно.— Поливанов одобрительно кивнул головой. Он гордился своим другом.— А как эта хрупкая женщина требовала, чтобы ее отвели в старую тюрьму, вернее в карцер, хотела облегчить участь товарища! Настал день, и Волкенштейн уходила из Шлиссельбурга. Все прильнули к слепым окошечкам и держали в руках белые платки — так заметнее через решетки и двойные рамы. Волкенштейн останавливалась, прощалась земным поклоном. Я плакал, от счастья и горя. Вот так несовершенно устроен человек...

— Несовершенно? — искренне удивилась Людмила Николаевна и горячо сказала: — Да вы — рыцари без страха и упрека...

— Были и страхи, были и упреки... Самое ужасное в тюрьме — смерть товарища... Смерть... В наших клетушках, прогулочных двориках, я видел на снегу сгустки крови — умирал от туберкулеза Исаев, гением равный Кибальчичу. Он умел делать

все — динамит, подложные паспорта, подкопы... Кашель изнурял его, а кровь... Какое это было тяжкое время! Все ожидали, боялись, жалели... Фигнер говорила, как удивляло ее палачество тюремщиков, оставлявших на снегу эти кровавые следы... Нет, они выводили во дворик нового узника, который становился свидетелем медленной агонии друга.

— Неужели ничего невозможно было сделать? — с состраданием спросила Людмила Николаевна, увидев, как болезненно изменилось лицо Поливанова.

— Конечно, возможно... Но кому это нужно? Кому? «Из Шлиссельбурга не выходят, а только выносят» — так говорили смотрители... Исаев... Похитонов...— Поливанов грустно качнул головой. Он вновь жил прошлым, тосковал, мучался, вызывал дорогие образы.—Похитонов потерял рассудок в Шлиссельбурге. Красавец. Блестящий офицер. Прекрасно образованный, он ходил по каземату с мешком за плечами, вернее, с пустой наволочкой, заглядывал в волчок и надтреснутым голосом тянул: «Подайте милостыньку христа ради! Подайте...» От ужаса сжималось сердце, кровь леденела. Трудно сказать, что тяжелее — быть свидетелем смерти близкого человека или безумия.— Поливанов вытер слезы.— Похитонов мечтал добыть огромные деньги для революции — биллионы... Источник один — продажа рамок для портретов. Однажды в мастерских разнесся слух, что жандармы бьют Похитонова. Что поднялось... Едва не произошло вооруженного выступления. Похитонова после этого случая перевели в старую тюрьму, но недоверие к надзирателям было так велико, что его сопровождал Лукашевич. Какие наступили страшные дни — Похитонов терял рассудок, одержимый то религиозным бредом, то буйным безумием...

— Двадцать лет в каземате...— Людмила Николаевна произнесла эти слова с внутренним содроганием.— Люди, полные сил, разума, таланта, обреченные на бездействие, замурованные в каменных мешках! Помните у Плещеева: «Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой, в заботах тяжких истощил, как раб ленивый и лукавый, талант свой в землю не зарыл».

— Знало ли общество о самосожжении Грачевского? О казни Мышкина? — Поливанов спрашивал с живым интересом.— Они отдали жизни, чтобы облегчить участь друзей.

— К сожалению, узнали лишь после выхода Тригони из Шлиссельбурга. Перед отправкой на Сахалин его содержали в Бутырках. Он многое успел рассказать, а потом пошли письма на волю, прокламации, листовки... А так общество располагало

лишь сведениями о судебных процессах, которые просачивались, как вода через толщу камня.

— Что делать — наша действительность! Грачевский погиб в годы борьбы со смотрителем Соколовым, олицетворявшим собой всю гнусность, тупость полицейского строя. Грачевский частенько ссорился с Соколовым. Лед и пламень — тупое равнодушие и гневная честность. Началась вражда, глухая и непреодолимая. Соколов изводил Грачевского форточкой, через которую подавали пищу в камеру. Стучал, захлопывал с шумом. Грачевский бушевал. Мы старались его успокоить, говорили, что это все нервы. «Да, нервы, но не голова, и начальство пользуется этим и выстукивает меня, как медведя из берлоги на рогатину...» Несчастный объявил голодовку, отстаивая человеческое достоинство. Голодал восемнадцать дней... Можно понять, как переживали его друзья. Соколов испугался и перевел Грачевского в старую тюрьму. Но успокоения не наступило. Грачевский стал писать министру о чинимых притеснениях, ударил тюремного врача и ждал суда... Ждал, чтобы обличить наших убийц, ждал, чтобы спасти товарищей, которых любил больше жизни... А потом это самосожжение! — Поливанов застонал, лицо его побледнело до синевы.— Какой ужас! Какое страдание!

— Что стало с Соколовым? — Голос Людмилы Николаевны дрожал, глаза гневно сверкали.— Как он мог жить?

— Живет и поныне — не следует подлецам приписывать человеческие чувства,— нравоучительно заметил Поливанов, вытирая холодный пот со лба.— В крепость приехал генерал, и Соколова уволили. Недоглядел за казенным имуществом, то бишь за узником... Смерть Грачевского не прошла бесследно — стали вводить послабления. По словам Веры Фигнер, «оставшиеся в живых начинают легче дышать».

— А как Карпович? Молодежь его боготворила после выстрела в министра Боголепова. Считала, что он защитил студенчество от солдатчины.— Людмила Николаевна помолчала и, наморщив высокий лоб, заметила: — Я лично террор не признаю, но последователи его встречаются — в Полицейской башне каждый вечер баталии.

— Трудно мне вас понять, тем более что двадцать лет был оторван от жизни. Но появление Карповича восприняли как небесное видение. Его привели в Шлиссельбург в марте 1901 года. Народовольцы в волнении — в крепость «новеньких» не допускали. Узников оставалось всего тринадцать человек, из которых девять — вечники! И вдруг новый человек, который знает,

что происходит в современной жизни.— Поливанов широко вздохнул и расправил плечи.— Боюсь показаться смешным, но самоуглубленное состояние порождает сентиментальность. Все волновались, ждали. Вера Фигнер спрашивала: «Кого найдем мы в нем: родного сына или чуждого нам подкидыша?»

— Как возможно?! — удивилась Людмила Николаевна. Распахнула серый халат и, последовав Поливанову, подставила солнцу лицо.— Родного сына или подкидыша!

— Понять — это значит простить.— Поливанов мягко взял руку молодой женщины.— Столько лет кругом одни жандармы и тюремщики — вдруг узнаешь, что борьба продолжается, жив дух революции... В тот день я вскарабкался на подоконник, чтобы взглянуть на Карповича. Шел он быстро, приветливо махал рукой, а потом низко поклонился казематам. Первое время Карповича держали в строгой изоляции. Обстановка в тюрьме была мирная — избиения, истязания за семнадцать лет отошли в прошлое. Карпович составлял нам послания, которые на прогулке зарывал в условленном месте. Эти послания обходили всю тюрьму. Писал и о рабочем классе, и о стачках, и об уличных демонстрациях, но более всего о студенческом движении.— Поливанов восторженно закончил: — Ужели проснулось?

— Конечно, проснулось! — удовлетворенно заметила Людмила Николаевна, наклоняясь к собеседнику и заглядывая ему в глаза.— Поднимается рабочий класс. Нужно будет вам многое наверстать. «Искру» почитайте. В Бутырках на руках несколько номеров — перешлю.— Молодая женщина просительно закончила: — Пожалуйста, назовите тех, кто остался в Шлиссельбурге. Общество жаждет узнать правду. Сведения эти попадут не только в Россию, но и за границу. Узники Шлиссельбурга принадлежат не одной России...

— Да... Да... Люди должны помнить Минакова. В дни голодовки он дал пощечину тюремному доктору, заявившему, что тот заставит принимать узников пищу. Минакова за оскорбление действием расстреляли... Потом Мышкина на том же плацу. Мышкина, чья жизнь стала легендой... Самосожжение Грачевского...— Поливанов дрожащими руками скрутил папиросу, низко наклонил седеющую голову.— Смерть одних, чтобы облегчить участь других...

Поливанов закрыл глаза. Людмила Николаевна положила листок бумаги на колени и, достав из шовчика грифель карандаша, ждала. Поливанов молчал. Солнце освещало верхние оконца башни. Зубчатые тени Пугачевской башни наползали на

тюремный дворик, да чахлая береза болтливо переговаривалась желтеющими листьями. Поливанов бросил папиросу, едва удерживая рыдания, стал диктовать:

— В Шлиссельбурге остались: Фроленко — 53 года, Морозов — 47 лет, Фигнер — 50 лет, Лукашевич — 37 лет, Новорусский — 39 лет...

Поливанов замолкал, переводил дыхание и начинал снова свой печальный перечень «заживо погребенных».

Людмила Николаевна писала, крепко сжимая грифелек. Акимыч с неодобрением глядел на молодую женщину. Вот так свидание! Он давно уже решил напомнить своей любимице о позднем часе, но рука не поднималась. Так старательно писала она, такая боль была на красивом лице. Пусть посидят. Хорошо, что сегодня удалось подменить заболевшего надзирателя Пугачевской башни, а то бы Поливанова не выпустили в дворик с чахлой березой и пахучими бревнами. И Акимыч старался не смотреть на тех двоих, склонившихся на бревнах... Лишь бы начальство не вздумало заглянуть сюда...

Поливанов устал. Он потер ногу, которую сводило от жесточайшего радикулита, начал прощаться с молодой женщиной. Устал не от разговора, а от воспоминаний, от той постоянной сердечной боли, которая не оставляла все эти двадцать лет. Людмила Николаевна почтительно молчала. В ее больших серых глазах нескрываемое восхищение. У Поливанова потеплело на сердце. Приветливо кивнул и последовал за Акимычем. Людмила Николаевна провожала его взглядом. Потом поднялась и также пошла за полногрудой надзирательницей, появившейся в башне со вчерашнего дня. Баба грубая. Сердитая. Конечно, недовольная, что Акимыч вызвал ее свистком и помешал спать в дежурке. Поливанов дошел до тяжелой двери Пугачевской башни, но неожиданно повернул обратно. Акимыч не выразил удивления.

— Забыл о вашей просьбе.— Поливанов быстрыми шагами догнал Людмилу Николаевну и протянул записку.— Вот план Алексеевского равелина. Крестом отмечена камера, где первое время отсиживал... Там и другие пометки, интересные для молодежи...

Молодая женщина с благодарностью взяла листок. Лицо ее порозовело от волнения. Действительно, через вездесущего Акимыча просила Поливанова нарисовать Алексеевский равелин, столь памятный в истории революционного движения. И тут случилось непредвиденное. Полусонная надзирательница с уди-

вительной быстротой выхватила записку. Да, да... Записка Поливанова стала добычей этой гнусной бабы. Она передаст ее начальнику тюрьмы, и Поливанов, пойманный с поличным, будет строго наказан. Возможно, создадут новое дело — правительство так неохотно освобождало народовольцев.

Поливанов метнул сердитый взгляд, вздрогнул, как от удара. Людмила Николаевна накинулась на надзирательницу, схватила за руку. В глазах такая ярость, что надзирательница от неожиданности растерялась. Рука пахла карболкой. Кожа шершавая, как змеиная. Людмила Николаевна больно укусила и с силой разжала кулак. Выхватила записку, лихорадочно засунула за лиф. Стояла красная. Возбужденная. Дышала тяжело от пережитой борьбы. Поливанов широко улыбался. Конечно, молодчага! Надзирательница хотела с кулаками броситься на заключенную, но Акимыч строгим окриком остановил ее. Подумал и засмеялся в седые усы:

— Вот она, молодость! Амурные писульки развела в тюрьме... Ну и ну...

В ДОРОГЕ

Вагон качнулся, чуть откатился назад, и все быстрее и быстрее застучали колеса. В Сибирь... В Сибирь... В Сибирь... Проносились каменные пристанционные строения, напоминавшие купеческие лабазы, одинокие будки стрелочников, окрашенные в зеленый цвет, пушистые клены, прихваченные первыми морозцами. Словно в тумане, уплывала Москва. Стоял ноябрь 1902 года. Начинался тюремный этап.

Людмила Николаевна, ошеломленная и потрясенная, с холщовым узелком застыла у окна. Шум. Крик. Стон. Грохот кандалов. Ритмично перестукивались колеса, скрипуче выговаривая: «По высочайшему повелению высылается на три года в Восточную Сибирь...» На три года... На три года... На три года...

Молодая женщина поднесла руки к вискам. Вот и дождалась отправки из Бутырки. Закончились скитания по тюрьмам. Но как страшны уголовные! Озверевшие лица... Пьяный угар... Картежная игра... И возможно ли женщин отправлять вместе с бандитами и ворами? Друзья так боялись, что в уходящей партии не будет политических из мужчин, которые смогли бы помочь и оградить от неожиданностей. Так и получилось. Вместе с ней оказалась желчная женщина, отбывшая два года в Варшавской крепости. Людмила Николаевна уловила ее настороженный

взгляд. Она так же жалась у окна, испуганная всем происходившим. Унтер, дыхнув водочным перегаром, громко прокричал, стараясь, чтобы его услышали из-за стука колес:

— Знакомьтесь, барышни... Политические...

Расталкивая заключенных, унтер, покачиваясь, шагнул в глубину вагона, где началась драка из-за лавки. Людмила Николаевна первая отрекомендовалась. На худом лице Петровой, напарницы Людмилы Николаевны по этапу, брезгливость, которую она не пыталась скрывать.

— Как-то все сложится — пьяный конвой, дикие уголовные. Нас обчистят на первых же верстах...— зло усмехнулась, скривив тонкие губы.— Молите бога, чтобы худшего не приключилось. У меня сердце замирает от страха. Из крепости хотела поскорее попасть на поселение, а теперь готова вернуться в каземат за семью замками.

— Образумится... Люди — не звери,— миролюбиво сказала Людмила Николаевна.— Ни одни же здесь убийцы... Это так неприятно первое время.— И, будто желая себя успокоить, повторила: — Образумится...

— А вы из мечтательниц. «Люди — не звери»...— раздраженно ответила Петрова.— Начинайте этим бандюгам книги читать, а главное — побольше альтруизма... Из нас двоих вас прирежут первой!

Круглые глаза ее в белесых ресницах презрительно дрогнули. Она провела рукой по грязной стене и многозначительно присвистнула. «Да, с напарницей мне явно не повезло»,— подумала Людмила Николаевна и молча стала раскладывать нехитрые пожитки на лавке, указанной конвоиром.

— Интеллигентки — и эта развеселая компания уголовников,— не унималась Петрова, вытаскивая из мешка вещи.— На партию в шестьсот человек лишь двое политических и те женщины! Я просто в отчаянье...

— Мы не знаем, что за люди идут в этапе! — сердито заметила Людмила Николаевна.— Рано отчаиваться! Поживем — увидим... Раны нарочито бередить ни к чему!

Петрова ворчала, иронически всплеснула руками, но Людмила Николаевна ее не слушала. Решила пройти вдоль вагона, насколько позволяла обстановка. На соседней лавке седой старик. Борода лопатой. Седые густые волосы до плеч. Важный и грозный, как патриарх. На тонком лице лихорадочные глаза. Старик вразумлял молодого парня, сына. Тот слушал внимательно, уважительно. Рядом молодайка в черном платке, заколотом булав-

кой под подбородком. Черная кофта из домотканой материи подчеркивала белизну лица с мягкими ямочками на щеках. На коленях кусок холста с едой. Краюха хлеба, желтая соль и крупная луковица, разрезанная на четыре части. Молодуха терпеливо ожидала конца разговора. Старик махнул ладонью, словно отрезал, перекрестился. Женщина подняла глаза в лучиках морщин на Людмилу Николаевну. Улыбнулась. Лицо расцвело, порозовело. Преодолевая робость, привстала:

— Милости просим, барышня! Отведайте хлеб-соль, коль не гребуете! — И скороговоркой сказала: — Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной.— Женщина снова улыбнулась и виновато добавила: — Матушки нашей нет, а вот хлебца...

Старик патриарх скосил глаза, ничего не сказал — видно, гостеприимство заведено в семье. Людмила Николаевна поблагодарила, присела на край лавки, которую услужливо молодуха вытерла подолом юбки. И тут она увидела у стены маленькую девочку в ситцевом платке, надвинутом на глаза. Погладила ее по худому плечику. Девочка заплакала. Тягуче, страдальчески. С трудом раскрыла веки с гнойными ранками. Потерла грязными кулачками глаза. Ужас-то какой! Трахома!

— Давно болеет? — У Людмилы Николаевны перехватило голос, и, боясь, что ее не поймут, уточнила: — Глаза... Глаза...

— Да уж давненько... Как тятеньку посадили в острог, так и глазки чистые дитю проплакало.— Женщина с болью посмотрела на дочку.

— А лечить пробовали?

— Неужто! Бабка Кузьминишна заговаривала. Сначалу полегчало, а потом стали в дорогу собираться. Бабка отвернулась. Верку прогнала: каторжные, мол, опозорили...

— Без позору рожи не износить! — Парень почесал в голове.

— Живем по грехам нашим! — нравоучительно вторил старик и провел рукой по серебряной бороде.— Милости прошу к нашему шалашу, барынька!

Людмила Николаевна взяла луковицу, потом принесла вареное мясо и кусок сахара для девочки. Старик важно кивнул. Глаза молодухи засветились от удовольствия. Девочка онемела от счастья. Попробовала сахар лизнуть, будто сосульку, но смутилась под тяжелым взглядом деда. Аккуратно завернула в тряпицу, очевидно желая полакомиться на свободе. Ели не спеша, с достоинством, как в больших крестьянских семьях. Девочка похрустывала луковицей, двигала потешно носом, словно кро-



лик, но Людмила Николаевна старалась не смотреть в ее сторону — сердце ныло от боли.

— В Сибирь? — спросила Людмила Николаевна, чтобы прервать молчание.

— В Сибирь-матушку! — с обреченностью запричитала молодуха.

Людмила Николаевна уловила быстрый и испуганный взгляд, который она бросила на старика.

— Каторжные мы,— с тоской начал парень,— каторжные...



Слышишь, как гремят, сердешные? — Парень протянул ноги, закованные в тяжелые кандалы.— Баба с девкой идут за нами добром, а мы — отпетые каторжники...

Парень со злым вызовом глянул на Людмилу Николаевну, но, не уловив на ее лице испуга, махнул рукой. Девочка сжалась. Старик распрямился и медленно заметил:

— Не вороши, коли руки не хороши... Воры... Воры...

Молодуха краем платка вытерла слезы. Девочка прикрыла гноившиеся глаза ручонкой, затихла, как подстреленная птичка.

У Людмилы Николаевны снова защемило в груди. Девочку нужно лечить... Непременно... Только как предложить помощь?..

— Мы — уральские, — забасил парень, очевидно словоохотливый по природе.— Жили домом... Пятистенка! Все, как у людей, — корова, овца... А вот лошади не имели. Известно, как достается в крестьянстве без лошади. На беду, папаня коня присмотрел, а денег нету... Зимой в извоз подавался, баба по дому— очень хотели разбогатеть. Вот и надоумил один человек на недоброе дело.

— Варнак... Сущий варнак! — прошептал старик бесцветными губами.— Пусть его черти горячей смолой сожгут, как мы горючими слезами нонче плачем.

— Ваша правда, батя! — послушно повторил парень.— Этот варнак решился фальшивые деньги делать. Золотые горы сулил. У него, мол, станок имеется. Бес и меня попутал. Стали делать двугривенные, а батя их на Успенье потащил на базар. Конечно, батю зазря втянул.— Парень низко поклонился отцу: — До гроба свой грех буду замаливать... Батю схватил урядник — и в кутузку. Потом меня забрали, а станок нашли в сарае. Заковали в кандалы и повезли на телеге. Народ плакал, прощался. Баба моя, Марфа, покоя лишилась. Бежала за телегой, голосила. Уряднику в ноги бросалась, просила ослобонить нас, особливо тятеньку.

— Не учись воровать, коли не умеешь концов прятать! — сурово вразумлял старик сына.

Молодая женщина громко всхлипывала. Нервно и поспешно перевязала черный платок — воспоминания доставляли страдание.

— Пужали нас, били батогами — всё требовали сообщников открыть. «Нету, мол, убег тот варнак...» — «Знаем, ваш брат так соврет, что не перелезешь!» — орал начальник, а сам папаню лупцевал. Тут Марфа сдурела — дом пустила с торгов, корову отвела уряднику: обещался пособить. Только пустое дело... Баба за нами из города в город катала.— Парень сдвинул брови и говорил сердито, но, видно, преданностью жены был доволен.

— Куда иголка, туда и нитка,— с лаской взглянула на мужа женщина.— Не хотел шить золотом, теперь бей молотом.— Повернулась к Людмиле Николаевне, пояснила: — Так в народе говорят. Ночевали на постоялых дворах, пока денежки водились. Потом в сараях, в ночлежках. Тут и дите заболело. Да ничего, на место придем — устроимся. Свет не без добрых людей... Выдюжим...

Людмила Николаевна с болью слушала рассказ — вся эта семья плохо уживалась с представлением о преступниках. Дружная, добропорядочная — и вдруг... Конечно, нищета во всем виновата. Фальшивомонетчики с самодельным станком! И женщина такая простая и бесхитростная. Главное, как помочь девочке? Удастся ли спасти глаза? Случай тяжелый, запущенный. Трахома... В клинике в Париже она видела эти страшные глаза, гнойные, с крохотными язвами. Девочку наверняка ждет слепота. И все же нужно попробовать.

— Подойди ко мне, маленькая! — позвала она девочку.— Давай познакомимся.

Девочка вздрогнула, отрицательно затрясла головой и забилась в угол. Худенькими грязными ручонками закрыла лицо. Женщина виновато взглянула на Людмилу Николаевну и, стараясь смягчить отказ, сказала:

— Хворая она... Дикая...

— Мне нужно хорошенько осмотреть глаза.— Людмила Николаевна говорила настойчиво.— Я фельдшерица и, возможно, смогу помочь...

— Ах, хфельдшер...— рассыпался пьяным смешком унтер, остановившийся в проходе.— Товар цену перележал.— И, заметив, как сердито нахмурилась Людмила Николаевна, миролюбиво заметил: — Видать, на веку быть девчонке слепенькой...

Унтер пьяно шмыгнул носом, потрепал девочку по волосам и, икнув, пошел к соседям. Там начиналась картежная игра. Марфа неодобрительно покачала головой, поджала губы. В своем черном платке она напоминала монашенку. Девочка уткнулась в подол материнской юбки, разрыдалась. Людмила Николаевна не сдавалась:

— Путь до Якутска долгий... Пока-то дотащимся. Зачем терять время? Трахома — болезнь страшная. Неделя, другая — и наступит слепота. Ну какая же вы мать, если не сделали всего, чтобы спасти дочь?

— Жизнь наша каторжная! Горе мыкаем.— Марфа низко наклонила голову.— Девка гаснет, как свечка.

Молодуха вынула из-за пазухи грязную тряпицу и начала вытирать слезы с лица девочки. Та кричала от боли, отталкивала.

— Дохтур в тюрьме тоже называл болесть трахомой,— припомнила Марфа. Очевидно, это придало доверия словам Людмилы Николаевны.— Только, почитай, мы и отблагодарить не сумеем...

Людмила Николаевна так яростно взглянула на молодуху, что та от смущения зарделась.

— Простите, бога ради, не думала вас обидеть.— Она ласково подняла девочку, потуже заплела косичку.— Иди, иди... Барынька, видать, добрая...

Без платка, с худым лицом и тонким хвостиком-косичкой, девочка вновь напомнила Людмиле Николаевне испуганную лесную пичужку. Крохотная. Трогательная. Она повернула ее к свету, стала внимательно разглядывать глаза. Да, плохо... Очень плохо... Осторожно вывернула верхнее веко, утолщенное, воспаленное: так и есть, зерна наподобие лягушачьей икры. На лице то самое сонное выражение, которое столь характерно для больных трахомой. Крупные ресницы склеились от гноя, подвернулись и причиняли страдание. Девочка кулачками растирала глаза, спасаясь от зуда. Нет, так невозможно.

Людмила Николаевна вытащила из аптечки, подаренной друзьями в Бутырской тюрьме, бинт, вату, борную. Начала медленно промывать глаза. На роговице заметила помутнение — пелена, как занавес, опускалась. На оболочке язвы. Глаза сморщенные. Особенно нехорош правый. Сухой, с пенистыми налетами. Девочка с трудом выдерживала прикосновение легких рук. Она крепилась. Сердце Людмилы Николаевны было переполнено благодарностью к маленькому другу. И все же не утерпела, застонала — луч скупого ноябрьского солнца сквозь тюремную решетку причинил боль. Скривилась. Губенки задрожали. Людмила Николаевна протянула цветастую коробку монпансье, припасенную для такого случая. От сказочного богатства у девочки высохли слезы. Стояла не шелохнувшись. Людмила Николаевна поймала тревожный взгляд матери. Крестьянка молчала, но как кричали о помощи ее глаза!

— Не волнуйтесь, дорогая! Будем лечить.— Людмила Николаевна старалась придать уверенность голосу.— В Самаре попробуем достать лекарство, а пока два раза в день промывание. Условие одно — неукоснительная чистота.— Она замолчала, думая с горечью об арестантском вагоне.— Грязными руками не браться за глаза... Наволочка, платок, полотенце — все следует мыть.

— Да конвоиры водицы лишний раз и попить-то не дадут,— с сердцем отозвалась молодуха.— Не зря их кличут «нечистые духи».

— Будем требовать вместе!

— За добро добром платят, за худо худом.— Старик сидел

с бесстрастным лицом, не вмешиваясь в разговор, да не утерпел. Поклонился, громыхнув кандалами: — Постарайтесь, барынька, вовек не забудем...

Людмила Николаевна отдала свое полотенце, расшитое в дорогу Варенцовой. Потом наволочку. Вздохнула и оттащила подушку. Проследила, как укладывали девочку спать, и, довольная, вернулась в закуток.

— Кажется, багаж облегчили до предела,— заметила Петрова, затягиваясь папиросой.— Подушку... Наволочку... Полотенце... Впрочем, за вами идет богатый багаж, как приданое за хорошей купеческой дочкой. Пуховики, льняные простыни, шитые наволочки.

Людмила Николаевна мягко посмеивалась. Беззаботно махнула рукой и, достав чайник, стала наливать в кружку кипяток.

— Руки-то тщательно вымойте, хотя бы в пределах собственного совета ближнему,— остановила Петрова.

К удивлению, начала поливать ей из кружки, сунула одеколон для дезинфекции. Из сундучка — а человеком она оказалась запасливым — достала ситцевую занавеску, чтобы отгородиться от любопытных глаз; оказывается, сшила ее в Варшавской крепости, ожидая этапа.

— Поедем в отдельном купе, если разрешат. Хорошо-то как! А то все под присмотром конвоя. Жить предлагаю коммуной, при вашем характере не сумеете и платья сохранить.— В глазах полыхнули смешинки.— Старшая я... На вас невозможно положиться — мотовка! Подушки, к сожалению, запасной не имею, а наволочки — окажите честь...

Марфа принимала самое горячее участие в устройстве молодых женщин. Завела разговор с пьяненьким унтером, сунула пятиалтынный, завернутый в бумажку. Унтер расплылся от удовольствия и милостиво согласился, чтобы политические занавесились, а то каторжников полным-полно и обидят ненароком.

— Черт трое лаптей сносил, прежде чем собрал в одну кучу этих бродяг,— мрачно подтвердил старик патриарх, помогая Людмиле Николаевне приколачивать занавеску.

Верно, унтер не раз препровождал осужденных на поселение, ибо относился ко всему происходившему с завидным равнодушием. На майдан, который открыли уголовные — аршин засаленного холста и рваная колода карт,— смотрел с безразличием и не делал попытки закрыть его. Играли в вагоне азартно, играли на деньги, скоро их не оказалось, играли на па́йки, на казенную

одежду, на какие-то будущие доходы... Да на что только не играли!

Людмила Николаевна смотрела на эти лица, угрюмые и возбужденные, насмешливые и несчастные, с тайным страхом. Вот он, уголовный мир!

На запыленные стекла тюремного вагона слезами падали крупные капли дождя. Поезд уходил за восток. На товарных станциях, на которых обычно держали состав, их вагон останавливался у водокачки. Деревья оголялись, на толстых ветвях жались воробьи, как почерневший прошлогодний лист. Горбоносый стражник приносил в крошечном пузырьке лекарства с сургучной печатью. Переминался с ноги на ногу, ожидая, когда Людмила Николаевна даст на водку. Сургучная печать внушала уважение. Теперь в вагоне Людмилу Николаевну величали фельдшером и жаловались на хворобы. На лекарства она истратила почти все деньги. Последние отдала на продукты в общий котел. Петрова выговаривала о непрактичности, сердито насмешничала, но фактически сама ее поддерживала. Их отношения становились сердечными. Иногда Людмила Николаевна поражалась ее вздорности и неровности, но тюрьма способна испортить любой характер.

С Марфой Людмила Николаевна дружила. Деньги отдавала ей, а та с крестьянской расчетливостью, столь смешившей, на пальцах делала сложные вычисления. Покупали мясо, крупу, подсолнечное масло — как питаться на десять копеек, отпущенных казной! На больших станциях кашевары варили щи — жидкую похлебку, где плавали тараканы. Старик патриарх радовался: мол, для навару кладут их кашевары. Людмила Николаевна не могла притронуться к этой похлебке, жевала черный хлеб, запивая холодной водой.

Муж Марфы вытесал самодельную балалайку. Играл на трех струнах, ударяя косточкой пальцев о деку. Плыли песни, грустные и напевные. Но чаще всего звучали плясовые. Раздольные. Безудержные. Плечи его передергивались, губы расплывались в широкой улыбке, а ноги приплясывали. Приятный басок гулял по вагону:

Плеть идет кузнеца бить,
Кузнец идет лом варить,
Лом идет камень дробить,
Камень идет топор точить,
Топор идет дубье рубить,
Дубье идет медведя бить,
Медведь идет волка драть,
Волк идет козу резать!

Вагон от удовольствия похохатывал, громыхал кандалами. Только старик патриарх плакал. Сын сердился, морщил белесые брови, прекращал играть. Старик упрашивал, смахивал слезу рукавом бушлата и вновь разражался слезами.

— Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет,— говаривала Марфа и принималась переплетать густые косы.

Но больше всех радовала Людмилу Николаевну девочка, ее пациентка. Отчужденность давно прошла, она сама ждала спасительных промываний, доверчиво прижимаясь крошечным тельцем. Глаза стали ясными, да и выражение лица изменилось. Ни сонливости, ни болезненности. Девочка ожила, и нередко тоненький голосок ее вплетался в песню отца.

Неожиданно этой размеренной жизни пришла угроза. В Самаре сменился конвой. Распрощался пьяный унтер, добывавший лекарства. В вагон ввалился новый конвой, новый унтер. Злой и раздраженный, он нюхал табак по старинке из рожка и ругательски ругал распроклятых каторжников, которые ему, честному человеку, не дают пожить в России. Арестантам грозил судом, розгами. Вагон притих, даже майдан на время припрятали. Балалайку отобрал, а песни запретил. Крики конвойных, ругань унтера злили всех. На политических унтер не обращал внимания. Но однажды, проходя по вагону, остановился у ситцевого полога. Долго молчал и вдруг взорвался:

— Снять... Фри какие завелись! — Унтер сбычился и, как большинство офицеров из низших чинов, отчитывал: —Я божьей милостью здесь начальник!

— Как государь император! — не скрывала насмешки Людмила Николаевна.

Унтер насупился, с трудом осмысливая происходящее. Лицо красное, злое. Рассердилась и Петрова. Тонкие губы побелели, что всегда служило признаком сильного гнева. Закашлялась. Людмила Николаевна подала кружку с водой. Та отстранила ее худой рукой.

— Вы находитесь при исполнении служебных обязанностей, а между тем пьяны... Да, да, пьяны!

— Это я-то пьяный, потаскушка! — Унтер разорвал от возмущения ворот мундира с грязными погонами.— Начальство пьяное...

Людмила Николаевна заслонила собой Петрову, боясь, как бы она не наделала глупостей. По свистку унтера подбежал солдат, громыхнул ружьем и застыл. Унтер куражился. Разгоряченный, пьяный, да и человек, видно, пустой.

— Почему не устраивает занавеска? — с нарочитым спокойствием спросила Людмила Николаевна. Пьяный стражник возмущал. Начинался озноб, как всегда в минуты напряжения.— Так чем же не нравится?!

— Барышня... Политическая... Из господ...— Унтер подбоченился, лихо закрутил усы и, с трудом сохраняя равновесие, бормотал: — Можем и по-благородному... «Во всех ты, душенька, нарядах хороша: по образу ль какой царицы ты одета...» — Виновато развел руками и зевнул: — Дальше забыл...

Людмила Николаевна услышала рыдание. Плакала Петрова, мелко вздрагивали острые плечи. Вот оно, унижение! Сбывалось самое страшное — пьяный конвой. Куражится... Бандит...

— Али мы не образованные! Сами романсы под гитару хорошеньким барышням распевали.— Унтер сердито сплюнул и, осоловело поглядывая, закончил: — Конечно, не таким, что этапом с каторжниками гонят... А занавесочку-то придется снять, душенька!

— Но занавеска висит от самой Москвы,— ровным голосом ответила Людмила Николаевна.

— Вот и плохо! Составлю рапорт и перешлю по инстанциям.— Унтер громко рыгнул.— Нарушение инструкции — по головке не погладят...

— Какое же нарушение? — Людмила Николаевна старалась предотвратить скандал.— Минимальное удобство для женщин, вынужденных следовать в мужском обществе.

— Женщины... Общество...— Унтер кривил крупный рот.— А если побег?

— Побег?! — изумилась Людмила Николаевна. В серых глазах вспыхнули смешинки, и вновь повторила: — Побег? Какой?

— Да-с... Самый простой... Тут висит занавесочка, а позади оконце. Милые барышни разбивают оконце и выпрыгивают на ходу поезда.— Унтер свирепо вращал глазами и кричал на солдата.

Солдат выкатил грудь и вновь стукнул прикладом о пол. По его бессмысленному выражению лица было ясно, что он ничего не понимал.

— Помилуйте... На окне железная решетка, женщинам ни в коем разе ее не сорвать... Выпрыгнуть на ходу... Да на такое матерые каторжники не решаются.— Людмила Николаевна покосилась на окно.— Решетка-то в два пальца толщиной... Это не паутинка из железа... Вы препровождаете в Сибирь не первую партию и знаете, что таких случаев не бывает.

— Сегодня не бывает, а завтра бывает... Мне до пенсиона пять годков, и службы лишаться не намереваюсь.— Унтер вздохнул и прибавил: — Воры и на благовещенье воруют. Креста на вас нет...

— Имейте же разум! — в последний раз попыталась урезонить его Людмила Николаевна.

Она понимала, что разговор бесполезен, что унтер решил показать свою власть над беззащитными женщинами, что они будут лишены этих последних удобств и их интимная жизнь будет выставлена напоказ уголовному миру. Петрова плакала, неумело вытирая слезы тыльной стороной ладони. Марфа пыталась выступить с защитой, но испугалась кулака унтера. А тот все бушевал, раскачиваясь на тупорылых носках нечищеных сапог:

— Значит, запрещаю... Навсегда.— Волосатая рука намотала ситцевую занавеску, потянула.

Людмила Николаевна отвернулась. Но занавеску унтер сорвать не успел. С верхней полки с грохотом скатился человек. Огромный. Всклокоченный. Лицо заросло густыми вьющимися волосами. Взгляд черных глаз диковатый. Каторжник, закованный в ручные и ножные кандалы. Загремели, застучали цепи. Человек шагнул к унтеру. Ба, да унтер ему лишь до пояса! Скрытая сила чувствовалась в его огромном теле, жгучая ненависть в чуть прищуренных глазах. Молодая женщина вздрогнула. Знала, что за каторжником значилось пятое убийство. Пятое... Он был на редкость неразговорчивый. Лежал на верхней полке и, подложив руку под небритую щеку, дремал. Арестанты, наслышанные о славе его, побаивались, обходили с какой-то робкой почтительностью. Конвой также не допускал столкновений — дикий нрав хорошо им известен. Даже при передаче партии, когда кобылку — партию арестантов — пересчитывали и приходилось долгими часами мокнуть под дождем, когда уголовные, обмениваясь солеными словечками, под смех и шутки переходили с одной стороны на другую, каторжанин поражал угрюмостью. Как медведь в цепях, окидывал он свирепым взглядом кобылку, и хохот замолкал. Конвой прерывал счет и с проклятиями в который раз начинал комедию сначала. Арифметика оказалась не в почете у солдат, вот и происходили извечные пререкания, свидетелями которых становились арестанты. Да и как не смеяться, если в одной и той же партии то не хватало пятнадцати человек, а то появлялось два десятка лишних...

— А, щучья кость, узнаешь? Дух проклятый... Почто измы-

ваешься?! Злыдничаешь?! — Каторжник ревел, наполняя могучим голосом вагон.—Змеендравный гаденыш... Все наперекор да людям в укор! Сам злее злого татарина, а крестом куражишься! Балуешь, пес паршивый...— Человек дрожал от ярости.—Сердце у меня злокипучее! Унтер с лукавым водились, да оба в яму провалились...

Унтер сжался. На лице испуг. Хмель прошел. Солдат широко перекрестился. Марфа молчала, прижав к груди девочку. Людмила Николаевна стала опасаться за дальнейшее. А каторжник врос в заплеванный пол, словно могучий дуб, и ревел:

— По-ре-шу... Давно на гада зуб имею...

Людмила Николаевна перехватила умоляющий взгляд унтера. Да, положеньице... Возьмет и убьет!..

— Уходите-ка от греха, унтер! — сказала она с тревогой.— Без вас разберемся!

Первым скрылся солдат, за ним унтер, а бродяга кричал, заглушая стук колес:

— По-ре-шу... По-ре-шу...

СЕЛО БИРЮЛЬКИ

От Иркутска до Верхоленска, места, назначенного для отбывания ссылки, триста верст. Сани подпрыгивали на ухабах, кричал возница на притомившихся лошадей, да балагурили стражники, облапив ружья. Людмила Николаевна куталась в шерстяной платок. Тайга... Сибирь... А кругом голубоватая снежная белизна, слепящая глаза. Звенел колокольчик. Валил пар от низкорослых лохматых лошадей. Мужик в тулупе косился на молодую женщину, которую везли стражники. Изредка он отворачивал обледеневший от дыхания ворот, и она видела обветренное лицо с карими глазами. Умными и хитрыми. Да, многих он сопровождал в эти холодные и гиблые края... И что их гонит в ссылку? Молодые... Образованные... Жить бы да жить, а они...

Дорога круто повернула, и сани покатили по лесу. Зимнее солнце освещало запорошенные снегом деревья. Голубели верхушки елей. Мягкие густые сумерки наползали на чащобу. Смерзшаяся земля гудела дробным перестуком лошадиных копыт. Ершистые сосны, хранившие солнечный отсвет; поднимались, как свечи, шишки. Низко склонились березы от непосильной снежной ноши. Сказочными красавицами, увешанными красноватыми в заходящем солнце шишками, хороводились на



полянках ели. Необъятные, словно купчихи на празднике. Сквозь снежный наст зеленели остроконечные вершины молодняка, завихренные ажурными заячьими следами. И опять наступала стеной тайга, залитая розовым светом, запорошенная искрящимся снегом.

От этой таежной красы у Людмилы Николаевны перехватывало дыхание. Широко раскрытыми глазами смотрела она на праздник красок и снежного сияния. Тайга манила таинством едва приметных тропок, зачаровывала пушистым белым снегом да приветливым покачиванием горделивых разлапистых елей. Она наклонила голову, чтобы не попасть под снежный дождь,— ели наступали на дорогу, укрывая ее могучими ветвями, горбатыми от снега. Возница веселее взмахивал кнутом, гортанно покрикивая на резво бегущих лошадей. А с ветвей потревоженных деревьев все падал и падал снег, пушистый и мягкий, сотканный из неведомых кружевных узоров. Потухало солнце. Резко означилась грань света и тьмы, которая заволакивала лес. Угасали последние отблески солнечных лучей. озаряя верхушки деревьев отсветом пожарищ. Природа стояла бесстрастная и величавая. Извечная и прекрасная своим могуществом.

Людмила Николаевна, раскрасневшаяся от быстрой езды, с радостью смотрела на тайгу. На вьющихся волосах звездочки снежинок. Она подалась вперед, жадными глазами старалась запомнить краски вечерней тайги. Не хотелось думать о ссылке, о предстоящих мытарствах, о стражниках, не умолкавших от Иркутска с рассказами о рождественских праздниках... Красота зимнего леса захватила ее. Мир был прекрасен: розовые вершины узорчатых елей, последние розовые полосы на снежном насте, багряно-алые сугробы и это чувство молодецкой удали, которое всегда возникало при быстрой езде. Она уловила удивленный взгляд возницы. Лицо его светилось от удовольствия. Он привстал на коленях и с каким-то мальчишеским озорством завертел кнутом, присвистывая и похохатывая.

Женщина ехала навстречу неизвестности — позади остался этап, стычки с грубым конвоем, ожидания в Иркутском остроге.

Бежали низкорослые сибирские лошаденки, подпрыгивали на ухабах сани, в радостном испуге замирало сердце, да кружились золотоствольные сосны, подпирая небо со снежными тучами.

В Верхоленске Людмиле Николаевне задержаться не удалось. Ее определили на жительство в деревню Бирюльки, в тридцати верстах от города. Глушь и тишина. Зажатые снегом дома да тайга, наступавшая на деревеньку. Она сняла комнатку у вдовой старухи и затосковала — ни друзей, ни знакомых, ни известий, словно заживо завалили тебя эти снежные равнины да прикрыли сосны с погребальными свечами.

Ночью постучали в окно. Тихо. Осторожно. Стражники? Обычно они делали проверку два раза в сутки. Вваливались полупьяные. Наглыми глазами рассматривали ее, казенную вещь. Говорили пошлости и, зевая, уходили, оставляя зияющую темноту в открытой двери. Людмила Николаевна дрожащими руками захлопывала дверь, ощущая упругую силу ветра, запирала на задвижку и долго стояла, стараясь унять сердцебиение. Наглецы... Наглецы...

Опять послышался стук. Она подняла голову. Прислушалась. Нет, конечно, не стражники. Прильнула к залепленному льдом стеклу, но разобрать ничего не смогла. Темь... Непроглядная темь... Женщина быстро вложила в книгу шершавый листок «Искры». Передали вчера тайком — вот и пришел праздник в комнатку со свежеоструганными стенами, проконопаченными мхом. Читала и грезила о России. Сняла с крючка шубейку и, накинув на плечи, поспешила в сени.

Хозяйка, тощая, грязная баба, недовольно поежилась и бросила сердитый взгляд — так всегда, если будили ночами.

В полутемных сенях переминался высокий мужчина в оленьей дохе. Смущенно стянул треух и пробасил:

— Простите, что потревожил... Беда...

Загремели ведра. Хозяйка ушла в горницу, оставив дверь неприкрытой. Подслушивала... Людмила Николаевна с осуждением отвернулась. Пригласила незнакомца в комнату. Тот вошел бочком и заполонил всю — огромный, в плечах косая сажень, лицо в густых курчавых волосах, прихваченных снегом. Говорил с восточным акцентом, обрывисто:

— Тиф... У Евы тиф...— Незнакомец размотал шарф и бес-

помощно держал его в огромных руках.— В соседнем селе колония ссыльных, и среди них женщина. Ева. Да, вероятно, вы слышали, что она заболела. Проходила по делу социал-революционеров. Фельдшерица... Ездила по селам, где-то заразилась. Температура страшная, бредит... Вот и пришлось отмахать в пургу пятьдесят верст — товарищи прислали... От нас, мужчин, польза малая... Как-то растерялись...

— Тиф? — В серых больших глазах Людмилы Николаевны озабоченность.— А врач-то в Иркутске...

— Возможно, вы боитесь? — Бородач смущенно засуетился и начал взмахивать шарфом.— Тиф очень заразен, как-то я об этой стороне не подумал. Но Ева так больна...

— О какой стороне заговорили? — возмутилась Людмила Николаевна, торопливо собирая саквояж, с которым обычно путешествовала по ближайшим селам.— Нужно подумать, как локализовать сей страшный случай!

— Да... Да...— Незнакомец улыбнулся и, схватив руку женщины, крепко сжал.— Простите, не представился — Нодия.

— Нодия из Грузии? — Людмила Николаевна дула на пальцы. На круглом лице страдание: бог силушкой не обидел.— Теперь только хозяйке доложу, и поедем... Буду через пять дней,— проговорила она, обращаясь к стене с пожелтевшими фотографиями.

— Уверены, что услышит? — восхитился Нодия простотой такого способа общения.

— Конечно, всегда на страже — ухо к стене. Чем же еще можно украсить жизнь в такой глуши?

Людмила Николаевна подсела к столику и, отодвинув тарелку, начала писать прошение исправнику о самовольной отлучке. Трехлинейная лампа неяркой полосой подсвечивала склоненное лицо с мягкими чертами, круглым подбородком и чуть вздернутым носом. Незнакомец укладывал книги — заметил, что женщине было жалко расставаться с ними.

— Письмо исправнику на столе,— все с той же приветливостью обращалась Людмила Николаевна к стене.

На этот раз стена ответила резким голосом:

— Деньги за фатеру за месяц вперед!—Помолчала и, вздохнув, закончила: — Человека видим, а души его не видим... Убегнете, а мне одни убытки...

Нодия рассмеялся и восторженно затянул шарф узлом. Людмила Николаевна с недовольным видом выложила ассигнацию и погасила лампу.

...После тяжелой дороги отдохнуть не удалось. В село приехали вечером. В окошках кое-где светились огоньки, да лаяли собаки, заслышав звон колокольчика. Пурга затихла. Лишь огромные снежные завалы напоминали о ней.

Нодия привел Людмилу Николаевну в крестьянскую избу и, поздоровавшись с хозяином, пропустил вперед. Комната, в которой оказалась она, удивительно напоминала ту, что оставила в Бирюльках. Крохотная. Свежеоструганные бревна, законопаченные мхом. Обстановка незатейливая — стол на толстых ножках, два самодельных табурета и узкая кровать.

— Звери... Мучители... Трусы...— хрипло выкрикивала в жару больная с неестественно пунцовым лицом.

Людмила Николаевна подошла поближе к кровати и стала следить за женщиной. Худая-то какая! Лицо скрывали густые черные волосы, а руки... руки... С какой жадностью пытались натянуть лоскутное одеяло. Очевидно, начинался озноб. На грязном полу валялся полушубок и шерстяной платок — сбросила, когда металась в бреду.

— Да-с... Принесите воды, Нодия! — Людмила Николаевна кивнула на пустые ведра.— Заодно и дров прихватите. Нужно хорошенько протопить комнату и чай вскипятить.

Нодия торопливо схватил ведра, налетел на лавку, опрокинул. Людмила Николаевна укоризненно покачала головой и приложила палец к губам. Нодия виновато, по-детски, улыбнулся и медленно на цыпочках пошел к двери. Послышался грохот — споткнулся о порог, загремел ведрами. Выскочил в сени, но и оттуда доносился шум. Конечно, что-то уронил. Медведь, таежный медведь... Да, с вещами он не в ладу — все падало и ломалось в его большущих лапах.

Людмила Николаевна осторожно подошла к больной. Положила ладонь на лоб. Сухой. Горячий. На запавших щеках характерные мелкие пупырышки, которые исчезают, если надавить пальцем. Глаза, потусторонние, страдальческие, под густыми пушистыми ресницами. Руки прозрачные. Видно, очень исхудала за болезнь... И как продержалась эти десять дней! Дыхание прерывистое, тяжелое, словно на грудь наложили камни. Лишь бы не воспаление легких — этот извечный спутник тифа. И температура такая высокая.

Больная слабо застонала. Людмила Николаевна ласково провела рукой по спутавшимся густым волосам. Косы-то придется отрезать, иначе не справиться. На лбу бусинки пота. Значит, температура немного спадает. Она вытерла платком лицо, с огор-

чением наблюдая, как заливалась мелкой розовой сыпью кожа. Тщательно укрыла больную и, услышав невнятное бормотание, стала по-матерински уговаривать:

— Потерпите, голубушка... Потерпите...

Холодный воздух ворвался в комнату. Окутанный белым облаком, стоял Нодия. Бухнул о пол охапку дров, прихваченных ломкой корочкой, и сконфузился, увидев огорченный взгляд Людмилы Николаевны. Ну как можно быть таким неловким... Нодия пристроился у печки на корточках и старательно закладывал дрова, отдирая кору с черными разводами с березы. Чиркнул спичкой и загремел чугунной заслонкой. К удивлению Людмилы Николаевны, печь загудела, сквозь резную заслонку вырывались огненные язычки.

— Ну и ну... Дрова-то сырые... Думала, дымом задушите, а вы из умельцев.— Людмила Николаевна смотрела на Нодию с нескрываемым изумлением.— А мне одни мучения с проклятой печью. Хозяйка протапливает сама, когда в добром настроении, а так молча взирает на мои страдания.

Нодия довольно улыбался в пушистые усы и неторопливо подбрасывал поленца.

— Мне пришлось подружиться с печами. Первоначально отправили в Верхоянск с полярными ночами да холодами до пятидесяти градусов. Да-с, пятьдесят... Лицо намазывали густым жиром, а сами превращались в луковиц — сто одежек и все без застежек... Но от холода, пронизывающего до самых костей, когда дрожала каждая жилка, спасти не удалось. Привезли меня осенью. Хозяин вынул из оконных рам стекла, завернул в тряпки и убрал на чердак.

— Это перед зимой-то?

— Да, стекло менее надежно, и в рамы вставляют толстые куски льда. Делают формы для воды, как под заливное... Потом и мы оценили эту мудрость — те лютые холода никакие стекла не выдержали бы.— Нодия раскрыл печную дверцу и начал кочергой шевелить дрова. Лицо казалось помолодевшим в красноватых отблесках.— А какая там пурга... Словно ведьмы хороводят, свистят, хохочут, стараются уничтожить все живое.

На железный под упал уголек. Погорел и покрылся голубоватым пламенем. Нодия с неожиданной ловкостью схватил спички и бросил их на стол.

— Кстати, спички в Верхоянске — невиданная роскошь. Подвоз в городок происходит в весьма ограниченные месяцы, и спички берегут. В печах хранят вечный огонь. Вам любезно

одолжат головешку, если попросите, а то и продадут... Но страшнее всего табачный голод...

— Табачный голод?

— Да, табачный... Курят в Верхоянске все — дети, женщины, не говоря о мужчинах. Летом, чтобы прогнать миллиарды комаров, тучами поднимающихся из болот, а зимой, чтобы согреться куревом. Да, да, так считают. И вдруг табак пропадает. Люди ходят злые, несчастные, а потом начинаются мудрствования — толкут кору, измельчают прокуренные мундштуки... Слов нет, чтобы передать границы изобретательности.

— Значит, жить можно.

— Конечно, можно, только зачем?..

— У вас горе? — В больших серых глазах Людмилы Николаевны сострадание.

— Где сыскать на Руси человека без горя?

Людмила Николаевна молчала, не расспрашивала. Захочет— сам скажет. Природная деликатность удерживала ее, хотя и понимала — ничто так не облегчает исстрадавшееся сердце, как дружеское участие. Нодия оценил ее деликатность. Прошелся по комнатке и приглушенно начал:

— В ссылку за мной решила ехать невеста. Мы знали друг друга с детства и очень были близки. Я отговаривал как мог, боялся, что она, южанка, не перенесет заполярных холодов.

— Но она хотела разделить ваши страдания...

— Что вы говорите! — с отчаяньем воскликнул Нодия, схватив Людмилу Николаевну за руку.— В дороге она повстречалась с добропорядочным чиновником, который решился рассказать правду о распрекрасном Верхоянске. Он прослужил там несколько лет и возвращался в Россию. От ужаса и боязни за меня — невеста отличалась редкостной добротой — она сошла с ума. Началась горячка, а потом эта ужасная болезнь... Бедняжка не доехала до Верхоянска, так и осталась в Верхоленске. Меня вызвали друзья, которые приняли участие в ее судьбе. Она не узнала жениха — глаза блуждали... Такая жалкая, что смотреть больно, и все звала меня... Потом приехали родители и увезли ее в Грузию... Вот уже год, как она умерла. Но власти проявили гуманизм — мне изменили меру наказания: Верхоянск заменили Верхоленском,— злобно закончил Нодия.—Подлецы... Подлецы...

В его голосе слышались рыдания. Нодия опустился на колени и яростно начал расшвыривать дрова. Людмила Николаевна испугалась, чтобы огненные искры не спалили бороду и усы.

Ужаснулась от рассказа: горе-то какое! Мучается и считает себя виноватым в смерти любимого человека...

— Как вы перетерпите эту ссылку? Три года для Сибири — срок не малый.— Нодия вытер лицо и смущенно сказал: — От дыма глаза слезятся.

— Конечно, конечно,— согласилась Людмила Николаевна, стараясь придать голосу убедительность.— Только в Сибири я сидеть не собираюсь. Работы в России невпроворот — осмотрюсь и буду бежать.

— Зимой?

— Что делать! Летом бежать было бы легче, но меня пригнали осенью, а ждать не могу.

В ее словах звучала такая простота, что Нодия развел руками. Вот она, молодость, с надеждами, порывами, мечтами. К несчастью, для него все это в прошлом, но в словах молодой женщины такая святая вера, что он улыбнулся.

Огонь озорно потрескивал, потянуло дымком, запах которого Людмила Николаевна любила с детства. На железный под падали угольки. Комната наполнялась теплом. Людмила Николаевна развязала шерстяной платок, поправила высокую прическу.

— Мне хотелось убежать, когда везли стражники из Иркутска. Но стражники попались беззащитные — решила не подвергать их наказанию.— Людмила Николаевна засучила рукава и начала наливать чайник.— Одним словом, пожалела...

— Жалость и революция — странно для представителя такого радикального направления, как искряки.

— Жалость — плохое слово, но делать зло простым людям не могу.— Людмила Николаевна заморгала длинными ресницами. Было что-то бесконечно наивное в смущении и желании скрыть его.— Вы́хожу Еву и займусь побегом... Я и на вашу помощь, Нодия, рассчитываю.

— Конечно... конечно...— Нодия кашлянул и осторожно заметил: — Только бежать из этих мест зимой немыслимо. Даже исправник не следит за ссыльными — Сибирь-матушка стережет, а молодой женщине...

— Вот и славно, что исправник нерадивый,— прервала его Людмила Николаевна.— Чем меньше глаз, тем легче.

Нодия замолчал — надеялся, что время само излечит от безумных упований и несбыточных желаний.

Людмила Николаевна налила ароматного уксуса в теплую воду, сделала из марли тампон и, тщательно вымыв руки, подо-

шла к больной. Ловко начала протирать лицо, шею, плечи. Нодия забился в угол, но Людмила Николаевна позвала его:

— Помогите поддержать Еву. Нужно переодеть ее в свежее белье.— Уловила нерешительность на лице Нодии, помедлив, сказала: — Конечно, риск велик, но другого выхода нет. Потом приготовлю раствор лизола — продезинфицируетесь.

— Вы неправильно меня поняли.— В голосе Нодии обида.— Я о женской стыдливости думаю, а умереть считаю счастьем.

— Умереть... Счастье... Принимайте себя за доктора и начинайте священнодействовать,— отшутилась Людмила Николаевна и прибавила: — Ева не узнает, что вы участвовали в омовении.

— И все-то у вас просто! — благодарно отозвался Нодия.

Легко, словно перышко, он приподнял Еву. Людмила Николаевна проворно протерла девушку и, закутав одеялом, сняла рубаху, влажную и потную. Потом облачила ее в свое белье, предусмотрительно прихваченное из дома. Нодия удивлялся ловкости и быстроте.

— Очень рад, что привез вас! Теперь за Еву почти успокоился.— Нодия восторженно причмокнул языком: — Да, женские руки — великое чудо!

Больная открыла глаза. Отуманенные, безжизненные. Обтирание принесло облегчение — она стала ровнее дышать и уснула.

Потекли тяжелые дни. Нодия притащил для Людмилы Николаевны кровать и поставил в углу. От больной она не отходила, запретив ссыльным появляться в доме. Исключение сделала для одного Нодии, который подменял ее в те немногие часы сна, которые разрешала себе. Но спала плохо: вскакивала, подбегала к Еве, пеняя, что он не разбудил вовремя. Нодия сильным движением возвращал ее в кровать и грозил пальцем. Людмила Николаевна внушала ему уважение. С такой самоотверженностью и преданностью ухаживать за незнакомым человеком! Особенно трудно приходилось ночами: больную душил кашель — к несчастью, началось воспаление легких, которого так боялась Людмила Николаевна. Ева ослабела, пульс лихорадочный. Казалось, сердце не выдержит и конец неизбежен. Временами к больной возвращалось сознание, и тогда испуганные и недружелюбные глаза следили за каждым шагом Людмилы Николаевны.

А за окном бушевала непогода — завывала пурга да злой ветер прижимал к дому покрытые инеем ветки березы. Больная

со страхом прислушивалась к ненастью. Людмила Николаевна понимала ее — десятки тысяч верст от родного края, а кругом тайга да исправники!

В эту ночь Нодия ушел пораньше. Людмила Николаевна посмотрела на его осунувшееся лицо и не стала удерживать. Потом себя ругательски ругала — в двенадцатом часу наступил кризис. Больная бредила, звала мать, глухо рыдала, рвала рубашку — ее терзали кошмары. Судорожно цеплялась исхудавшими руками за край постели, а потом долго полубезумными глазами смотрела на Людмилу Николаевну. В те часы она пережила весь ужас одиночества и страх за ее жизнь. И снова накатывали кошмары. Ева пыталась куда-то бежать, вскакивала. Людмила Николаевна удерживала ее, но справиться было не легко. Ева металась в жару. Из обрывков фраз Людмила Николаевна поняла, что кого-то из Евиных друзей казнили. Больная билась головой о стену, пыталась их спасти. Ярость ее обрушивалась на молодую женщину, которую она принимала то за жандарма, то за священника. Трудно сказать, чем бы закончилась это трагическое единоборство. Людмила Николаевна крепко прижимала Еву к груди, успокаивала. Прибежала хозяйка — очевидно, крики и стоны разносились по всему дому. Хозяйка трусила. Остановилась на пороге, мелко крестилась, потом опасливо подошла. Просьбы Людмилы Николаевны выполняла неохотно, но помощницей оказалась неплохой: разорвала простыню на ленты, подогрела воду, помогла спеленать больную. Людмила Николаевна приготовила шприц, ввела камфару. Подумала и, высыпав аспирин в поильник, насильственно дала Еве. И опять долгие часы сидела у изголовья, карауля ее дыхание.

Нодия застал их спящими. Голова Людмилы Николаевны лежала на краю подушки, светло-каштановые волосы скрывали лицо. Ева подняла пушистые брови, заслышав шаги. Слабо улыбнулась и предостерегающе погрозила пальцем — оберегала сон спасительницы. Сознание вернулось к ней — кризис миновал. Нодия умиленно пожал тонкую руку и затоптался по комнате в огромных валенках, как потревоженный медведь. Он был счастлив — смерть отошла от Евы. Застенчивая улыбка молодила его заросшее лицо. Ева с короткими волосами и похудевшим лицом смахивала на мальчишку.

Нодия громыхнул ведром — так и не научился ловкости,— Людмила Николаевна встрепенулась. Опасливо поглядела и, поставив термометр, сконфуженно сказала:

— Заснула... Вот беда!

— Ну и славно, голубушка!

В раскатистом голосе Нодии — нежность. Он распахнул тулуп и достал крохотный чугунок с кашей — спасал от сорокоградусного мороза.

— Товарищи просили передать... Рассыпчатая...

Людмила Николаевна хлопотала: заматывала ленты, на них больная смотрела с недоумением, редким гребнем расчесывала спутавшиеся волосы.

— Теперь пойдем на поправку, Ева, все страшное позади...

Ева прикрыла глаза, по щекам катились слезы. Нодия смущенно кашлянул в кулак. Людмила Николаевна готовила горячее снадобье. На круглом лице озабоченность. Наконец она не выдержала:

— Нодия, дорогой! Вы все можете...

— Начало ничего хорошего не предвещает,— пробасил Нодия, замачивая в тазике белье.

— Почему? Только признание ваших незаурядных талантов.

— Еще хуже! — сокрушенно вздохнул Нодия.— Через минуту выяснится, что я ничего не смогу, и навсегда потеряю авторитет.

— Курица...— протянула Людмила Николаевна.

— Спасибо! — обидчиво поклонился Нодия.— Вот что осталось от былого всемогущества.

— Да нет... Курица в смысле бульона...— Людмила Николаевна поглядела на обиженного великана и прыснула.— Бульон для Евы.— Ямочки на полных щеках все явственнее, смех громче.— Обидеть вас и в мыслях не держала.— Вот отчудил — курица... Уж вернее, медведь...

Захохотал и Нодия. Действительно, как такое могло прийти в голову! Где же раздобыть эту проклятую курицу? Село бедное, да и кто решится зарезать курицу зимой...

Людмила Николаевна покопалась в стареньком портмоне и сунула трехрублевку Нодии:

— Деньги не помешают... Берите...

— Это же месячное пособие от казны... Чем жить будете? — Усы его топорщились, как у рассерженного кота.—Эдакая богачка! Трехрублевками кидается...

— Проживу...— беззаботно ответила Людмила Николаевна.— Вот бы курицу разыскать! Поди, у попа есть, а то и у исправника... Нет, нет, не откажут! — В ее больших серых глазах решимость.— Попрошу хорошенько... Уж я-то найду путь к их сердцу.

— Экая проворная, словно кавказский человек! — Нодия остановил молодую женщину: — Я готовлю детей священника в гимназию, большого любителя красивых слов о помощи ближнему. Скорее котелок, курица будет. Иль со щитом — иль на щите!

Дни... Недели... Людмила Николаевна неотступно думала о побеге. Ева поправилась, привязалась к Людмиле Николаевне, считала ее спасительницей. Долгими вечерами вели разговоры. Ева горячилась и доказывала абсурдность — побег женщины зимой!

Нодия молча жевал длинный ус — характер Людмилы Николаевны понял. Споры слушал не без внутренней горечи — завидовал молодости. Более того, воспользовавшись случаем, побывал в Иркутске и передал Людмиле Николаевне адрес явки. С этого дня началось обсуждение побега. Даже Ева, неумолимая и непреклонная, согласилась помочь. Отдала все сбережения и стряпала пельмени в дорогу. Людмила Николаевна подбегала и целовала ее. Та хмурилась, но в душе сознавала, что живая и деятельная подруга в ссылке не просидит.

Побегу помог случай. Людмила Николаевна сдружилась с соседкой Марией Анисимовной. Простая крестьянка, а в шкафчике — книги. Людмила Николаевна в их доме провела несколько ночей, спасая маленького мальчика от скарлатины. Мальчик горел в жару, метался. Людмила Николаевна боялась за глаза, а началось осложнение почек. Вот и коротали ночи — то Людмила Николаевна, то Мария Анисимовна на руках носили мальчика. Людмила Николаевна удивлялась ее выдержке — ни стона, ни слез. Мария Анисимовна частенько зазывала женщину в дом, угощала блинами. Ноздреватыми. Пушистыми. Та ела и подхваливала, а Мария Анисимовна, скрестив на груди руки, розовела от удовольствия. О побеге Людмила Николаевна рассказала обстоятельно. Мария Анисимовна не удивилась, пообещала поговорить с возчиком — знакомым крестьянином, который доставит до самого Иркутска. Путь долгий, но мужик из бывалых — знает, у кого остановиться... Вещицы посоветовала перетащить заблаговременно в крайний дом, где жил ее дядька-горбун. Так и порешили — вещи перенесли, а побег отложили до поры до времени.

...В низкой комнате душно и накурено. Сегодня первое марта 1903 года, день казни Александра Второго народовольцами. Среди ссыльных села Бирюльки несколько эсеров. Они устроили

вечер памяти народовольцев. Говорил Нечаев. Щупленький. Нервический. Он горячился, превозносил террор как единственный путь социального преобразования. Доклад не случайный — и до глухого сибирского села дошла «Искра» с ленинской статьей. Нечаев многозначительно рассуждал о социал-демократах и их преступном отношении к террору.

Людмила Николаевна понимала, что Нечаев бросал ей вызов, но в спор не вмешивалась. Бой принимал Нодия — так было заранее обусловлено. Правда, она кидала возмущенные реплики, но Нодия недовольно поглядывал.

Неожиданно распахнулась дверь. Ввалился толстый исправник с хитрыми щелочками вместо глаз. Степенно откашлялся в кулак. Оглядел каждого. Нечаев снял пенсне и, прищурившись, нарочито громко закончил:

— Только жестокостью самодержавия можно объяснить казнь народовольцев и заточение лучших из лучших в Шлиссельбург. И уже беспримерной жестокостью является акт казни светлой женщины Софьи Львовны Перовской.— Нечаев понизил голос: — Прошу почтить их память минутой молчания.

Ссыльные поднялись. Исправник почувствовал некоторое неудобство. Он также стоял и словно был причастен к этому опасному разговору. Мясистое лицо, закутанное башлыком, побагровело. Ссыльные не замечали его — стояли, низко опустив головы. Исправник гневно поправил широкий ремень, едва сходившийся на животе. Шумно вздохнул. Ссыльные начали усаживаться, задвигали стульями. Исправник считал долгом заметить:

— О правительстве антиправительственных речей не положено произносить, господа!

Все молчали. Только Людмила Николаевна, пряча смешинки в серых глазах, спросила:

— А в чем вы усмотрели суть антиправительственных речей о правительстве?

В звонком голосе издевка. Нечаев заулыбался. Исправник глянул волком. Промолчал. Повернулся к городовому, торчавшему у порога, и отдал приказание:

— Проследите, чтобы ссыльные позднее девяти часов не засиживались! Честь имею, господа!

Исправник ушел. И опять начался долгий спор о целесообразности террора в современных условиях. Нодия выразительно поглядел на Людмилу Николаевну. Конечно, пора. Все так увлечены, что на уход и внимания не обратят. Встала. Осторожно

закрыла дверь. Нодия подал ей меховую шубу. В глазах волнение, да и Людмила Николаевна нервничала. Риск-то большой!

Узкими проулочками добирались до заваленного снегом домика. Темь непроглядная. Нодия крепко держал руку Людмилы Николаевны. Шли молча, торопливо.

В сенях ждала Мария Анисимовна. Строгая. Торжественная. Обняла подругу и горько вздохнула. Час для побега определяла хитрая Мария Анисимовна и рассчитала его точно — сразу после захода солнца и перед восходом луны. Темнее поры не выбрать. Людмила Николаевна в этом убедилась, пока пересекала деревню.

Из предосторожности в доме огня не зажигали. Лишь светилась красноватая лампада под иконой Николая-угодника. Говорить не хотелось. Нодия попыхивал трубкой. Мария Анисимовна украдкой всхлипывала. Людмила Николаевна положила ей голову на плечо, вслушиваясь в тишину. Доносился отдаленный перебрех собак, да домовито звенел за печью сверчок.

В окно постучали. Трижды, как условлено. Людмила Николаевна встрепенулась и вопросительно поглядела на Марию Анисимовну. С завалинки прыгнул дядька-горбун. Мария Анисимовна размашисто перекрестилась:

— С богом! Савелич подъехал...

Горбун проскользнул в сени и, вернувшись в горницу, привел незнакомого старика. Огромного. С серьгой в правом ухе. Он нетерпеливо ударял ременным кнутом по тулупу, звеневшему от мороза.

— Савелич, береги пуще глаза — она моего сыночка спасла от смерти! — Голос Марии Анисимовны осекся.

Савелич укоризненно покрутил головой, недовольно сказал:

— Почто не упредили, что дамочка поедут... Другие бы саночки запряг. Все молчком-молчком, вот и выходит бочком...

— Ладно... Береженого бог бережет! — Мария Анисимовна махнула рукой и, повернувшись к Людмиле Николаевне, с надеждой спросила: — Может, передумаешь... Останешься до весны... Нет, ну бог с тобой. Савелича не стесняйся — он свой. Разбойников да беглых каторжников опасайся... Зимой люди хуже зверя.— Помолчала и осторожно обронила: — Под Иркутском, сказывают, каждую ночь убивают.

Горбун подхватил чемоданчик и потащил в сани. Нодия сильнее задымил трубкой. Мария Анисимовна сжала руку Людмилы Николаевны, повела за собой. Переступили порог и сразу окунулись в непроглядную черноту.



— Попривыкни немного... Погодь...— ласково советовала Мария Анисимовна.— Женщина — что кошка: и в темноте все разглядит.

Людмила Николаевна улыбнулась, но так и не увидела саней. Слышала, как, покрякивая, Савелич веревкой увязывал чемодан, как передавали мешок с пельменями и последние наставления Марии Анисимовны. Показался бледный диск луны. Стали проступать дома, деревья. Савелич усадил ее в сани, завалил боль-



шущим тулупом. Нодия стянул треух, низко поклонился. Мария Анисимовна целовала, прижимаясь мокрой от слез щекой.

Савелич взял лошадь под уздцы и повел в лес, не оглядываясь и не выбирая дороги. Людмила Николаевна повернулась к провожающим, но темнота поглотила и Нодию, и Марию Анисимовну, и село Бирюльки.

...Сани легко катили по невидимой, но, очевидно, хорошо знакомой Савеличу дороге. Выплыла круглая луна, заливая

окрестность желтым безжизненным светом. Шептались ели, роняя обледенелые шишки. Холодная сдержанность и торжественность зимней морозной ночи подавляли Людмилу Николаевну. Савелич понукал лошадь, проваливаясь по пояс в сугроб. Миновали развилку, и Савелич тяжело опустился рядом с Людмилой Николаевной — сани наклонились, и она увидела смеющееся лицо мужика.

— Не дрейфь, родимая! — весело прокричал он, удерживая вожжи.— Верст шестьдесят отмахаем, а там по большаку на Иркутск... Сибиряк — соленые уши свое дело знает...

Людмила Николаевна кивала головой, не решаясь раскрыть рта. Мороз перехватывал дыхание. Крутой. Обжигающий. Она наслаждалась снежной красотой, лунной дорожкой среди вековых деревьев и быстрой ездой. С улыбкой вспомнила день, когда стражники везли ее из Иркутска, былые страхи и боязнь ссылки, а теперь она возвращалась в Россию, оставляя в этом неведомом краю друзей.

Сани подпрыгивали на ухабах, погонял лошадь Савелич. Людмила Николаевна куталась в шерстяной платок и поглубже засовывала руки. Не хотелось ни о чем думать, а вот так лететь и лететь в Россию среди лунной ночи...

Стучали колеса. Людмила Николаевна сидела в вагоне товаро-пассажирского поезда Москва — Иркутск. Позади осталась поездка по тайге, лунная ночь, смеющийся Савелич...

Да, Мария Анисимовна знала, кому доверить. Конспиратором Савелич оказался блестящим. Лошадь менял в уединенных селах, чаще ночами. Стучал кнутом в окно и долго шептался о чем-то с хозяином. Людмилу Николаевну выдавал за купчиху, которая ехала к святым местам — дала, мол, обет. Все удивлялись, жалели. Она прятала усмешку в полуопущенных глазах да дивилась хитрости Савелича. На редких остановках с жадностью накидывалась на дымящиеся щи, хлебала из чугунка вместе с Савеличем. В разговоры не вступала, лишь изредка поддакивала. Забиралась на лежанку и отдавалась сладостной истоме, чувствуя, как теплота разливалась по телу. Особенно трудно пришлось перед Иркутском — в тот день отмахали верст пятьдесят. Мороз лютый. У Людмилы Николаевны дрожала каждая косточка, слова не могла вымолвить. Савелич с белой бородой и снежными усами, как рождественский Дед-Мороз, внес ее в горницу на руках. Сердобольная хозяйка, толстушка с румяными

щеками, поставила кружку горячего молока. С трудом стащила с приезжей тулуп, гремевший от мороза, раскутала шаль. Помогла добраться до лавки и отпаивала молоком. Людмила Николаевна дивилась нежности и приветливости, а главное — простоте. Заходил хозяин, эдакий великан с голубыми глазами, стыдил Савелича за то, что заморозил женщину, а потом предложил переночевать. Только Людмила Николаевна отказалась — шли третьи сутки, и она боялась, что побег обнаружили. Правда, Нодия взялся пожить в ее комнате—топил печь, вечерами зажигал в окнах свет,— но мало ли что могло приключиться...

И опять бескрайняя дорога уползала в тайгу. Звенел колокольчик, и ровно трусила мохнатая лошаденка. Гулял ветер, завывала вьюга, и все ближе и ближе Иркутск. Савелич держал с ней совет — ночью или днем приехать по указанному адресу. Даже рассердился на ее спокойствие — лихие люди грабили на большой дороге. Конечно, ночью проскочить мимо напуганных стражников у городских ворот легче... Но тогда пришлось бы этот путь проделать ночью, а время такое, что беглые каторжники за кусок хлеба порешат жизни. Злодейство, одно злодейство на Сибирском тракте... Савелич морщился — советчиком она оказалась плохим. И все же решили въезжать ночью. Первый раз в жизни испытала страх — глушь, шорохи, тени... Казалось, повсюду поджидают на большаке разбойники с кистенем в руках. Воображение рисовало одну картину ужаснее другой. Она напряглась, подалась вперед, намереваясь дорого отдать жизнь, да и Савелича трудно было узнать. Достал из сена берданку, частенько оглядывался, а то и останавливал лошадь. Быстро спрыгивал и уходил вперед проверять дорогу, она с нетерпением ждала его возвращения. Савелич, крадучись, обегал сани, а потом валился рядом с Людмилой Николаевной и с разбойничьей удалью начинал нахлестывать кнутом. Да, он не новичок в этих поездках — это Людмила Николаевна понимала. На полном скаку ворвались они в Иркутск, не ответив даже на окрик стражника у полосатой будки. Город ее поразил: дома, облепленные снегом, улочки, задавленные снегом, словно сказка, где все построено из сахара, а улочки выгрызены сластенами из детских книг...

На явке Людмилу Николаевну ждали, ругали Савелича за ночной приезд. Людмила Николаевна радовалась благополучному концу путешествия. Но с Савеличем расставалась с трудом. Бросилась ему на шею, расплакалась — сказалось волнение последних дней. Савелич смущенно покрякивал, неумело гладил ее

по вьющимся волосам. Стояли в сенях и долго-долго шептались. Неожиданно Савелич озадачил ее вопросом: «Куда думаешь податься — в Россию али за границу?» Людмила Николаевна засмеялась: так просто звучало все в устах великана.

Товарищи посоветовали переждать пару дней. Ее нарядили в плюшевый жакет и поношенную шапочку, как горничную из дома чиновника. Дали сундучок. Но вот паспорт из рук вон плох. Она огорчалась—липа, да какая грубая. Попробовали было разыскать что-нибудь поприличнее, но не удалось. В комитете извинились — единственного специалиста угнали в Туруханский край, а нового пока нет. Можно, конечно, обождать, случай бы представился, но ждать она не могла...

Людмила Николаевна подышала на мшистое от снега окно вагона и принялась размораживать глазок. Старательно протерла местечко пальцем. Через глазок смотрела на снежную равнину, сиявшую в солнечных лучах всеми цветами радуги. Снега... Снега... Мохнатыми шапками на редких возвышенностях зеленел лес.

В вагоне, к счастью, оказалось пусто. На противоположном конце лишь баба с грудным ребенком, да дремал у окна инвалид с деревянной ногой.

Поезд тащился медленно, вернее, его попросту забывали на каждой станции. Людмила Николаевна вслушивалась в беспомощный крик паровоза и сердилась на иркутян, взявших билет на товаро-пассажирский поезд.

По непреложному закону, обязательному для пассажира, достала из мешочка крутые яйца и начала есть. Каждый раз она удивлялась аппетиту в дороге, посмеивалась и снова принималась за еду. Крутые яйца напомнили детство. В их богатом и хлебосольном доме пасху справляли широко: кухарка красила луковой шелухой сотни яиц, которые они, девочки, расписывали, укладывали в горки. А рядом куличи. Пахучие. Пушистые... Да, видимо, натосковалась она за полтора года скитаний — о чем бы ни начинала размышлять, а выплывал дом, сестры, мама... Сколько счастья будет, когда она нежданно ворвется в квартиру! Да, да, без предупреждения — позвонит в дверь, закроет кухарке рот, чтобы никто не услышал удивленного крика, и побежит в спальню к маме. Конечно, поплачет старая, а она положит ей голову на колени и долго-долго будет лежать, ощущая ласковое прикосновение теплых рук...

Грохнула дверь, и в клубах морозного воздуха в вагон ввалились конвойные солдаты. Шумные. В темных папахах. С вин-

товками. Впереди унтер. На грязноватой шинели серебряные погоны. На цепочке рожок для табака.

Людмила Николаевна сжалась — узнала унтера, конвоировавшего партию после Самары в Сибирь. Вздорный, злой. Это он поднимал скандал из-за занавески, тогда еще каторжник вступился...

Унтер шел, покачиваясь в такт движению поезда, разглядывал пассажиров. Постоял около бабы с ребенком, затянулся табаком. Громко чихнул и двинулся дальше, вытирая слезившиеся глаза. Она заставила себя продолжать еду. Достала новое яйцо и, ударив его острым концом, очищала от скорлупы.

В сердитых глазах унтера появился интерес. Он направился к лавке Людмилы Николаевны. Выручил инвалид с деревянной ногой. Скрипуче и жалостливо попросил:

— Служивый, одну закруточку...

Унтер с кирпичным от ветра лицом вынул кисет, бросил инвалиду. Тот поблагодарил, заковылял на одной ноге и, подсев, завел долгий разговор о тяжелой службе. Оказалось, что увечье он получил недавно, ехал домой и горевал — в семье-то старые и малые. Солдаты, устав от долгого пути, присели на лавку. Унтер ушел, не закрыв дверь. От ветра она скрипела и била о стенку вагона. И этот скрип наводил на Людмилу Николаевну тоску. Плакал инвалид, мигая белесыми ресницами.

Да, такого невезения Людмила Николаевна не ожидала: три месяца тому назад эти солдаты везли ее в Иркутск и, конечно, запомнили. Политических было всего двое — она и Петрова. Что же произойдет теперь? Снимут? Нет? Или начнется эта игра в кошки-мышки?..

Людмила Николаевна затянула веревкой узелок и засунула в сундучок. Притворно зевнула и, достав шаль, прилегла на лавку. От непривычки было жестко, неудобно. Вагон трясло. Она подсунула руки под голову и прикрыла лицо шалью.

Конвоиры, распрощавшись с инвалидом, покинули вагон, а волнение все сильнее и сильнее сжимало ее сердце. Солдаты, конечно, в любой момент вернутся проверить документы. Ох уж эти документы!.. Значит, вместо России, встречи с друзьями, большой работы — всего того, о чем она мечтала, опять тюрьма, Сибирь, долгая ссылка, а то и каторга. «Бывают положения, из которых невозможно найти выхода. Самое разумное — затаиться»,—решила Людмила Николаевна. Но все существо ее активно противилось этому унизительному чувству неизвестности и ожидания опасности. Ждать она не могла, да и не умела. Планы

самых дерзновенных побегов рождались и умирали. Она боялась неосмотрительностью испортить положение и пока не предпринимала никаких решений... А конвоиры зачастили. Особенно один. Черноусый. Молодой. Приходил к инвалиду, курил. Пытался заговорить с Людмилой Николаевной, но она жаловалась на зубную боль и, завязав щеку платком, молчала. В его голубых глазах читала вопрос. Она не сомневалась, что солдат ее узнал. Как-то ненароком обронил, что они встречались, но потом, словно устыдившись, отказался. И опять волнение мучило ее: очевидно, унтер дал телеграмму в Красноярское жандармское управление — в пересыльный пункт. Поезд уходил на запад, а она ждала ареста. Красноярск... Перрон... Жандармы в голубых мундирах... Блеск шашек... Каземат...

И опять рождались планы побега. Страшный путь по тайге с Савеличем, хлопоты друзей в Бирюльках, явочная квартира в Иркутске, добрые глаза Марии Анисимовны — все это звало к действию. Конечно, можно выскочить на ходу поезда, но тогда бы пришлось блуждать по тайге. Голод... каторжники... А если страхи ложные?

Она пытливо вглядывалась в черноусого солдата, не покидавшего их вагон. Да, да, узнал, узнал... Почему он должен оказаться предателем? Солдаты повидали многое... Это уже не прежние «слуги царя и отечества».

Вера в жизнь поддерживала ее в самые критические минуты: хороших людей больше, нужно только пробудить это хорошее. Значит, решено: ждать Красноярска. Если на перроне жандармы, то оправдан любой безумный шаг для спасения, если же конвойная команда сойдет, то путь безопасен.

Людмила Николаевна достала шитье и старательно начала разматывать нитки. Руки заняты, а мысли свободны. И нет слов, которые бы заставили сердце успокоиться и не волноваться.

Замелькали приземистые пристанционные постройки, товарное депо с прокопченными воротами, кирпичная водокачка. Отчаянье захлестнуло ее. Поднялась, схватила узелок и, кивнув инвалиду, прошла через вагон. Оттянула дверь. Ворвался ветер, закинул концы шали. Скрипели и наползали чугунные плиты буферов, громыхали, оглушали. Женщина спешила — из вагона в вагон, из вагона в вагон... Слава богу, последний... Перевела дух. На открытой площадке стоял проводник в необъятном тулупе, размахивая зажженным красным фонарем. Проводник что-то прокричал, но слов Людмила Николаевна не разобрала — свистел маневровый паровоз с низкой трубой. Опять загромыхали

буферные тарелки. Товаро-пассажирский поезд Москва — Иркутск замедлял ход, тяжело вздыхал, ухал.

Людмила Николаевна из-за спины кондуктора впилась глазами в пассажиров на перроне. Теперь все видно отчетливо: кирпичный вокзал с аккуратными елочками, начальник станции с жезлом. Жандармов нет... Конечно, конечно, перрон пустынен, как Сахара...

— Девка, беги в передние вагоны... Отсель до водокачки далече! — кричал в ухо проводник, отогнув ворот тулупа.

Людмила Николаевна не отвечала. Широко и счастливо улыбалась. Проводник толкнул ее в бок:

— Бежи... Бежи... Балда народ!

ДОМ ЗА НЕВСКОЙ

В дверь постучали. Пожилая женщина перекрестилась. Настороженно оглядела комнату. Всплеснула руками. Выхватив из-под клеенки паспорт, повертела и, засунув в корзину, прикрыла нитками. Потуже затянула узел платка. Прихрамывая, прошла в сени.

— Слышу... Слышу...— Старческий голос задрожал: — Кого несет нелегкая?

— Отопри, бабка! — повелительно прокричали из-за двери.

— Ась?..

— Отопри, старая ведьма!

— Может, ты — разбойник... Ишь как ломишься...— Женщина рассовывала листовки в мешки с картошкой.— Одинокая, вдовая, жильца и того дома нет.

Старуха не торопилась открывать дверь. Слышала дыхание людей, притаившихся у парадного, шарканье сапог и звон шпор.

— Открой, Кузьминична, телеграмма,— прошепелявил неуверенный голос.

— Никифор? Почто сразу не отозвался? — Старуха сняла крюк, отодвинула задвижку.— Телеграмма... Знамо дело...

Дверь резко дернули, и старуха, не удержавшись, упала. В сени ворвались городовые. Поднявшись, женщина присела на широкую лавку, потерла ушибленное плечо. Глаза с укором смотрели на дворника:

— Эх, Никифор... До нас люди жили — много наговорили, не помрем, так и мы поврем... Телеграмма... Пфу...

— Так приказали, Кузьминична...—Дворник с опаской кивнул на унтера и поставил ведро, опрокинутое городовыми.

Унтер, хлюпая сапожищами по воде, вбежал в горницу. Осмотрелся. Квартира небольшая, из двух комнат, таких квартир много за Невской заставой. Низкая, с дешевенькими обоями. На окнах клетка с чижом. Птица сердитая, нахохлившаяся.

— Хозяйка! Хозяйка! — Унтер воинственно громыхал шашкой.

— Я хозяйка,— с достоинством ответила женщина, едва переступая ногами.— Не кричи громко: недавно старика схоронила.

Кузьминична указала на портрет в черной раме с бумажной розой. Да и сама в глубоком трауре и с печальными глазами.

— Святая правда, господин офицер.— Дворник перекрестился.

Унтер снял фуражку и так же размашисто перекрестился. Покрутил усы и спросил:

— Постоялец Сусский где проживает?

— Здесь, батюшка... Здесь... Это и Никифор подтвердит.

— Знамо здесь,— ухмыльнулся унтер.— Если не знали, то и не пришли бы.— Помолчал и с сердцем закончил: — До чего же бестолков народ... В этой комнате али в другой?

— Пожалуйте, батюшка.—Старуха толкнула дверь, скрытую ситцевой занавеской.— Жилец они аккуратный, за фатеру платят справно. На заводе их уважают.

— К плохим не ходим, мать,— хохотнул унтер и подмигнул городовому: — Обыщи комнату, да получше... Стены простучи!

Женщина направилась следом за городовым, но унтер остановил. Сел на венский стул, поманил пальцем.

— Ты мне, сынок, словами говори. Я тебе не только в матери, а в бабки гожусь. Сам развалился, как барчук, а старую на ногах держишь! — Кузьминична ворчливо закончила: — За человеком пойду: в комнате чужие вещи, долго ли до греха. Отвечать за все мне одной, вдовой,— кто-то теперь защитит...

Кончиком платка она вытирала слезы. Унтер смущенно кашлянул, но приказал:

— Сидоров, приступай! Ференчук, займись сенями да сарай не забудь! — И, увидев, как неодобрительно поджала губы старуха, пояснил: — Обыск, значит, по всей форме...

Старуха скрестила худые руки, запричитала:

— Нету моего заступника, нету моего кормильца.

— Обожди, мать! Не убивайся! Кормильца не вернешь...—

Унтер смягчился: — Плачь не плачь, а все там будем... Когда постояльца последний раз видела? Не устраивает ли собраний? Не говорит ли о политике?

— Бог с тобой! Когда ему о политике толковать — от зари до зари на заводе, а в праздник норовит мне подсобить: то дровишек наколет, то воды принесет, то на Неву белье пополоскать... Живу-то стиркой на чужих людей... Постоялец старость уважает, он бы не заставил стоять вдовую — стульчик бы придвинул.

Унтер заметно рассердился:

— Садись, старая, конечно, в ногах правды нет! Только расскажи, кто с ним дружбу водит... Может, какие недозволенные речи о государе императоре слышала...

— Да никто к нему не ходит. С ребятишками в лапту играет на праздниках... Обожди, голубчик, запамятовала: приходил мастер Петр Иванович, просил в церковном хоре петь.— Старуха торжествующе посмотрела на унтера.— Разве плохого человека пригласят в церковный хор?

— Может, ночами книги читает да при закрытых ставнях?

— Нет, больно поспать любит. Да и так сказать, от работы косточки ноют — постой-ка целый день у станка! Мой покойник, царство ему небесное, бывало, как придет домой, так сразу в постель — мочи нет... А был посильнее жильца... Ох, ох, завидный мужчина, собой красавец и силушкой бог не обидел...— Старуха закрыла глаза и восторженно закрутила головой.

— Ты о покойнике не думай.— Унтер крякнул и, насупившись, добавил: — Расстроишься... Лучше припомни все, что знаешь о Сусском...

— Хорошо, батюшка. Очень они селедочку любят, только вымоченную. Беру у купца Семенкина на грош пару... Замочу в теплой водичке ту, что пожирнее,— старуха говорила важно,— не в холодной, как все, а в тепленькой... Они придут с завода и сразу за селедочку... А меня-то как благодарят...

— Ладно, ладно, бабка! — Унтер поднялся и раздраженно прекратил допрос.

Кузьминична прошмыгнула за унтером в комнату, занимаемую постояльцем. Городовой, толстый и неповоротливый, лежал под кроватью и пытался достать сундук. Унтер подал ему кочергу, тот, зацепив сундук за ручку, вытянул. Сбили замок и распахнули крышку, заклеенную пестрыми картинками, как у большинства мастеровых. Вытащили черную пару, пахнувшую нафталином, зашарили по карманам. Потом рубашку, полотенце,

Хотели выломать дно у сундука, но старуха подняла такой крик, что отступились, благо подозрительного ничего не обнаружили. Простукивали стены, отыскивая тайник. Раскачивался абажур из цветной бумаги, кричала старуха... Пытались крючьями поднять половицы — Кузьминична легла на пол и заголосила.

Унтер, красный и злой, ругался, но уступал—в доме так недавно был покойник, но главное, старуха лезла в каждую щель, грозила, проклинала, плакала. Наконец унтер не выдержал. Плюнул и сказал:

— Уважили тебя как вдовую. Но придется оставить на несколько дней Сидорова и Ференчука. Будут встречать всех, кто станет спрашивать жильца. Ты не мешай, а то подальше упекем!

Кузьминична подперла бока и не сдавалась:

— Около меня, вдовой, оставить охальников, да что люди скажут? Срам-то какой... Может, и кормить своих обжор заставишь? Нет, нет, побегу к отцу Павлу... Обижать сироту по святому писанию — великий грех.

— «Охальники»! Баба-ягодка! Пфу, старая карга! — зло ругался городовой, худой как щепка. От возмущения на его лице ярко проступили веснушки.

— Бери, бери архаровцев... Людей позову! — Старуха набросила пальто на плечи.

— Да уймись, проклятая! — Унтер снял фуражку и платком вытер вспотевший лоб.— Сидоров, Ференчук, займите пост... Утром сменят.— И сердито погрозил пальцем: — Не блажи... На стук будут подходить городовые, а ты молчи.

— Так и буду молчать в собственном доме? Покойник его по бревнышку собирал, по гвоздику копил...

Старуха сжалась, худые плечи затряслись, и она горько-прегорько зарыдала. Унтер хлопнул дверью. Дворник стянул картуз, поклонился. Городовые уселись на табуретках в комнате постояльца.

Хрипло пробили ходики. Кузьминична подтянула гири и, достав из корзины старую шерсть, принялась вязать чулок. Подсела к окну, обозревала улочку. Пыльная, мощенная редким булыжником, с грязными воронами и редкими прохожими. Виднелась согнутая спина Никифора. Вышел на середину, чтобы проводить унтера.

Мысли-то какие невеселые... Сегодня в доме собрание. Обычно ее не предупреждали из комитета — приходили люди и молча садились. Да и она никого не спрашивала. Только утречком дочь

просила передать паспорт Елене. А раз придет Елена, значит, соберутся и рабочие. С паспортом целая история — мать достала у знакомого фельдшера за деньги. Фельдшер-то пьяница, вот за шкалик и отдал ей паспорт умершей, чтобы не тащиться в полицию. Паспорт настоящий. Мать все знала. Слава богу, не простушка. Как-то там его смывали, наносили новые приметы. Эту науку сердцем постигала. Старший сын на каторге, теперь о дочери забота. Квартирой распоряжался комитет. Правда, дочь сказала, что постояльцев будет подбирать сама, но мать не проведешь.

Старые, крючковатые пальцы перебирают спицы, словно нанизывают думы на одну большую материнскую боль. Старик ждал сына перед смертью. Грешница, все обманывала, обнадеживала. А как вызволить сына, когда дали ему пятнадцать лет каторги в Акатуе... Петля... Петля... Петля... Мать вынула спицу и почесала голову. Дочь заговорила о паспорте Елены. А засада... Как Елену-то уберечь? Познакомились они недавно, а за сердце взяло. Статная. Красивая. Особенно хороши глаза — серые, под пушистыми ресницами. Густые, сросшиеся брови и чуть вздернутый нос. Легкие светло-каштановые волосы падали на высокий лоб. Держится просто, приветливо. Всегда руку подаст, о здоровье справится да и гостинчик принесет: то тульский пряник, то сушки. Подарки не велики, но дорого внимание. О чем она говорила с рабочими, мать не знала, только споры всегда заканчивались, когда слышался ее ровный голос. Мать понимала, что Елена повидала многое: и тюрьмы, и Сибирь... Дочка так просила об осторожности, когда она приходила в дом. Значит, нелегальная... Женщина задумалась: нелегальная, а где-то у нее мать?.. Мается, горемычная, за судьбу своего дитятки... Вот она, материнская доля: растишь, куска хлеба недоедаешь, свету белого не видишь, потом об этих заботах вспоминаешь с радостью — иная боль, а то и горе захлестывает сердце. Малые детки — малые бедки... Спаси бог, чтобы Елена в засаду не попала, страх-то большой... И опять крючковатые пальцы торопливо звенят спицами. Петля... Петля... Петля...

И то, чего так боялась мать, случилось. На улочке показалась Елена, надвинув на лоб платок. Одета просто. Ситцевая широкая юбка, кофта с буфами. Горничная из хорошего дома. Остановилась у ворот, нагнулась, будто завязывая шнурок на ботинке, а глазами быстро окинула двор.

Кузьминична, бросив вязание, хотела застучать в окно, но поднялся этот тощий сыч — городовой. Сидоров. Даже рот от-

крыл от радости. Пфу... Ишь как настропалился... Шакал... Шакал...

Старуха заторопилась в сени. Городовой следом. Она сердито загремела кружкой, наливая в таз воду.

Елена дернула ручку звонка. Раз... Два... Городовой зашипел. Старуха отпихнула его и открыла задвижку. Спрятался, дурень, у дров и делал таинственные знаки. Мать плюнула и распахнула дверь.

Улыбка озарила лицо Елены, и эта улыбка доставила матери боль. Беззащитная в западне! Теперь все зависит от нее одной. Подумала и с криком бросилась на грудь:

— Крестница, дорогая... Несчастная моя... Беда горькая приключилась... Схоронили нашего Семена Лазаревича...— Рыдания захлестнули ее.— Нету теперича у тебя отца крестного... Осиротела, пташечка...

В серых глазах Людмилы Николаевны не только сострадание, но и тревога. Она целует старую женщину. Оглядывается. Кузьминична плачет от жалости и неизвестности. Потом увлекает девушку в горницу и, боясь, что она не поймет происходящего, говорит:

— Посиди со мной, бедная. Просо ветру не боится, а морозу кланяется — так и я горю покорюсь.— Старуха смотрит на сердитое лицо Сидорова.— Тут унтер городовых оставил, кого-то караулят... Извели совсем...

Городовой выходит из засады и начинает рассматривать Людмилу Николаевну Сталь. Теперь у нее такая фамилия. Старуха сердится:

— Иди, иди... Ко мне — крестница. Посидим, поговорим, а ты своих гостей сам дожидайся.

У Людмилы Николаевны приветливое лицо, мысли тревожные. Засада... Засада... Паспорт фальшивый, как-то все обернется? Сколько мытарств за эти месяцы пришлось перенести! Вечное ожидание ареста, ночевки на явках, боязнь подвести людей, оказавших приют...

После встречи с конвойной командой в поезде она добралась до Самары. Пробыла несколько дней, добывая паспорт. На явке у ветеринарного врача Попова все разговоры о паспорте — конечно, с такой липой отправляться в Петербург безумие. Но в Самаре достать паспорт не удалось, более того — едва не попала в облаву. Явка оказалась проваленной, а организацию арестовали — выдал провокатор. Из Самары в Нижний. Приехала, а на Волге разлив. Раздольный, безбрежный. Явочная квартира в

обсерватории. В город запретили выходить, сидела на башне и любовалась невиданным зрелищем — грохотали волны с белыми барашками да крушились льдины, словно надежды. Паспорта не достали и в Нижнем. С предосторожностями переправили ее в Минск. Товарищи удивлялись: счастье, с фальшивкой чуть ли не пол-России объехала. И только в Минске удача — фальшивый паспорт самарской мещанки Надежды Ивановны Дворянкиной. Петербург был закрыт косым дождем, когда она встретилась на явке со Стасовой, секретарем комитета, известной в партии под кличкой «Абсолют». Стасова предложила выехать: готовилась первомайская демонстрация и город был под кошмаром обысков и облав. Пережидала это смутное время в Пскове. Белыми ночами она вернулась в Петербург. Холодный. Величавый. Окутанный голубоватой дымкой. С домами и парками, залитыми призрачным светом. В доме за Невской она вела кружок. Собирались рабочие Обуховского завода, читали «Искру». Паспорт Надежды Ивановны Дворянкиной был плохой защитой, а тут явилась возможность достать настоящий...

Надтреснутый голос городового вернул ее к действительности:

— Значит, крестница?

— Да, крестница... Горе-то какое...

— Откуда будете?

— Питерская. Горничная генерала Садурова... Вчерась вернулась из имения под Нарвой, о похоронах и не знала.

— Документики при себе?

Старуха прекратила разговор. Покраснела от обиды. Кинулась защищать, как рассерженная наседка. Голос от волнения срывается, щеки трясутся.

— Это ты брось! В моей фатере да над сродственниками насмешки строить? Какие документики нужны, коли она к крестной идет? Сдурел... Документики... Получишь, когда песок по камню взойдет,— никогда! — Она гневно продолжала кричать: — Ее тут каждый знает — и девчонкой гостила, и барышней не забывала... Сказано тебе: жди своих гостей, а к моим не липни!..

Сидоров мнется, а его напарник, Ференчук, добродушный верзила, настроен миролюбивее:

— Брось, Петро! Баба она лютая, а тут правду говорит. Лучше давай чайку сгоняем да в картишки перебросимся...

— Конечно, нет проку в речах, коли делу не быть,—вставила старуха и, бросив уничтожающий взгляд, потащилась к посудному шкафчику.

Шкафчик самодельный. Застекленные дверки закрашены белилами. Звякнула пузатыми чашками. Поставила на стол. Из чистой тряпки достала ржаной пирог. На тарелку с блеклыми цветами положила бублики — все, что осталось от поминок. Крякнув, вынесла из сеней самовар, украшенный медалями.

— Иди, милая крестница, чайком угощу, небось проголодалась...

Людмила Николаевна с восхищением смотрела на старуху: с какой простотой защищала ее, незнакомую, попавшую в несчастье! Как сердечно разговаривала, как владела собой, а опасность-то не малая... Вот она, русская мать!

Но чаевничать не пришлось. Кузьминична подсыпала проса чижу и будто окаменела. Лицо строгое, мелкие морщины под глазами, складки у рта. Смотрит на улочку. Тревожится и Людмила Николаевна. Так и есть — к дому приближается человек. Молодой парень из сборочного цеха. Сергей. Кружковец. Теперь и он попадет в засаду... Что же делать? Что? Что?..

Старуха с невозмутимым видом прошмыгнула мимо городовых в сени. Открыла дверь, не дожидаясь звонка. Крикнула громко, приветливо:

— Сергей... Сергей, иди скорее... Елена приехала!

Парень недоуменно вскинул русые брови. Приехала? Она же в Петербурге! На морщинистом лице матери испарина. Обостренно прислушивалась к шороху в сенях — городовые затоптались, толкнули лавку. Шорохи улавливает и Сергей. Что за чертовщина? А мать все шире и приветливее улыбалась. Он стянул картуз, подходил неуверенно. Та расцеловала его и, не дав открыть рта, затараторила:

— Не пужайся, тут городовые ловят каких-то нелегальных! — Кузьминична перевела дух и с вызовом закончила: — Только к моим сродственникам это не относится. Так и унтер пообещал, когда учинял обыск.

Ференчук выплыл из-за двери, отстранив старуху. Глаза его с неудовольствием уставились на пришедшего:

— Больно много, бабка, сродственников завела... То крестница, то племянник...

— А как же, милой человек: чай, не без роду и племени... Как собака бездомная, по чужим углам не прячусь.— Старуха яростно трясла головой.— Это мой племянничек.

— Племянничка бог послал...— язвил Сидоров, длинный и худой, выходя следом за Ференчуком во двор.

— Сытый конь воду возит, а тощего на подпругах поить во-

дят,— правоучительно заметила старуха, намекая на длинного и худого городового.

Людмила Николаевна начала улыбаться. Так споро и наговористо ругалась Кузьминична. Ее трудно было узнать—гневная, колючая. И все это, чтобы спасти неизвестных людей!

Парень кашлянул в кулак и виновато посмотрел на Людмилу Николаевну. Только мать не молчала. Хитро подмигнув смутившемуся парню, как заправская сводня, подтолкнула:

— Так и быть, скрою от Нюрки, что молодых девок целуешь.

Людмила Николаевна первая шагнула к Сергею. Под настойчивым взглядом старухи и городовых они троекратно расцеловались. Ференчук откровенно зевнул, потащил напарника за рукав:

— Давай закончим в дурачка-то. Дело ясное — сродственники. После смерти завсегда народ валом валит. Бабка бойкая, поди, весь Питер на ноги подняла. Но ругается, как змея подколодная... Она и старика на тот свет отправила.— Почесал в затылке и рассердился: — С другой бабой жил бы и жил...

— Не указывай на людей перстом, не указали бы на тебя шестом! — сразу вступила в бой старуха.— Ишь ты... «С другой бабой»!..

Старуха передразнила городового и повела всех в комнату. Перед Сергеем поставила стакан спитого чая, а Людмиле Николаевне сунула кусок пирога. Городовые спрятались за занавеску и начали играть в карты.

Шумел самовар, текла неторопливая беседа. Старуха справлялась о двоюродных сестрах и тетках, напихивала в кулек гостинцев деткам племянника, журила, что не послал в деревню трешку матери, как обещал на пасху. Потом оборвала разговор:

— Ты уж не серчай, парень, а Нюрку-то бьешь зря. Пять перстов, а все одна рука — так и семья... Не дело. Намедни она вот с каким фонарем прибежала.— Старуха приставила кулак к правой щеке.— Сам попиваешь, а на бабе зло срываешь...

Сергей пожал плечами. Людмила Николаевна опустила глаза в пол, стараясь подавить усмешку. Парень, кажется, и семьи-то не имел: какое там пьянство или драка...

Тощий городовой высунулся из-за занавески и, не спуская злых глаз со старухи, бросил:

— Бабу завсегда нужно бить, а то с иной ведьмой и сладу нет: все знает, во все длинный нос сует...

— Вверх не плюй, себя побереги! — философски заметила старуха, не дав городовому договорить.

Людмила Николаевна хохотала. Старуха разразилась такой руганью, что городовой нырнул за занавеску и в перебранку не вступал. Почесывая чуб, загрохотал и Сергей:

— Наша бабка знатная на всю Невскую сторону! Все присказки помнит — не переговоришь. В брань лучше не лезь...

— А у него, аспида, язык, что вехотка: все подтирает.— Старуха, поглядывая на тощего городового, миролюбиво закончила: — Первая брань лучше последней.

Сергей смеялся с юношеской непосредственностью: запрокидывал голову, вытирал слезы, тряс плечами и, едва переведя дыхание, вставил словечко:

— Ну, до последней брани твои сторожа не доживут... Кишка тонка...

— Ничего, мы скоро помиримся: посидим здесь с недельку, бабка и попривыкнет,— загнусавил городовой, раскладывая замусоленные карты.

— С умным браниться — ума набираться, а с дураком мириться, так свой растеряешь! — Старуха гневно отвернулась.— Дают — бери, бранят — беги... Только эти бандюги никакой совести не знают!..

— Она нас укатает пословицами! — уныло проговорил городовой и опустил занавеску.

И опять продолжалось чаепитие. Старуха держала блюдечко на вытянутых пальцах, изредка клала в рот крошечные кусочки сахара. Людмила Николаевна задумчиво помешивала ложечкой. Сергей пил вприглядку, не решаясь брать леденцы. Слышно, как тихо переругивались городовые, обвиняя друг друга в жульничестве.

Кузьминична повернула чашку вверх дном, поставила на блюдечко, положила сверху кусок сахара. Сказала, как отрезала:

— Хватит, племянничек, посидел — пора и честь знать. Крестница мне из святого писания почитает.

Она грубовато проводила племянника до дверей, сунула кулек с леденцами и приказала через день прислать Нюрку. Городовые лишь головой покачали, когда старуха на прощание ворчала:

— Она его бранит, а бог его хранит — не серчай на старую: добра тебе хочу.

Парень стоял, низко наклонив голову. Старуха поцеловала его в лоб и долго кричала через открытую дверь — все давала наставления и советы.

Людмила Николаевна облегченно вздохнула: пронесло! Теперь Сергей предупредит о засаде. И опять хрипло били часы, кричала ржавым голосом кукушка. Старуха незаметно сунула паспорт Людмиле Николаевне и тоже стала ее провожать. Полезла под кровать и, вытащив разбитые сапоги, прижала их к груди. Видно, напряжение сказалось: лицо ее посерело, глаза ввалились, в голосе едва сдерживаемые слезы.

— Возьми и отдай дворнику. Поклонись от меня и попроси прощения: мол, крестный-то Семен Лазаревич преставился... Да, да, голубка. Преставился и сапоги-то сделать не успел. Уж пусть не гневается... Да и сама не тужи.— Старуха прижалась к Людмиле Николаевне. Худенькая. Беспомощная.— Не горюй, дочка... Все стерпится, все обойдется... Наше дело кипело, да на льду пригорело.

ЛЕД ЛАДОГИ

Подул западный ветер. По Неве шел лед Ладоги. Май. На небе сверкающее солнце. Лучи его, множась, дробятся о льдины, припудренные снегом. В Петербурге ледоход! В воздухе размеренный гул. Холодный, пронизывающий ветер гнал лед. Шел он густо, оставляя голубые разводы. Нева вспухла, грозила захлестнуть набережные, охраняемые гранитными львами. А ветер гнал и гнал лед. Казалось, под его напором рухнет Троицкий мост. Лениво наползали льдины одна на другую и рушились с оглушительным грохотом. Нева выталкивала их под мостки Мойки, заполняла каналы, окружала ожерельем Летний сад.

Людмила Николаевна, прикрыв голову кружевным шарфом, смотрела с Иоанновского моста на Неву. Непохожую. Праздничную. Глаз не оторвать от столь позднего ледохода. Ветер обжигал лицо, раскачивал фонари на стрелах-пиках, схожие с елочной мишурой.

По крупному булыжнику сытые лошади протащили карету. На облучке рядом с кучером жандарм. Женщина тяжело вздохнула: чувство неприятное, как всегда при встрече с тюремной каретой.

Иоанновский мост соединял город с Петропавловской крепостью. Старинный. Игрушечный. Украшенный висячими фонарями в кованой оправе. У полосатой будки лошади замедлили ход. Жандарм, перегнувшись, что-то прокричал караульному солдату, и карета скрылась. «Вот и все... Новый узник...» — уныло подумала Людмила Николаевна и вздохнула. Недаром Иоанновский мост в подполье называли «Мост вздохов».

На Иоанновском мосту она оказалась случайно: торопилась в Гостиный двор, но в конке обратила внимание на некоего господина, напоминавшего трактирного вышибалу. Решила провериться. Сошла у Татарской мечети, господин следом. Да... Вот и торчит у Троицкого моста, стараясь не потерять ее в толпе. Наверняка шпик. Придется в который раз зайти в Петропавловский собор.

Карета с княжеским гербом поворачивала с Троицкого моста, скрывая Людмилу Николаевну. Шпик засуетился, а молодая женщина, не раздумывая, заторопилась по Иоанновскому мосту, полному питерцев, глазеющих на диковинный ледоход.

Под низким сводом Людмила Николаевна прошла во внутренний двор. Опять караульная будка с застывшим солдатом-гренадером. Над воротами икона, по обеим сторонам в нишах фигуры Афины и полуобнаженной Истины. Деревянные. С облупленными носами.

Со стен Нарышкина бастиона прозвучал сигнал — пушечный выстрел, по традиции возвещавший полдень. Ему вторил переливчатый перезвон часов Петропавловского собора.

Молоденькая монашка в черном одеянии мелко крестилась. На круглом лице умиление — часы вызванивали гимн «Боже, царя храни».

Людмила Николаевна миновала вытянутые здания артиллерийских складов и Инженерного дома с пирамидами из чугунных ядер. Аккуратные стриженые газоны. Дорожки, посыпанные оранжевым песком. У Комендантского кладбища, примыкавшего к собору,—там покоились коменданты Петропавловской крепости — сановитая толпа. Генеральские мундиры. Адъютантские сюртуки. Золотые погоны. Аксельбанты. У могильных плит, позеленевших от давности, светские дамы. Очевидно, чья-то годовщина.

Сквозь цветные витражи Петропавловского собора горело солнце. Сияли золотые обручи сводов, массивный иконостас,

царские врата. В медальонах, тяжелых окладах, больших рамах лики святых. Вспыхивали хрустальные люстры. Мраморные раки, усыпальницы царской семьи, сверкали начищенными медными досками. Над ними древки знамен времен Северной войны — синие, зеленые, голубые, затканные золотом и шведскими королевскими лилиями. Собор в своем великолепии скорее напоминал дворцовую залу, чем храм. Крупными складками падал пурпурный бархат над царским местом. Вдоль стен собора в нишах двенадцать картин по святому писанию — старая, как мир, песня: Христос терпел и нам велел. А вокруг золото, парча; драгоценные камни — вот они, заповеди-то! В центре кафедра с витой лестницей, залепленной золочеными апостолами. Вверху ангел поднял крест, как меч. С кафедры лились проповеди...

Людмила Николаевна, поджав губы, недобро усмехнулась: в такой роскоши думы о ближнем?.. Кафедру осмотрела внимательно: отсюда, подобно грому, раздавались проклятья Степану Разину, Емельяну Пугачеву да Льву Толстому. Она почти физически ощущала это гнусавое «анафема». Степка Разин — анафема... Емелька Пугачев — анафема... Лев Толстой — анафема... Трижды хор разражался проклятиями. Анафема... Анафема... Анафема... Проклинать Льва Толстого?! Ну-с и порядочки...

Засеменил монах с кружкой. Изможденный. С оливковым лицом и потусторонним взглядом, как живое напоминание о страдании. Сосед Людмилы Николаевны, перекрестив потный лоб, бросил в кружку рубль. Пора уходить.

И опять долго стояла в тени густых лип неподалеку от чистенького особнячка классического стиля, которыми славится Петербург. Розовый. Двухэтажный. С белыми наличниками и строгой лепниной. Комендантский дом. Страшный. Обманчивый, как улыбающийся палач. Здесь выслушивали смертный приговор декабристы, а позднее из этого розового дома увозили на Шпалерную Михайлова, Гельфман, Желябова.

Между булыжником, выжженным солнцем, пробивались кустики травы. Молодые, задорные, как новая жизнь, которую не может заглушить даже камень. Крепость, запоры, камень — все ничто в сравнении с жизнью... И от этой мысли стало спокойнее. Ничего, повоюем!

Сторонкой обошла толпу, прибывавшую к комендантскому кладбищу. В шитой золотом ризе гнусавил дьякон, размахивая кадилом. Могучими глотками вторили монахи. Рослые, как солдаты-гренадеры при въезде в крепость. И опять чистенькие газончики и стриженные на английский лад липы...

На Троицком мосту шпика не было. Потерял... Женщина обрадовалась. Стояла, вслушиваясь в накаты Невы на казавшиеся неприступными стены Петропавловки. Застыл на соборе ангел-флюгер с поднятой трубой. Высоко проступала витая шапка татарской мечети, будто соперничая с Петропавловской иглой.

Ветер не менялся, а все гнал и гнал лед. С моста ледоход казался безбрежным — наплывающие льдины густо собирались у каменных быков. Зажимали, напирали, разбивались об их могучую грудь и уползали к Летнему саду.

Людмила Сталь, захваченная этим невиданным нашествием, чувствовала головокружение, как на корабле при качке. Казалось, рухнет в ледяную глубину и Петропавловский собор с ангелом-флюгером, и Троицкий мост с чугунными решетками и висячими фонарями.

Хлопнула крышкой крошечных часиков на золотой цепочке. Ого, сколько проблуждала по крепости! И все же, подумав, решила не торопиться на Гостиный двор в «Посыльную контору». Время обеденное, артельщика сразу не дадут, а откладывать заказ она не имела права. Дело не простое — на Финляндском вокзале тюк с нелегальщиной. Привезли железнодорожники под видом домашних вещей. Так случалось не однажды. В Выборге сидел свой человек, который ведал транспортировкой. Квитанции ей передала Стасова. Обычно литературу Людмила Николаевна получала сама, но в последнее время решила не рисковать и брала артельщика. Кстати, на этом настаивала и Стасова. Так удобнее и надежнее, хотя есть и свои сложности: нужно страховать тех, кто поджидает транспорт на конспиративной квартире.

Женщина перешла по Нижнелебяжьему мостку и очутилась в Летнем саду. Солнце окутывало деревья теплым зеленым маревом, играло на золоченых наконечниках и двуглавых орлах решетки. Шум ледохода, праздничное сияние бело-голубой Невы, мраморные античные статуи придавали Летнему саду какую-то таинственную прелесть.

Солнце припекало, а цветы еще хранили драгоценные капельки росы. Людмила Николаевна разыскала тенистый уголок— развесистый куст черемухи ослеплял бурным цветением. А в глубине утопала скульптура Милосердие. Молодая прекрасная женщина держала открытую книгу законов. О, даже изречение! Да, да, латынь она не забыла. Значит, в переводе: «Правосудие преступника осуждает, милосердие же милость дарует».

Правосудие... Преступник... Милосердие... Какие святые и

какие подчас ложные слова! Кто преступник? Кому даруется милосердие? И кто осуществляет правосудие? Нет, лучше любоваться мраморной Ночью — таинственна и полна очарования! Окутана звездным покрывалом. На грациозной головке — венок из цветущего мака, на поясе — летучая мышь, у ног — сова. Это извечные символы Ночи. А как величав Закат—могучий старик, попирающий диск солнца!

В крошечном пруду застыли лебеди. Бонна сердитым голосом выговаривала барчуку. Наверняка захотел их покормить. Барчук с обиженным лицом нетерпеливо расправлял складочки панталон со штрипками.

У литых ворот Людмила Николаевна купила букет ландышей. Цветочница поклонилась и, улыбаясь, опустила монету в кошель у пояса.

Гостиный двор напоминал московские лабазы — приземистые, добротные. Лишь бесчисленные приказчики, завитые и напомаженные по питерской моде, отличались от привычных увальней. Двор заполнили купеческие лавки, как ноев ковчег. Витрины ломились от товаров — модные платья, переливчатые ткани, тонкий фарфор, серебро. Стараясь не замечать заискивающих приказчиков, Людмила Николаевна поднялась по широкой лестнице на второй этаж — в царство ковров. Ворсистые и гладкие, пушистые и грубые, затканные всеми цветами радуги и блеклые... Персидские... Бухарские... Французские гобелены... Владелец магазина, крохотный человек на коротких ногах, вырядился в широкие шаровары и кожаный пояс. На голове феска с крупной кистью. По каким-то неуловимым признакам в молодой женщине он не признал покупательницу. Лишь на всякий случай кивнул продавцу в таком же диковатом костюме. Обычно в магазин с коврами Людмила Николаевна старалась не заходить, но сегодня зашла, чтобы провериться. К счастью, «Посыльная контора» и магазин Готье (турок носил французскую фамилию) на одной площадке. Из магазина есть выход на другую лестницу Гостиного двора, разрезанного маршами.

В «Посыльной конторе» сидел тучный человек и пил чай. На коленях полотенце. Мелкие кусочки сахара на блюдечке. Завидев посетительницу, служащий, отдуваясь и обтирая шею, с сожалением отодвинул чашку. Надел для солидности фуражку с красным верхом и водрузил очки, перевязанные у переносицы ниткой. Тяжело вздохнув, толстяк привстал и поклонился.

— Здравствуйте... Здравствуйте...— ответила Людмила Ни-

колаевна, играя зонтиком.— Прибыли домашние вещи из Выборга... Мне нужен артельщик.

— Адрес?

— Камера хранения Финляндского вокзала.— Людмила Николаевна удивилась лаконичности толстяка.

— Адрес?

— Финляндский вокзал...— с некоторой поспешностью отозвалась женщина.

— Господи! Адрес, куда доставить вещи? — Служащий поморщился, как от зубной боли, и рухнул на стул.

Людмила Николаевна улыбалась. Вид толстяка, для которого каждое слово — страдание, умилил ее. Служащий снова вздохнул, как добрые кузнечные мехи, и, грозя раздавить стул, отодвинулся. Снял с полки книгу. С трудом раскрыл ее и, посылая проклятия, принялся чистить перо о волосы. Фуражка уже лежала на пожелтевших газетах, а толстяк, высовывая кончик языка, с видом старательного гимназиста заносил в книгу заказ.

— Артельщик нужен сегодня,— решилась заметить Людмила Сталь.

— Беда с вами... Не сказали сразу...

— Сразу?

— Об артельщике на сегодня...— простонал толстяк, вытирая потные ладони.

— Ждала, как начнете расспрашивать.

— Расспрашивать?

В заплывших жиром глазах такое изумление, что Людмила Николаевна, не удержавшись, расхохоталась. Прыснул в уголке и артельщик, пристроившийся на лавке.

— Ой, Пал Палыч, да будет расспрашивать... Они скорее соснут...— Артельщик почесал за ухом и, поймав сердитый взгляд, застыл. Лишь на губах лукавинка.

Пал Палыч хотел было повернуться и прикрикнуть, да лень помешала. Руку сжал в кулак, но по конторке не ударил — себя пожалел.

— Адрес? — Пал Палыч погрузился в пропыленную книгу.

— Лифляндская улица, дом госпожи Сорокиной.

— О господи, через весь город!

— Конечно, далековато. Зачем иначе обращаться в «Посыльную контору»? — Людмила Николаевна изумленно приподняла сросшиеся у переносицы брови.— Мне бы и дворник привез.

— Поди, за Нарвские ворота...— Пал Палыч обрадовался

препятствию, которое давало ему возможность ничего не делать.— Через Неву да Обводный канал...

— Так возьмете по тарифу! — прервала его сетования женщина.— Вашу контору рекомендовали как исправную. Вещи домашние... Перевожу с дачи... Раньше снимала дачу под Выборгом, а теперь на Черной речке — вот и приходится перетаскиваться.

— Тариф? — презрительно фыркнул толстяк.

— Тариф тарифом, а на чай не обессудьте, барынька! — Артельщик почесал рыжую бородку.

— На шкалик...— Толстяк оживился и каллиграфическим почерком начал выводить адрес и номер заказа.

Писал старательно. Перо вздрагивало и так же грозило сломаться, как все, к чему он прикасался. Пот градом катил по щекам и тройному подбородку. Наконец, проскрипев пером, поставил точку. Подул, пошуршал и попросил уплатить ассигнациями. Захлопнул книгу, поманил артельщика.

— Здесь, Пал Палыч! — гаркнул артельщик.

— Нумер осьмой, возьми квитанцию!

Пал Палыч даже головы не повернул. Сунул через плечо квитанцию и, отдуваясь, с чувством исполненного долга принялся за чаепитие.

Людмила Николаевна, улыбаясь, покачала головой. Подумала и небрежно бросила артельщику:

— Если смогу, то приду на вокзал — посмотрю за отгрузкой, а то все переломаете. Муж неумелый, трудно представить, как он вещи уложил... Да доставьте багаж после трех.

— Не извольте беспокоиться, барынька! Все в лучшей манере закончим — не впервой. Пал Палыч шкуру спустят, коли что приключится.— Артельщик явно хитрил, не выпуская рыжей бородки из грубых ладоней.

Пал Палыч в разговор не вступал: пил чай, удерживая на растопыренных пальцах блюдечко. Пил самозабвенно, обливаясь потом и отдуваясь.

— Держи, служивый, на конку.— Людмила Николаевна сунула пятиалтынный и, оставив в приятной истоме Пал Палыча, вышла.

В багажном отделении Финляндского вокзала против ожидания людно. Суматоха. Галдеж. Прибыл поезд из Хельсинки, и артельщики подкатывали тележки с вещами, залепленными сур-

гучными печатями. В отделении пахло сыростью, мышами. За редкой железной сеткой свален багаж — ящики, баулы, тюки, чемоданы...

Людмила Николаевна, низко опустив вуаль, отыскивала артельщика за номером восемь. Артельщик здесь, но не один. Опытным глазом она шпика определила сразу. Эдакий сытый господин в коротком пальто и шляпе-котелке. Галстук бабочкой. Жесткий крахмальный воротничок подпирал полные щеки. В руках тросточка. Щеголь. Вот он пошептался с жандармом и стал за артельщиком.

Очередь двигалась медленно. Сухонький железнодорожник хватал квитанции и с ошалелым видом кидался к тележкам, переворачивая бирки с наклейками. Пассажиры пытались подсказать ему, но бесполезно — быстрее дело не шло.

Людмила Николаевна, боясь, чтобы артельщик не опознал ее, вышла на площадь. Взяла извозчика и приготовилась терпеливо ждать. Чахлая клумба, утыканная маргаритками, сиротливо торчала, опоясанная железными путями конки. Невысокое здание вокзала под стеклянным колпаком казалось почерневшим от копоти. Погода резко испортилась, как это бывает в Петербурге, и начал накрапывать дождь. Липкий и частый, расползаясь по пропыленному стеклянному фонарю.

Извозчик по привычке дремал, опустив голову. Синий кафтан, перехваченный кушаком, выгорел на солнце. Швы на спине распоролись. Ударили вокзальные часы, заглушаемые свистком маневрового паровоза. Два. Пожалуй, так и на конспиративную квартиру опоздаешь — Стасова будет сердиться.

Людмила Николаевна устало прикрыла глаза. Почему-то сегодняшний груз вызывал сомнение. Как обычно, она прикрывала артельщика, чтобы не провалить квартиру. Главное в конспирации — простота. Вот и решила при заказе точно указывать улицу и номер квартиры, а фамилию проставлять фиктивную. Мало ли что может произойти... Настроение отвратное: ясно, ее нащупали. Приходилось прятаться от преследований, прыгать с конки, рискуя сломать шею, скрываться проходными дворами, менять внешность — все же какое-то подсознательное чувство постоянно предупреждало об опасности. Конечно, и устала изрядно — мытарства по чужим углам, провалы в организации, аресты... Да разве может живой человек перечислить все заботы и огорчения?!

Людмила Николаевна вздрогнула: взвалив тюк, зашитый в мешковину, артельщик вышел из багажного отделения. Тот са-

мый, с рыжей бородкой. Вгляделась в бляху — правильно, номер восьмой.

Мужик покрутил головой и заторопился к конке. До Нарвских Триумфальных ворот конка ползла час. На извозчике было бы быстрее. Раздался резкий звонок, и конка тронулась. Людмила Николаевна уже готова была разбудить спящего старика, но тут случилось то, чего она так боялась. Из багажного отделения вывалился шпик. Взъерошенный. Сердитый. Видно, поджидал хозяина транспорта, да неудачно, вот и решил проследить за артельщиком. Шпик махал рукой, чтобы привлечь внимание кондуктора. Жандарм поднес к губам на витом шнуре свисток. Конка остановилась, и шпик вскочил, подтолкнул артельщика, прижавшегося к выходу. Вот дело-то...

У Нарвских Триумфальных ворот конку встречала Людмила Николаевна. Дважды переменила извозчика на Невском, а потом и на Московском. Наблюдения не приметила, и вот она здесь, у Триумфальных ворот. Высокие колонны подпирали свод. На стремительной колеснице, запряженной сказочными конями, летела крылатая богиня Победы — Ника. В руках венок в честь победителей: русские полки после разгрома Наполеона входили в столицу через Триумфальные ворота.

Она прошлась вдоль Триумфальных ворот с отсвечивающими серебром колоннами и античными героями. Со скверика разбегались няньки. Дождь звонко бил по мостовой. Она раскрыла зонтик и, как истинная петербуржка, не обращала внимания на дождь. Действительно смешно, в этом городе дождей и туманов подстраиваться под погоду.

Разбрызгивая фонтаны воды, подкатила конка. Торопливо сходили люди, нахлобучивали шляпы, поднимали воротники пальто. Артельщик спрыгнул последним. Бросил тюк на тротуар и, достав цветастый кисет, закурил. Фуражку с красным верхом, знак принадлежности к «Посыльной конторе», лихо сдвинул на затылок. Шпик вертелся рядышком. Артельщик затер окурок стоптанным сапогом и двинулся к Лифляндской улице. Шел неторопливо, останавливался, чем очень сердил господина. Да, господин вел себя странно: поглядывал по сторонам, временами отставал, пропуская артельщика вперед, брезгливо поднимал ноги, обходя лужи.

Людмила Николаевна выбрала кратчайший путь. Нырнула проходным двором, обогнула одноэтажный трактир, зажатый фабричными корпусами, снова скрылась в анфиладе проходных дворов, известной лишь местным жителям, и, прижавшись к ку-

стам сирени, оказалась на Лифляндской улице у дома госпожи Сорокиной.

Дом этот имел множество подъездов, парадные и черные лестницы, в которых так легко заплутать незнакомому человеку. Эти достоинства и сделали дом госпожи Сорокиной незаменимым для конспирации. Под аркой начинался проходной двор, им следовало воспользоваться при опасности. У парадного под железным козырьком сидела старушка в лиловом салопе. С зонтиком. У ног дворняжка с набухшей от дождя шерстью.

Людмила Николаевна быстро вбежала на третий этаж по обшарпанной лестнице. Позвонила. Сердце сжималось от боли и волнения. Она задыхалась. Не дождавшись, пока откроют дверь, условно постучала — промедление казалось недопустимой роскошью. Дверь отворила Катя, подносчица с Обуховского. Это ее мать спасла от ареста Людмилу Николаевну в доме за Невской. Хрупкая. С мечтательными глазами. Хозяйка квартиры Прокофьевна, старая женщина, по взволнованному виду Людмилы Николаевны поняла, что случилось неладное. Глаза потемнели, зрачки расширились. В квартире Катя, ее подружка и студент из Технологического — разносчики. А вот с литературой-то какая беда...

Людмила Николаевна села, стараясь унять удары сердца. Разносчики... Сколько их по Питеру! Условия конспирации жесткие — литературу забирали немедленно, чтобы очистить квартиру. Обертывались листовками, забивали потайные карманы, полнели на глазах, но руки оставались свободными. Свертки, портфели, узлы — все запрещено Стасовой. Правда, есть исключение — Стасова всегда ходила с портфелем. Утром ежели пуст, то набит мятой бумагой. Несет да перекладывает из одной руки в другую. Тяжело, мол. А коли с литературой, то рука сама просит пощады. Полушутя Стасова не раз говорила, что наверняка по наружному наблюдению значится, как «девушка с портфелем»... Но это право перешло в привычку, а так разгуливать по Питеру со свертками нелегальщины, ей-богу, смешно. Сколько раз приходилось эти премудрости доказывать молодежи!.. А им нужен риск, романтика, она и сама за романтику, но дело есть дело.

— Скрывайтесь, товарищи! Транспорт провален.— Людмила Николаевна глотнула воздух и, помолчав, добавила: — Через пятнадцать минут пожалует артельщик с хорошим «хвостом».

— Может быть, вывернемся! — Катя с надеждой смотрела на Людмилу Николаевну.

— Если вовремя скроемся, то вывернемся, а транспорт потеряли! — уныло подтвердила Людмила Николаевна.

— Напасть-то какая! — Старушка недовольно покачала головой. На ее приятном лице тревога.— Говорю, не делом занимаетесь — все в Кресты попадете, а нам, матерям, слезы горькие лить да передачи носить!

Людмила Николаевна ласково обняла ее за плечи. Добрейшая Прокофьевна достала клубок шерсти и принялась вязать чулок. Частенько она шутила: ленивица, мол, старая. Чулком-то Исаакия можно опоясать—вяжет и вяжет, а конца-краю не видать... Где быть концу — вяжет при случае: обыски, провалы, а в клубке-то замотана записка с явками и паролями.

Квартира быстро опустела. Катя спустилась в парадное. Ее подруга воспользовалась черным ходом. Студент поднялся в квартиру приятеля, а Людмила Николаевна быстро проскользнула вниз и, притаившись в соседнем парадном, ждала, как разовьются события. Прокофьевна, покрякивая, вышла последней.

Дождь затих так же внезапно, как и начался. Прокофьевна уселась на мокрой лавочке, положив корзиночку с заветным клубком. Артельщик долго стоял у подъезда и, задрав голову, рассматривал на пожелтевшей табличке номера квартир. Смачно плевал между затяжками и наконец, взвалив тюк на плечи, направился в парадное. Только передумал. Поздоровавшись с Прокофьевной, решил порасспросить. Теперь уже шпик нервничал, не отходя от него ни на шаг.

— Квартира Шумана на третьем этаже? — прокричал артельщик, смахивая с козырька воду.

— Ась?..— Прокофьевна подняла на лоб очки и, не отрывая глаз от чулка, стала тугой на ухо.

— Шуман... Шуман...— кричал во все горло артельщик, обрадовавшись такой возможности.

— Спроси, милой человек, в дворницкой! — с таким же удовольствием прокричала ему Прокофьевна.—Дворник всех знает, а тут жильцы, поди, каждый день съезжают...

— Съезжают? Отчего не живут? — Артельщик опять полез за кисетом и свернул преогромную козью ножку.

— Бог их знает! Кому дорого, кому далече... А уж дохтуров здесь не удержать, тем нужны дома сто́ящие...

— Так Шуман дохтур?

— Шуман завсегда дохтур,—философски заметила Прокофьевна, перекладывая чулок.

— Да, твоя правда, мать.



— А ты его ищешь здесь, чудак!

— Так Шуман-то съехал али нет? — Артельщик, приподнявший было тюк, грохнул его о мостовую.

— Ась?..

— Шуман... Шуман...

Разговор, казалось, не будет иметь конца. Кричал артельщик, кричала Прокофьевна, розовея от натуги. Лишь клубок неторопливо поворачивался в корзиночке с нитками. Людмила Николаевна, прислонившись к стене, внимательно вслушивалась.



— Пошел... Пошел... Бездельник!—Шпик, потеряв терпение, торопил артельщика.

— Ты, барин, меня не нанимал, а погоняешь! — обозлился артельщик.

Прокофьевна заинтересовалась:

— А ты разве не с барином? Почто он тогда влезает в разговор?

— «Почто, почто»! Такой уж барин! От самого вокзала прилип как банный лист.— Артельщик надвинул фуражку на гла-

за. — На конке ехали вместе, а и у Нарвских ворот сигает за мной... Могет, и он Шумана ищет?

— Так, говоришь, баба у него рожает? — Прокофьевна подняла на лоб очки и уставилась на шпика.

— Какая баба рожает? — Артельщика забирало любопытство.

Он остановился и не знал: то ли бросить тюк в воду, сливавшуюся по желобу, то ли подняться в парадное в квартиру этого распроклятого Шумана.

— Да ты сам сказал! — возмутилась Прокофьевна и принялась нанизывать петли на спицы.— Коль дохтура ищет, знать, баба рожает...

— И правду рожает.— Артельщик с жалостью посмотрел на ошалевшего шпика и окончательно свалил тюк в воду.— Барин, а барин, поди, баба-то мается?

— Какая баба? — с отчаяньем переспросил шпик.

— Как — какая? А у тебя их разве две?

— Иди к черту!

Шпик нырнул в парадное.

— Вот они, господа-то...— вздохнула Прокофьевна и, обиженно поджимая тонкие губы, закончила: — Сердцем пособить думаешь, а они с бранью...

— Пожалуй, пора! — Артельщик нерешительно поднял тюк.

— Куда пойдешь-то? — не отпускала его Прокофьевна.

— Закудакала... За Кудыкины горы... К дохтуру Шуману...

— А где он, Шуман-то?

И опять разговор завертелся, как карусель. Людмила Николаевна хохотала. В разговор вступали жильцы, привлеченные криком. Распахивались окна. Стучали ставни. Артельщик все же поднялся на третий этаж, а потом долго стоял около Прокофьевны, проклиная господ: им-де не сидится на одном месте. И опять советовала Прокофьевна, как разыскать этого Шумана, которого, поди, и след простыл...

Шпик участия в дебатах не принимал. Нахохлившись, уничтожал артельщика глазами. Процессия направилась к дворнику. Споры и крики доносились и с соседнего двора.

Людмила Николаевна жалела транспорт: литературу наверняка вернут на Финляндский вокзал; радовалась, что удалось спасти конспиративную квартиру, и подтрунивала над одураченным шпиком.

ШОТЛАНДСКИЙ ПЛЕД

Над Петербургом висел забытый с ночи месяц. Бледный и расплывчатый, как облако.

В вагоне пригородного поезда нарядная дама с легким упреком выговаривала девочке:

— Сиди спокойно и помни, что ты — сердечница. Всякие резкие движения строжайше запрещены.

Толстушка с круглым лицом и яркими щеками слушала невнимательно. Пухлые пальчики теребили локоны русых волос, перехваченных муаровой лентой. Из-под широкого, в оборках, платья выглядывали панталончики с кружевами. Голубые круглые глаза делали ее похожей на модные куклы Гостиного двора. Сидела она важно, выпятив полный животик, понимала свою неотразимость. Лишь изредка проносившиеся за окном вагона церквушки и будки стрелочников заставляли ее вскакивать. И каждый раз дама спокойным и ровным голосом делала замечание.

Дама запоминалась молодостью и красотой. Гибкая. Высокого роста. Большие серые глаза под сросшимися у переносицы бровями задумчивы. На щеках при улыбке — а дама часто улыбалась — западали ямочки. На легких светло-каштановых волосах по последней моде атласная шляпа с пучком перьев. В руках французский роман, который она читала с увлечением. Временами отрывалась, чтобы присмотреть за девочкой.

— А бабушка будет встречать на станции? — Толстушка болтала ножками, стараясь помешать даме.

— Конечно, дружок... Впрочем, если здорова. Дядя Жорж послал телеграмму...

Дама перевернула страницу и погрузилась в книгу.

— А марципаны есть у бабушки?

— Вероятно... Только мучное тебе не так уж хорошо.

Дама вновь перевернула страницу.

— А клубника со взбитыми сливками, как в «Норде»?

Девочка скучала. Она сложила квадратиком блестящую обертку «Бон-бон» и уныло обсасывала конфету.

— О, Натали! — Дама кружевным платочком обтерла ей рот.— Неужели не смогла дождаться?

— Ребенок, мадам! — с готовностью подключился в разговор жандармский подполковник.

— Хороший тон нужно прививать с детства! — нравоучительно заметила дама и нежно поцеловала девочку.

Жандармский подполковник усмехнулся в щеточку усов. Вот она, женская логика! Мораль и действо, слово и поступок... Был он немолодой мужчина с поседевшими висками. Немного усталый после ночных бдений в Главном управлении. Шел бесконечный допрос, а вернее, поединок с арестованным, в нем подозревали крупного террориста. Подследственный никаких показаний не давал, а откровенно и зло высмеивал его, представителя правосудия. Подполковнику требовались факты, признания, нити, за них можно вытянуть всю цепочку, а следствие вот уже третий месяц болталось, подобно колесу на холостом ходу. Он устал и от злого надтреснутого голоса, им отругивался арестованный, и от своего, неестественно спокойного и вкрадчивого; устал и от яркой лампы: ее направляли на подследственного, зная, что тому это нестерпимо, ибо привозили его из полутемных казематов Петропавловки; устал и от осторожных шагов дежурного офицера, в черных глазах которого чудилась насмешка над его беспомощностью. Допрос и на этот раз закончился безрезультатно — чахоточный террорист отказался подписать то немногое, что он занес в протокол.

Подполковник в отвратительном настроении отправил его «дозревать» в Петропавловку, приказав поместить в карцер, предварительно лишив горячей пищи, а сам решил отдохнуть на даче в Ораниенбауме, красивом местечке с пушистыми липами и голубыми березами. Да, грешен человек! Любил бродить английскими аллеями Верхнего парка близ дворца Петра Третьего, любил ажурные тени кленов на желтых дорожках, бесчисленные розы и этот трепетный, едва приметный аромат, сродни лишь одному Ораниенбауму. Любил и беседки на реке Карость— от крутизны оврагов шумела голова,— и вид с петляющей речушкой, так плотно вписанный в этот русский и в то же время онемеченный пейзаж.

Дама и девочка, оказавшиеся соседями по купе, понравились. Милые. Благовоспитанные. По профессиональной привычке решил было домыслить биографию, но потом усмехнулся: какая здесь биография — благополучная жена обеспеченного мужа. Поначалу он просматривал газеты, доставленные утренней почтой, но потом отложил — дама и девочка заинтересовали его. К тому же приятно после опостылевшего допроса (об этом хотелось забыть) увидеть тот привычный миропорядок, ради него он проводил эти долгие бессонные ночи.

— Nadine, а Nadine, почему листья зеленые? — Девочка вкусно причмокнула.— Почему небо голубое?

— Сколько «почему»! Да ты — «почемучка»! — засмеялась дама, и серые глаза полыхнули гордостью и добротой.

— Почему «почемучка»?

Мужчина мизинцем тронул кончики усов. Подполковник был холост. Вечные хлопоты да частые отлучки по губернским тюрьмам не способствовали, как известно, семейной жизни. А дети его занимали, вернее, он испытывал к ним болезненную слабость, и каждый раз, встречая на российских дорогах молодых и красивых женщин, говорил, что пора, пора... Вот только спихнет с плеч это проклятое дело о террористе... Но едва заканчивалось дело о террористе, как возникало дело о групповом сообществе с целью насильственного изменения существующего строя... И опять бессонные ночи и тяжкие поединки. И так каждый раз, словно в присказке — бедному жениться и ночь коротка.

— Nadine, а Nadine, птички поездом уезжают из Петербурга в теплые края?

— У птичек есть крылья, они улетают.— Дама отложила книгу и с напускным неудовольствием погрозила пальцем: — В следующий раз непременно возьмем альбом для раскрашивания, а то терпения нет.

— Почему терпения нет? От меня?—Белые бровки удивленно встрепенулись, и девочка перестала жевать.

— И вправду — почему? — с широкой улыбкой, молодившей его, обратился к даме подполковник.— Детство любопытно, и все-то нужно... Какая прекрасная девочка!

— У вас нет детей — как можно хвалить в глаза! — На приятном лице дамы досада.— Моя крестница и так избалована бесчисленными мамушками да тетушками... В большой семье она единственная, вот все и танцуют вокруг нее.

— И вовсе не танцуют, а ходят,— вразумительно поправила девочка и, заметив интерес на лице мужчины, пояснила: — Танцевали только на моих именинах.

— Молодчага... Молодчага... Сама непосредственность и неиспорченность! — Подполковник щелкнул портсигаром и, попросив разрешения, чиркнул спичкой. Вопросы воспитания его интересовали.— Нужно стремиться, чтобы ребенок оставался самим собой, а мы его в шоры воспитания и так называемых хороших манер... А кто наставники? Добропорядочны ли? Не увлекут ли в стан ложных идеек?

— Думается, в вопросах воспитания вы — сторонник Руссо,— прервала его рассуждения дама.— Эти мысли о близости к натуре, о методе естественных последствий... Я против «шор



воспитания»... Только честное сердце — единственный советчик и судия. Но согласитесь, наши женщины недостаточно в большинстве образованны, чтобы быть наставником; на Западе, где женское образование не в таком загоне, плоды иные. Эмансипация не коснулась России. Увы...

Подполковник скривился: вот оно, время, от него не скроешься и в вагоне первого класса наедине с красивой женщиной—Запад, эмансипация, Руссо с методом естественных последствий... Скукота-с, господа! Он отвел глаза и начал следить за убегающими березовыми рощами.

— Nadine, а Nadine, почему дядя замолчал? — Девочка вновь развернула конфету и наморщила веснушчатый носик.

— Не каждый вопрос разрешается задавать вслух! — возмутилась дама и виновато посмотрела на мужчину.

Но тот благодушествовал: девочка восхищала, да и к даме пропало раздражение — кто в наши дни равнодушен к этой набившей оскомину эмансипации и не щеголяет именами французских просветителей!

Мода! Да-с, и с этим ничего не поделаешь, какие бы циркуляры ни рассылали из министерства.

— Извините дитя неразумное, сударь! — Дама с легким замешательством протянула подполковнику руку в парижской перчатке.

— Помилуйте... Помилуйте...— Мужчина привстал и галантно поцеловал ручку.— Непосредственность — добродетель.

В купе заглянул испуганный проводник, за ним рослый жандармский ротмистр и человек с лисьим лицом. Филер!

Дама скосила глаза и преспокойно листала французский роман. Ротмистр, увидев подполковника, поправил портупею и козырнул. Он почти насильно вытолкнул филера, пытавшегося остаться в купе. Подполковник от такого неумного рвения досадливо нахмурился.

— Прошу прощения за беспокойство, господин подполковник! — Ротмистр осторожно задвинул дверь.

— Что-нибудь случилось? — полюбопытствовала дама и расправила бант на головке крестницы.

— Обычные будни, мадам! Дела-с...— Подполковник помолчал и, вздохнув, закончил: — Одни отдыхают, а другие берегут покой. Вот и вся недолгая заповедь, дошедшая из глубины веков.

Паровичок хрипло прокричал, зачихал и, устав от непосильного труда, ухнул. В густой зелени вязов выплыла станция. На перроне жандармы. Ротмистр выпрыгнул на ходу из вагона и принялся распекать молоденького офицерика на длинных тонких ногах. Редкие пассажиры выходили неторопливо. Выходили под бдительным присмотром жандармов. Филер воровато косился на вагон первого класса и что-то доказывал ротмистру. Тот пренебрежительно махнул рукой.

Дама краем глаз наблюдала за суматохой на станции. Паровичок дернул, и вагоны запели обычную долгую песню. Подполковник угощал девочку шоколадом, радуясь ее улыбкам и той ленивой небрежности, с которой она принимала поклонение.

— Сколько тебе лет?

— Вчера было шесть лет и пять дней.— Девочка растопырила пальцы и, стараясь, чтобы никто не приметил, облизнула их.

— А сегодня?

— Наверно, меньше.— Девочка покосилась на крестную за подтверждением.— Меньше, да?

— Это не столь важно, а вот пальцы облизывать худо, дружок! — Дама с укором вытерла ее ладошки и обратилась к подполковнику: — К сонмищу мамушек и тетушек присоединяются и такие серьезные государственные мужи!

— Простота голубей завещана детям, а мудрость змий — их прелестным наставницам.— Подполковник с грустью закончил: — Впрочем, в нашем суетном мире все смешалось, и слова из священного писания вызывают усмешку.

— В вашем голосе гражданские слезы.— Дама откровенно иронизировала. К тому же подполковник стал надоедать с его сентенциями.

— Гражданские, но не крокодиловы! — отпарировал мужчина, уязвленный тем, что эта встречная женщина поняла то состояние внутренней неудовлетворенности, в котором он и сам не хотел признаваться.

Дама подняла большие серые глаза и с недоумением, а вернее, с сочувствием спросила:

— Скоро Ораниенбаум? Мы с крестницей, конечно, не самые лучшие попутчицы. Вы чем-то расстроены?

— Устал, мадам.— Мужчина кашлянул и сухим голосом повторил: — Устал... Ворох дел и неприятностей.

Подполковник и сам бы не мог объяснить, зачем он откровенничает с этой случайной попутчицей, но женское обаяние столь велико и так сильно его заботило невезучее дело террориста, что напряжение оказалось чрезмерным.

Дама глубоко задумалась, подперла кулачком красивую голову и как бы уговаривала себя:

— Обойдется... В конечном счете все обходится, и, как в писании, до которого вы такой охотник, «возвращается ветер на круги своя».

— Да... Да... «Во многой мудрости много печали».— Подполковник сплел длинные нервные пальцы.— А я действительно весьма охоч до священного писания.— Желая переменить разговор, спросил: — Надолго в Ораниенбаум?

— До конца сезона. Впрочем, дачница из меня плохая — в Петербурге в «Мариинке» гастролируют итальянцы... Сидеть в тиши, в глуши — увольте великодушно. Родные, натурально, сердятся, но сбегаю при каждом случае.

— А я бы отдал полжизни за тишину, от которой вы бежите!

— А другую половину жизни за то, чтобы бежать! — Дама лукаво сверкнула глазами.

— Может быть, вы и правы,— грустно улыбнулся мужчина.— Дача хорошая?

— Прелесть — от станции близехонько, а природа райская...

— У станции? Поезда... Шум... Грохот...

— Поезда приползают сравнительно редко... Терпеть можно...

Подполковник хотел представиться, но дама при всей внешней простоте держалась отчужденно. А красива-то как! Он ощутил легкую досаду: вот они, годы-то! Впрочем, почему его, дорожного пассажира, она должна приглашать в дом... Все суета сует.

Прогремели буферные тарелки. Поезд остановился, и дама прильнула к окну. На перроне опять жандармы. Голубые мундиры. Серебряные витые шнуры. Все тот же ротмистр, все тот же филер и этот тонконогий офицерик. Конечно, жандармами Ораниенбаум не удивить: дворцы, Потешная крепость, английские парки с прудами и царственными лебедями, бело-голубая

Катальная горка — тут и великие князья, и знать... Но назойливое внимание жандармов оскорбительно, и дама, с укором посмотрев на своего попутчика, не скрывала брезгливости.

Она накинула пелерину на девочку, застегнув на хитроумные петли-лапы. Протянула ей корзиночку с игрушками. Заметила огорченно:

— Тетушки нет... Очевидно, мигрень разыгралась, но почему горничную не прислала?

В ногах у дамы сверток. Большой. Квадратный, закутанный шотландским пледом. Она казалась растерянной и не скрывала досады:

— Нелепость! Мы с вещами, а встречать некому. Эка незадача!

— Мадам, разрешите помочь,— любезно предложил подполковник, доставая с верхней полки портфель.

Дама поблагодарила своими удивительными серыми глазами. Поправила синий жакет и опустила шитую вуаль. Подполковник поморщился. Опять метаморфоза — загадочная, таинственная, а лица не разберешь... Тоже забота — прятать такую красоту! Гм... А все дань моде, и он с чувством ругнул эту распроклятую моду.

Гибким, сильным движением дама придвинула сверток. Затем привстала и вновь поискала глазами артельщика. Нет, одни жандармы. Сказала певучим голосом:

— К сожалению, вынуждена просить об одолжении... Всего лишь до извозчика...

— Может быть, позволите проводить? Дача-то у вокзала... Я не спешу.

— О, была бы счастлива! Но капризная крестница еще в Петербурге взяла с меня слово покататься на извозчике, а потом уж под крылышко бабушек.— Дама вопросительно посмотрела на девочку.— Впрочем, может, сразу домой?

— Nadine, а Nadine, ты же обещала! — Толстушка сложила губы трубочкой и приготовилась задать ревака.

Дама потрепала ее по голове. Подполковник, досадуя на несговорчивость девочки, приподнял сверток. Ну и ну, не пухом набит, а скорее свинцом. Как же это она смогла привезти, тяжесть-то лютая!.. Кажется, дама поняла его недоумение и предупредила вопрос:

— Знаю, как пудовая гиря. Жалела вас... Старалась высмотреть артельщика, да не судьба... Здесь репродукция с картины Брюллова. Но все дело в раме. Целый месяц рыскала по городу,

чтобы у антикваров раздобыть медную раму. Вся в завитушках, в листиках, скорее лавровый венок, чем рама... У тетушки день ангела, вот и пришлось расстараться.— Дама мило смешалась и почти с отчаяньем закончила: — Артельщик, провожавший на вокзале, возненавидел меня... А виноваты родственные чувства и желание всех поразить чудо-покупкой.

Дама взяла девочку и первой вышла из купе. Подполковник, перекладывая сверток в шотландском пледе, уныло плелся следом. Сверток оттягивал руку, да и портфель мешал, а дама и не подумала о портфеле — вот женский эгоизм! К тому же на перроне раскрыла кружевной зонтик и плыла как пава. Подполковник злился и на собственную галантность, и на беспечную даму, и на толстушку, залитую солнечными брызгами. А все же мамушки да бабушки девчонку раскормили-то как... Теперь сердце начали лечить, благо есть повод для катания на воды за границу.

Жандармский ротмистр удивленно взирал на подполковника с шотландским пледом. Растерялся, даже не попытался помочь. Взял под козырек и почтительно вытянулся. Филер нервничал. От возбуждения у него отвисла нижняя челюсть. Глаза с непонятным осуждением провожали подполковника. Он пытался рассмотреть даму, даже достал какое-то фото из кармана, но где там... Глухая вуаль, кружевной зонтик, да еще этот жандармский подполковник с шотландским пледом.

Солнце в зените. Жара. Деревья шуршали сухими листьями, а дама любезно переговаривалась с подполковником, красным от натуги и раздражения.

На привокзальной площади, засыпанной тополиным пухом, торчал извозчик. Подполковник зычно его окрикнул:

— Держи-ка, братец!

Извозчик, маленький и круглый, ловко скатился с козел и подхватил ношу с завидной легкостью.

— Смотри, дружок, осторожнее. Подарок! — наставляла его дама приятным голосом.— Как бы беды не приключилось, а то вновь возвращаться в город.

Дама с заботливостью наседки усадила девочку, потом поблагодарила подполковника. И все это просто и приятно. Мужчина помог ей подняться в пролетку. Со снисходительной улыбкой, именно так взрослые прощаются с детьми, поцеловал толстушку. Смотрел, как она старательно расправляла оборки, а потом принялась за бублики. Ну, аппетит...

Извозчик хлестнул лошадь, и дама приветливо раскланялась со своим попутчиком.

...Над Ораниенбаумом бушевал буран. Тополиный пух покрывал пеленой стриженую траву Верхнего парка, висел на глянцевых листьях кленов, подобно пурге, метался в теплом воздухе. Казалось, в местечке нет тополей, их не допускали в царственные парки, но пушистые комочки пританцовывали, скапливались и шарахались от малейшего дуновения ветра. На аллеях пух выстилался кисеей, едва удерживаясь на крупных зернах желтого песка, то роясь, подобно пчелиному образу, то распадаясь. Тополиный пух можно было сгрести рукой, тополиный пух висел робкими сережками на домах и заборах. Неуловимый, воздушный. Тополиный пух серебрил волосы прохожих, щекотал лицо, сыпался между пальцами подобно песку. Вверх — вниз, вверх— вниз, вверх — вниз танцевали пуховые клубочки. Разбегались, пугаясь, и вновь, как бы гонимые чьей-то злой волей, тесно прижимались друг к другу. Белые пчелы, белые мухи, гордые странники, безутешные бродяги, они кружили и кружили праздничным хороводом.

В тополином мареве утопала и дача, на которой очутилась дама с девочкой. Громоздкая. С мезонином. С полукруглыми верандами из разноцветных стекол. С резными наличниками, крашенными слоновкой.

Даму ждали с нетерпением. Женщина с усталым лицом и седеющими волосами радостно обняла девочку. Благодарно кивнула приехавшей и, чуть картавя, спросила:

— Почему утренним поездом? Караулили допоздна, а переволновались-то как!

— Так и думала... Около дома вертелся пренеприятный субъект: решила не рисковать.— Дама отколола шляпку и глубоко вздохнула.— В поезде соседом оказался жандармский подполковник.

— Только этого не хватало!

— Сидела как на раскаленных углях. Положение спасла Катюша — всю дорогу занимала его разговорами... Да, да... Жандармский подполковник в долгу не остался и на станции при всем честном народе тащил шотландский плед с наборной рамой. Это было к месту: жандармов что-то многовато. Не к добру...— Дама зевнула и потянулась.— Устала-то как... Грохнусь и усну... Подозрительного ничего нет?

В серых глазах дамы озабоченность, она пытливо всматривается в усталое лицо хозяйки дачи, известной в подполье под кличкой «Мария».

— Да, все благополучно. Вчера приходил хозяин... Посидел

в гостиной, попил чайку, порасспросил о здоровье.— Женщина вспоминала происшествия последних дней, которые бы указывали на опасность, и, как бы отгоняя тревогу, окончательно утвердилась: — Нет, все благополучно.

— Хорошо, нужна величайшая осторожность, Мария! Типография должна продержаться, по Петербургу новая волна арестов.

— Рукописи привезли? Старый заказ почти закончили.— Мария подозвала девочку с веранды: — Катюша... Катюша...

Девочка пришла неторопливо. В руках стакан молока и сдобная булка. Людмила Николаевна усмехнулась — уже кормят. Теперь она понимала беспокойство жандармского подполковника. Мария сняла с девочки пелерину и также засмеялась:

— Располнела-то как! Толстушка... Право, толстушка...

Катюша худела на глазах: сняли широкое платье в оборках, расстегнули пуговицы на лифчике, будто начиненном ватой, и, подрезав подкладку, извлекли тонкие исписанные листы. Пропал животик, который так огорчал жандармского подполковника, пропала и округлость. Лишь щеки румяны да свежи. Девочку увели в сад на качели. Людмила Николаевна слышала, как весело она покрикивала и повизгивала. Она и сама любила эти качели среди старых кривых груш. Вперед — назад... Дух захватывало. А теперь «толстушка» летала на качелях, вцепившись в крученые веревки. Счастливая!

Людмила Николаевна вздохнула и принялась допивать молоко, забытое девочкой. Потом осторожно сняла свое парадное платье и повесила на вешалку. Подумав, она надела ситцевое, а волосы переплела в косу. Отдыхала, пока Мария ходила закрывать калитку на случай вторжения нежданных гостей.

Парадная половина дачи радовала глаз — добротная мебель, тяжелые занавеси, гостиная с картинами. Все, как у обеспеченных обывателей. Направо из гостиной — спальня с широкими постелями. Стены в коврах. Приподняв ковер, Людмила Николаевна отыскала потайную дверь. Дважды постучала, помедлила и отрывисто третий — последний. Мария, покопавшись, помогла открыть замок. Теперь они на «черной» половине, ради нее снималась эта дача.

В комнате нестерпимо душно. Окна закрыты щитами, обшитыми толстенными слоями ваты. Пахло скипидаром да тошнотворными керосиновыми парами. На середине печатная машина «бостонка», добытая с таким трудом. Горела семилинейная лампа, выхватывая оранжевым кругом наборную кассу.

В типографии работало двое: печатник Сергеев и наборщик Николай, из бывших студентов,— «люди-невидимки». Темными ночами они дышали на свежем воздухе, страшась зажечь папироску, дабы не навлечь подозрения соседей; темными ночами печатали на «бостонке», приноравливаясь ко времени прохождения поездов, чтобы заглушить шум машины...

Людмила Николаевна дивилась их мужеству — отрезанные от мира, добровольные узники. Она многое повидала, многое испытала, но сомневалась: хватило бы у нее выдержки и самоотречения для такой жизни.

Сергеев и студент приходу гостей обрадовались. Поставили табурет, отполированный от частого употребления. Из корзины, принесенной Марией, взяли французские булки и бутылки с молоком.

— Стоит Питер? — с нарочитой шутливостью спросил студент и отхлебнул из горлышка молока.

— Питер стоит и шлет поклон! — Людмила Николаевна поддержала шутливый тон.— Как здесь живете-можете?

— Все в порядке.— Студент развязал ремешок, им были перехвачены русые волосы, и подсел к Сергееву на краешек стула.— Что новенького?

— Привезла листовку о стачке на Обуховском... Комитет решил поддержать забастовщиков... Возможно, к ним присоединятся и другие предприятия.

— Отгрохаем... Только бумаги маловато, дрожим над каждым листом, как плюшкины.— Сергеев приподнялся и прошлепал босыми ногами по крашеному полу.

— Бумагу привезла, но экономить придется: в магазинах дают по две тетради. Тут начинается беготня, и небезопасная, да и денег маловато.— Людмила Николаевна слушала, как сухой кашель рвал грудь печатника, и с грустью сказала: — Скоро, Сергеев, смену привезу.

— Ничего... поскриплю малость... Ночами дышу, студент при каждом удобном случае выгоняет в сад.— Сергеев от досады на несмолкаемый кашель ругнулся и отпил молока.— Потружусь, а там — в деревню на сеновал.

Она взглянула на часы. Скоро двенадцать. В двенадцать двадцать проходит товарник. Начнет маневрировать, менять паровоз, долго и трудно дышать, оглушая окрестность низким гудком. В это время и заработает «бостонка». Пора... Пора... Вот и Сергеев поднес к близоруким глазам луковицу-часы. Студент заколдовал над полосой. Мария выкладывала шрифт из холщо-

вых мешочков в наборную кассу, напоминавшую пчелиные соты. Лишь счастливая улыбка блуждала по лицам.

Людмила Николаевна принялась рассовывать листовки по потайным карманам стеганой юбки. В Петербург поезд отходил через тридцать минут. Очевидно, она успеет, а уж отдохнет по-настоящему в следующий раз... И непременно...

ТРУБЕЦКОЙ БАСТИОН

Офицер, громыхнув шашкой, молча указал на дверь. Комендантский дом Петропавловской крепости. Розовый. Обманчивый. Арестованная глубоко вздохнула и переступила порог. И все же не выдержала — оглянулась, прощаясь с голубым небом. Над бастионом Нарышкина висел дымок. Инвалид из отставных артиллеристов стрелял из старинных орудий, возвещая полдень для петербуржцев.

Просторная комната комендантского дома полна жандармов. По обыкновению, они стояли лицом к стене, чтобы не видеть вновь доставленную в Петропавловскую крепость. Здесь законы строгие — арестованных знал только комендант, а для остальных они государственные преступники под номерами.

Жандарм, сопровождавший Людмилу Николаевну из Дома предварительного заключения, вручил дежурному офицеру пакет. Тот не спеша сорвал сургучную печать, подрезал суровые нитки. Сверил фотографию и, достав прошнурованную книгу, начал делать записи. В комнате тишина. Слышалось, как поскрипывало перо да уныло отзвонили настенные часы.

Дежурный офицер отодвинул стул и жестом пригласил Людмилу Сталь в угловую комнату, дверь которой скрывала плотная занавеска. Навстречу поднялась пожилая женщина в черном платье. Лицо хмурое. Неприветливое. Цепким взглядом она окинула арестованную и молча приказала присесть на кушетку. Рядом с кушеткой ширма, затянутая холстом мышиного цвета. У двери крохотный стол. За столом жандарм. Пухленький. Невысокий. На старческих дряблых щеках яркий румянец. На коротких ножках отрезанные валенцы. Он скорее напоминал сказочного гнома, чем служителя закона.

— Раздевайтесь, пожалуйста! — попросила женщина грудным голосом.

Людмила Николаевна вздрогнула от неожиданности. За все это утро с ней заговорили впервые. Молчала надзирательница,

провожавшая ее с вещами по запутанным лестницам и переходам в Доме предварительного заключения. Молчал дежурный офицер, перевозивший ее в Петропавловскую крепость. Молчали жандармы, выстроившиеся вдоль стен. Вся обстановка этого переезда, от сострадательных глаз надзирательницы в Крестах — так в просторечье называли Дом предварительного заключения — до угрюмых жандармов, объяснявшихся кивками и знаками, давила и угнетала.

Заключенная пожала плечами: просьбы не поняла. В комнате промозгло, сыро. Ее легкое пальто не грело. Арестовали ее летним днем, а на дворе ноябрь. Она поежилась и переспросила:

— Я должна раздеваться?

— Примите ванну, — невозмутимо ответила женщина в черном платье.

Людмила Николаевна заглянула за ширму и, к удивлению, увидела ванну. Белоснежную. Обливную.

— Ванна в нетопленной комнате? В ноябре?!

Голос зазвенел от возмущения. Ее начинал бить озноб. Продрогла за дорогу отчаянно, и теперь ванна...

— Порядок... Правда, теплой воды нет.— Надзирательница наклонилась и доверительно прошептала: — Ванну можно не принимать, но раздеться придется донага.

— Путаете от усердия. Я — подследственная, и по инструкции переодевать меня в арестантское платье не полагается... Права не имеете.

— Права определяем сами.— Жандарм, напоминавший гнома, хихикнул и затянулся понюшкой табачка.—Не захотите добровольно — пригласим надзирателей... Только не советую: женщина молодая и вряд ли понравится такое.

— Не затягивайте, барышня, дела много: личный обыск, перепись особых примет...— Надзирательница отодвинула ширму.

Людмила Николаевна наблюдала, как надзирательница вынула из холщового мешка фланелевую юбку, чистую рубаху с клеймом, кофту, халат с жирными пятнами. Арестованная брезгливо повела плечами и отпрянула к столику.

— Значит, добром не хотите? — посетовал старичок.

Молодая женщина не услышала в его голосе ни удивления, ни раздражения. Жандарм дернул ручку воздушного звонка, и в двери появились жандармы.

— Смирительную! — с прежним равнодушием проговорил тюремщик и, бросив быстрый взгляд на арестованную, переспросил: — Надумали?

Надзирательница вытянула бесформенную рубаху с непомерно длинными рукавами из грубой холстины. Смирительная. Нет, такого Людмила Николаевна еще не испытывала. Повалят на пол. Сорвут одежду, а потом запеленают, как куклу.

— Разденусь сама!

— Вот и отлично! — пропел старичок, и добрые щеки заполыхали румянцем.

Жандармы бесшумно удалились. Старичок напялил на мясистый нос очки. Неторопливо. По-домашнему. Людмила Николаевна сбросила пальто, кофту, юбку, ботинки. Надзирательница молча ждала, скрестив руки на животе. Потом из кучи вещей взяла ботинок, начала исследовать — вынула шнурки, помяла подошву, ощупала подкладку. Ну и ну! Осматривать стоптанные ботинки... Арестованная стояла в одной рубахе на каменном полу и чувствовала, как острые колючие иглы раздирали ее тело, как усиливался проклятый озноб до боли, до икоты. Такого она не знавала, даже валяясь в холодном карцере Бутырок.

— За ширму! За ширму!..— Надзирательница, отложив ботинки, прошла за арестованной.

С Людмилы Николаевны сняли рубаху. Заставили распустить волосы, и толстые пальцы дергали их немилосердно; заставили открыть рот, и толстые пальцы полезли за щеку. От обиды и возмущения катились слезы. Надзирательница поворачивала ее из стороны в сторону и диктовала:

— Форма ушей обыкновенная... Рот умеренный... Под левой лопаткой шрам размером с фасолину... Стан прямой...

Казалось, еще мгновение, и Людмила Николаевна не выдержит, закричит, ударит, но сил на протест недоставало — она чувствовала себя раздавленной и уничтоженной. Наклонившись, надзирательница перебрала пальцы на ногах. Потом поднялась и, пошевелив волосы, сказала:

— Одевайтесь!

Людмила Николаевна одевалась с трудом. Руки не слушались, дрожали. Она не сразу попала в рукава рубахи, не сразу разыскала перед кофты, не сразу справилась с волосами.

— Только без шпилек... Без шпилек...— предупредил ее старичок, старательно пересчитывая шпильки.

Людмила Николаевна опустила руки, и тяжелая коса ударила по плечам. От арестантского халата пахло мышами и карболкой.

— Можно взять гребень,— разрешила надзирательница, не замечая протестующий жест старого жандарма.

Людмила Николаевна не двигалась. Надзирательница сунула гребень в косу.

Затем арестованную провели в какую-то клетушку и усадили у черного холста, высоко задрав подбородок. Хромой фотограф сделал множество снимков. Временами он вылезал из черной гармошки трехногого сооружения, что-то поправлял и вновь нырял.

В закутке горели яркие лампы, и Людмила Николаевна начала понемногу согреваться. Хромой фотограф щурил близорукие глаза и, казалось, нарочито медлил, дожидаясь, пока пройдет этот унижающий душу озноб.

Наконец Людмила Николаевна оказалась перед дежурным офицером. Преображенная. В платке и сером бушлате. Офицер внимательно оглядел женщину. Очевидно, арестантское платье делало ее неузнаваемой; достав из папки фотографию, он долго копался.

Хлопнула дверь. Офицер вскочил и вытянул руки по швам. Пожаловал генерал в тяжелых серебряных эполетах. По поспешности и по едва заметной бледности, проступившей на лице офицера, поняла — комендант.

Комендант из полуприкрытых век также оглядел арестованную, внимательно перелистал бумаги. Офицер молчал, наклонив почтительно голову.

— Камера номер сорок три.— Комендант говорил медленно, растягивая слова.— Прогулки через день по пятнадцать минут... Книги — одно Евангелие... Переписка запрещена по известным для арестованной мотивам... Одумайтесь и, сочтете нужным сделать заявление, вызовите следователя... Улучшение питания за собственные деньги исключается... Письменные принадлежности также запрещены... Впрочем, грифельная доска, коли пожелаете приобрести на собственные средства, допускается... Вопросы есть?

— На каком основании меня направили в Петропавловскую крепость? Обвинение не предъявлено, и я до сего часа подследственная.— Людмила Николаевна старалась говорить спокойно, но голос выдавал волнение.

— Вопрос не в моей компетенции.— Комендант закрыл бумаги в несгораемый шкаф и приказал: — Уведите...

Офицер подался бочком и дернул звонок. Комната заполнилась жандармами. Людмилу Николаевну окружили, и процессия в глубоком молчании двинулась к ажурным воротам Трубецкого бастиона.

...Тюрьма для политических, по старинке значимая Трубецким бастионом, задушена массивными стенами. Пятиугольная. Зарешеченная.

Все в том же безмолвии жандармы довели Людмилу Николаевну до внутреннего дворика и передали с рук на руки внутренней охране. В отличие от жандармов, на них были серые мундиры. В центре дворика каменная баня, обсаженная хилыми деревьями. Повсюду крупный булыжник, омытый осенним дождем. Старший надзиратель глазами показал на крутые ступени, по ним она спустилась вниз.

Тюрьма давила тишиной, холодом и решетками, видневшимися и на окнах широкого коридора, и на дверях камер. Матовые стекла едва пропускали свет. Стражники бесшумно переступали в тех самых валенцах, которые так удивили ее на жандарме-гноме. В дальнем конце коридора на ковровой дорожке стол. Яркая лампа выхватывала из темноты процессию. Людмила Николаевна прикрыла глаза рукой, свет резанул до боли.

У стола толпились жандармы. Эти уже не отводили глаз от арестованной, а пытливо и изучающе ее рассматривали. Офицер с круглым брюшком выплыл из-за стола и принял пакет. Потом снял ключ с доски и покатился на коротких ногах. Людмила Николаевна, подталкиваемая старшим надзирателем, прибавила шаг. Дверь, обитая железом, ничем не отличалась от других. Ключ, словно неохотно, вошел в замок, проскрипели ржавые петли, и женщина оказалась в камере.

Людмила Николаевна вздохнула. Наконец-то в этот тяжелый день она осталась одна. Камера напоминала запущенный подвал. В толстой стене окно, зажатое снаружи щитами. Железная кровать привинчена к полу. Металлический стол. Сколько ей суждено здесь пробыть? Месяцы... Годы... Кто знает...

Обессиленная, она прилегла на кровать, покрытую вонючим одеялом. Подушка, как камень. По стенам подтеки воды. От запаха плесени и сырости кружилась голова. Да, мерзость запущения повсюду. Она, как и одуряющая тишина, подавляла...

Приоткрылся волчок в двери. «Иудушка-предатель». Расширенный глаз надзирателя замер с тупым равнодушием. Послышался шорох. Хлопнула форточка — подали обед. Блины с подсолнечным маслом.

Неожиданно Людмила Николаевна почувствовала сильный голод. Еще бы, с самого утра не держала во рту маковой росинки. Села на кровать и деревянной ложкой начала стучать по алюминиевой миске.

...Арестовали ее летним днем 1903 года. Она отнесла в условленное место нелегальщину и направлялась на Выборгскую. Только с возвращением решила не спешить. Вот и затопала по Невскому, радуясь стремительному ритму большого города. Прежде всего к Елисееву. В зеркальных витринах огромные вазы с фруктами. Черные арапчата высоко поднимали звенящие хрустальные люстры. Одурманивающий запах цветов и черного кофе. Она не смогла отказать себе в удовольствии и, заняв место у мраморного столика, выпила чашечку. Кейфовала... Словно провинциалка, незаметно оглядела себя в зеркало — они здесь в изобилии. Да, изменилась... Живется трудно, работы невпроворот и эта слежка. Счастье, что сегодня не видно шпиков. Вышла из елисеевского, купила фиалки и была вполне счастлива, а через несколько кварталов ее взяли. Вынырнули из ворот два господина и свистящим шепотком: «Вы арестованы...» Да, да... Стали по обеим сторонам и взяли. Попробовала улизнуть, привлечь внимание, но господа с такой иронией отнеслись к ее усилиям вырваться из железных объятий, что она поняла — борьба бессмысленна. Ее отвезли в участок, где она предъявила фальшивый паспорт на имя Надежды Ивановны Дворянкиной. Жандармский ротмистр широко ухмыльнулся и приложил паспорт к делу. Из участка прямой дорогой в Кресты. Там оказалось много друзей — очередной большой провал, как узнала позднее. Рядом с ней в камерах работницы, среди которых она вела кружок. За них-то и принялось следствие — молодые, неопытные, первый раз в тюрьме, поверят любой неправде... И началась борьба: следственная часть против Людмилы Николаевны. Ее вызвали в Жандармское управление раз, другой и предупредили о том вредном влиянии, якобы оказываемом на молодых женщин. Теперь уже ухмылялась жандармскому ротмистру она, арестантка Дома предварительного заключения. Позднее с ней разговаривал полковник, эдакий англоман с легкой проседью на височках. Вежливо. Почему-то стало нехорошо и от этой вежливости, и от этой предупредительности... На другой день ее перевели в карцер, а из карцера — в Петропавловку...

Раздумья прервал надзиратель. Забрал миску и, бесшумно передвигаясь по камере, поставил на стол зажженную свечу. Рядом запасная — не дай бог темнота! Запрещено! Длинные тени заколебались по сводчатому потолку, заученно и размеренно надзиратель готовил камеру на ночь.

...Догорала свеча. Оплыла, покрылась восковыми слезами. Наступил новый день. Арестованную разбудил стук двери. Уса-



тый надзиратель послюнявил палец и загасил огарок. В молчаливой сосредоточенности передал подсвечник напарнику, а женщине протянул полотенце. В отличие от большинства российских тюрем, в Петропавловке полотенце отбирали, опасаясь несчастных случаев. Так-то вернее...

Людмила Николаевна открыла медный кран и с наслаждением подставила лицо, руки. Вода пахла карболкой, и кран выплевывал воду в лицо арестованной. Надзиратель недовольно кашлянул, полотенце пришлось вернуть. Ба, на столе завтрак — все та же миска с фруктовым супом, ломоть белого хлеба и тепловатый чай. Ела торопливо, испытывая неловкость от пристального взгляда надзирателя.

— Мне нужна бумага! — Людмила Николаевна отодвинула миску.

Надзиратель не повернул головы. Казалось, он даже не услышал ее голоса, прозвучавшего в сторожкой тишине неестественно громко. Молчал. Разговаривать не полагалось — порядки в крепости железные. Что ж! Придется ждать субботнего обхода коменданта... А пока надо придумать, чем заполнить эти тягучие дни. Действовать, действовать — именно в такой тиши рождается безумие и в душу заползает страх. Женщина прошлась по камере. В утренних лучах солнца, воровато пробивающегося сквозь двойные решетки, кричала мерзость запустения. Камеру не убирали со «времен Очакова и покоренья Крыма». Грязь, паутина, плесень... Бр-р!.. Даже на железных полосах кровати слой пыли. Одним паукам да мокрицам раздолье. А пол... Бог мой! Когда-то был выкрашен желтой краской, она еще виднелась по углам, а теперь угольно-черный. Уборка? А как? Ни тряпки, ни щетки. Она отвернула вновь медный кран и подивилась предусмотрительности тюремщиков — нет, водой не захлебнешься: через час по чайной ложке. Так чем же мыть? Носовым платком? Конечно, по случайности не отобрали в крепостной цейхгауз. Намочила платок. Грязища-то! Отстирала...

Трудно решить, что грязнее: платок или кровать. Но нужда научит терпению. И вновь и вновь выжидательно смотрела, как тонкие струйки воды падают на платок. Черными слезами закапала грязь. В тишине слышала, как стучал «иудушка-предатель». Видно, надзиратель забеспокоился. Хорошо! А в голове безумные планы — вымыть пол!

Людмила Николаевна улыбнулась затее: платком да супротив вековой грязищи! Но отказываться от решений не умела — и принялась. Ползала по липкой грязи на четвереньках и, разбив пол на мелкие квадраты, терла, терла... К удивлению, обнаружила, стены камеры в доисторические времена были оклеены обоями: кое-где свисали грязные клочья. От платка остались лохмотья. Людмила Николаевна старательно собрала их в ладонь. Ах, как тюрьма уносит силы! Это, пожалуй, единственное, что она поняла в часы сражения. Одышка, ломота в суставах, да и гнуться тяжело... Плохо, очень плохо... От усталости едва переводила дух, но время незаметно пробежало. Вот те на — обед!

Надзиратель протянул миску с холодным борщом и ломоть хлеба. В миске плавал кусок мяса — такого чуда она в Крестах не знавала.

— А вилка? Нож? — Людмила Николаевна поддразнивала надзирателя.

Надзиратель молчал. Людмила Николаевна сердито сдвинула русые брови и закончила обед. Проскрипел засов — это ушел надзиратель. Что ж! После трудов праведных пора и на боковую. Она легла на кровать, но спать не пришлось. В стену застучали. Да, да, по тюремной азбуке. Она приподнялась на локтях и недоуменно уставилась на дверь. Нет, стучали у изголовья, стучали из соседней камеры. Быстро. Умело. Кто-то из старожилов. А если... Обычно она не отвечала на стук: и в Бутырках и в Крестах частенько подсаживали провокаторов. Но здесь, в крепости...

— Кто вы? — вопрошала стена.

— Дво-рян...

Стучала Людмила Николаевна неловко. В Крестах переговаривались через ватерклозет.

Неизвестный не дослушал ее:

— Ваше имя? Фамилия?

— Надежда Ивановна Дворянкина.

— Спасибо, а мне показалось, вы о происхождении не забываете даже в крепости.

Незнакомец стучал виртуозно.

— Нет, я не так тщеславна.

— Кудрин Иван Васильевич... В крепости третий год. Дежурный надзиратель туговат на ухо: стучите смелее.

— По какому делу? — поинтересовалась Людмила Николаевна.

— За сожжение чудотворной иконы.

— Повторите, пожалуйста.

— Да, не удивляйтесь — за сожжение чудотворной иконы.

— Странно и непонятно... Почему сожгли? Нет логики.

— Я — принципиальный враг порядка, принципы разрушаю и никакой логикой не руководствуюсь.

— Анархист?

— Да, анархист. У нас в Казани, наверняка слышали, есть женский монастырь. Славился он чудотворной иконой Казанской божьей матери. Святость... Поклонение... Народ собирался со всей матушки-России. А монастырь деньгу огребал лопатой. В монастыре я бывал частенько, удивлялся. Кругом золото, а на коленях нищие, юродивые, обездоленные — все ждут чуда.

— Народ в чудеса верит охотно...

— Эта слепая вера и возмутила меня. Покорное стадо, а не мыслящие индивидуумы. Я решил всем доказать, что чудес нет. В воскресный день еще на паперти начал вещать правду: коли икона чудотворная, то надругательства не допустит...

— Ну и далее...

— И сейчас настаиваю на этом: коли чудотворная, так уж себя бы защитила в первую голову. Во время службы я пробрался через толпу, хотел сбросить икону — не удалось, а вот сорвать ризу, шитую жемчугом, удалось. И что ж? Икона в руки нечестивца далась... Вот только монахи из охраны...

— Из охраны?

— В том-то и дело — чудотворную икону охраняли и денно и нощно. Меня не хватила падучая, не отсохли руки, а попросту избили верзилы-монахи... А потом кинули кликушам да юродивым.

Людмила Николаевна недоуменно передернула плечами: безрассудно и трагично — бунтарь, решивший доказать толпе свою правоту, и монахи, бросившие этой толпе человека на расправу.

— Били меня много и со вкусом... Да хорошего мнения о толпе я и не был... Лишний раз убедился, что только герои способны изменить общественное устройство.

— Об этом после...— Людмила Николаевна подивилась мешанине, царившей в голове своего соседа.

На этот раз стена разразилась стихами:

...Жалкий человек!
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один воюет он. Зачем?

Стена помолчала и опять повторила:

— Зачем? Зачем?..

Людмила Николаевна от спора воздержалась. Но это «зачем» потом долго ее преследовало.

— В монастырской келье пришлось повидать такое, что представить трудно. Она смахивала на развалившуюся конюшню — сырая, вонючая... В подземелье, куда бросили меня духовные отцы, цепью был прикован человек! Это-то в наш просвещенный двадцатый! Средневековье!

— Что он сделал?

— Подумать страшно... Несчастный из старообрядцев. В селах ждали перепись населения, и монахиня Серафима, имевшая влияние на мужиков, объявила, что наступил Страшный суд... Призвала в переписи не участвовать, а принять мученическую кончину. Сектанты отпели чин погребения и в холщовых рубахах легли в яму, а потом эту яму замуровали кирпичом. Замуровал-то мой сосед!

— Ужас...

— История поразила меня. Каменщик стал мне отвратителен, я даже отказывался подавать ему воду. Потом пожалел... Конечно, настоящий анархист жалости не должен иметь, но так несовершенен человек. Мой сосед громко сетовал, что не попал в царство господнее. Вместе с односельчанами он замуровал жену и двух своих дочерей... О дочерях тосковал, хотя и скрывал это, твердил об их счастье... Мы спорили, и когда я отнял у него эту веру, то бедняк лишился рассудка. И еще раз я убедился, что обязан уничтожить веру в идолов, богов, вернее, обязан раскрепостить человека.

— А ваш анархизм? — Людмила Николаевна саркастически улыбнулась.

— Это не противоречит анархизму, да и анархизм каждый понимает по-своему.

— Интересно, впервые слышу эдакое толкование...

— Посидите в Петропавловке несколько годков—не то услышите. Родители мои, известные на Волге богачи, выкупили меня из монастырской тюрьмы. «Ребячество... Шалость...» Теперь я уже знал, что делать: университет бросил и махнул в Саратов. Слышали, очевидно, про большой монастырь, там еще икона «нерукотворный образ спасителя». Ходил-ходил, пока не сдружился с местным сторожем. Враль и пьяница безбожный. Теперь я действовал осторожно, как подлинный злодей: днем молился с голытьбой, а ночами пьянствовал со сторожем. Случай подвернулся, икону я выкрал.

— Выкрал? Какая-то мания...

— Не мания, а сознательное действо: тот фанатик, прикованный цепью, мне покоя не давал... Подумайте, детей родных умертвил! Икону я сжег, как полено, а жемчуг и камни бросил толпе, собравшейся на паперти. Чуда не случилось и на этот раз — остался жив и невредим, если не считать трех ребер.

— Странный способ борьбы!

— Каждый выбирает способ самостоятельно... Зря иронизируете, я ведь доказал: авторитетов нет, а чудеса — выдумка!

— Вас судили?

— Что захотели! Такие дела церковь не предает гласности: икона-то сгорела, а, кажись, слыла чудотворной... Опять оказался я в монастырском подвале. Били батогами до полусмерти, но в корысти обвинить не могли — камни и жемчуг на паперти. Монахам главное — деньги! Похитители икон камни продают ювелирам, а я действовал идейно...

— Слово не из вашего лексикона.— Людмила Николаевна натянула одеяло на подбородок.

— Если я сокрушаю понятия, то при чем здесь слова? Но монахи не так просты, как думается. Какой-то живописец намалевал «нерукотворный образ спасителя», мазню обсыпали драгоценностями, и загуляла молва: икона возродилась... Кровь стынет от обиды...

— Вот и результат... А вы жизнь искалечили...

— Нет, я не тужу. Народ видел, как горела икона... Горела... Горела... Но монахи-то прохвосты! Уголовники! Меня начал увещевать епископ, а я плюнул ему в лицо... Избили и перевели в Петропавловку... Теперь надолго...

Людмила Николаевна жалела Кудрина, но ответить не успела. В дверях стоял жандарм, а к койке бросился надзиратель. Яростный. Возмущенный. Лицо в пятнах:

— В карцер... В карцер...

РОЗОВЫЙ ДОМ

Старший надзиратель ввалился в неурочное время и бросил узел с вещами. Людмила Николаевна, привыкшая к молчанию, вопросов не задавала, но заволновалась. Переводят в Кресты? Отправляют в ссылку? Допрос? Нет, от допросов отказалась... Впрочем, зачем гадать? Быстро нагнулась и, чувствуя, как кровь прилила к щекам, натянула ботинки. Закутала голову шерстяным платком, запахнула пальто и выжидательно посмотрела на старшего надзирателя. Тот подкрутил длинный ус и направился к двери.

Тюремный дворик, где она бывала на прогулках, утонул в снегу. Лишь тропинка вокруг бани протоптана. Ба, пятна крови, совсем свежие! Значит, кого-то больного выводили на прогулку.

Дежурный офицер что-то тихо приказал караульному солдату. Тот козырнул и оттащил засов калитки, раскрашенной в черно-белую полосу. Вот и Монетный двор, радужный желток среди угрюмых стен. Липы, согнувшиеся под тяжестью снега. Голуби. Сизые. Нахохлившиеся. Красные глаза и красные лапки на снежном насте. Красотища-то какая...

Арестованная продвигалась неуверенно, едва поспевая за дежурным офицером. Ноги скользили на дорожках, прихваченных льдом. От яркого солнца, морозного воздуха кружилась голова и как-то предательски дрожали ноги. Она боялась упасть, боялась выказать беспокойство.

У комендантского дома, розового, нарядного, дежурный офицер обмахнул веником валенцы и, позвонив, толкнул дверь. «Разумеется, предупреждает во избежание нежелательных встреч»,— неприязненно подумала женщина, поднимаясь на парадное крыльцо. И опять, как и в первый день прибытия, жандармы отвернулись к стене. Порядочки-то те: лица узреть не моги...

Людмилу Николаевну провели налево. Комната светлая, просторная. Портрет государя императора над столом. Старинный книжный шкаф. Мягкие кожаные кресла. Ширма зеленого штофа. Солнечные зайчики на ковре. В камине по-домашнему потрескивали дрова, заливая решетку радостным светом...

Она подняла глаза и отступила, увидев себя в зеркале. Бог ты мой! Постарела-то как! Припухшие глаза. Скорбный рот. Да и одета отвратно. Грязный серый платок, подарок Красного Креста. Пальто болталось на плечах — похудела за это время,— да и потрепано изрядно... Да-с, видик!



Нарядная, приветливая комната после долгих месяцев каземата смущала и тревожила. «Что ж, начало неплохое,— угрюмо усмехнулась женщина.— Посмотрим, что заготовлено далее...»

Из-за ширмы выплыл жандармский полковник. Щеголеватый. Надушенный. Щелкнул каблуками. Приветливо наклонил красивую голову. Показал на стул.

— Как сильно изменились, Надежда Ивановна,— сокрушен-



но заметил полковник, окидывая женщину сочувственным взглядом.— Шестой месяц в крепости... Ай-ай...

Людмила Николаевна молчала, ожидая подвоха. Казалось, полковник не замечал ее недружелюбия и настороженности. С улыбкой позвонил, с улыбкой расставлял на чайном столике чашки, сахарницу, булочки. Более того, деликатно молчал, давая возможность освоиться и с нарядной комнатой, и с солнечным светом, и с пахучим чаем. Нет, полковник определенно не

видел, как ее, отвыкшую от привычных удобств да и просто от человеческой речи, била нервная дрожь.

Полковник заботливо придвинул стакан крепкого чая, положил щипчиками сахар.

— На дворе мороз... Думаю, от горячего не откажетесь.

И опять во вкрадчивом голосе сострадание. Отец родной, и только! Людмила Николаевна не притронулась к чаю, на булочки боялась смотреть. Сидела молча, упираясь в спинку кресла.

— Надежда Ивановна...— Полковник позванивал ложечкой о тонкий стакан.— Впрочем, мне не хочется называть вас вымышленным именем... Голубушка, прекратите эту недостойную игру. Полтора года тюремного заключения... Из них эти тяжелые месяцы Трубецкого бастиона...

— В Трубецкой бастион, как и в Кресты, я попала не по собственной охоте,— презрительно сощурила серые глаза Людмила Николаевна.

— Безусловно, безусловно...— Полковник мягко улыбнулся, превратив ее слова в шутку.— Так помогите следствию!

— Помощницы из меня не получится.

— Почему так категорично? Молодая женщина... Красивая... Богатая... Конечно, вы в некотором роде феномен, и жизнь вам суждена долгая.— Полковник растянул губы в улыбочку и многозначительно замолчал.

— Долгая?

— Весьма... весьма... По паспорту значится более пятьдесят, а на вид никак не более тридцати...— Глаза сверкали от удовольствия. Полковник наслаждался и смущением арестованной, и внезапностью удара, и самой элегантной фразой, которую придумал задолго до начала допроса.— Разумеется, человек вы в искусстве косметики многоопытный... Парижская школа!

Людмила Николаевна насторожилась. Париж? Тридцать лет? Значит, докопались—установили ее пребывание в Париже, арест на станции Граница с транспортом «Искры», ссылку в Сибирь, а там и побег... Докопались... Теперь будут играть в кошки-мышки... Она зевнула, прикрыв рот ладошкой.

— Людмила Николаевна Заславская...— Полковник наслаждался произведенным эффектом и, перегнувшись через стол, не отрывал пытливых, изучающих глаз от заключенной.— Член Петербургского комитета РСДРП... Искрячка... Организатор за Невской заставой...

И тут арестованная рассмеялась. Тихо, беззлобно... «Искрячка... Искрячка... Искрячка...»— выстукивал ей Кудрин в часы

долгих споров, а теперь ее так величает жандармский полковник, столь гордый произведенным дознанием.

Полковник от неожиданности растерялся. Смех... Странно. И все же решил не замечать этого обидного смеха.

— Вы происходите из состоятельной семьи. Дочь фабриканта подрывает основы частной собственности! Нонсенс! Нонсенс! — На холеном лице полковника искреннее недоумение.— Да и какое вам дело до этих униженных и оскорбленных?

— Честному человеку дело до всего бесчестного. «Униженные, оскорбленные»! — В голосе Людмилы Николаевны неприкрытая ирония, серые глаза потемнели от гнева.— Вы плохо политически подготовлены, и поэтому спора интересного не получится: основы собственности подрываю не я, а тот самый фабрикант, который ворует у рабочего львиную долю заработанных денег.

— Иными словами — ваш отец?

— «Отец, отец»! Исторический процесс не изменить... Будущее за представителями класса неимущих...

— Людмила Николаевна, голубушка! Вам же открыты все радости земные.— Полковник подумал и мягко заметил: — Пожалейте, наконец, стариков... Из одной тюрьмы в другую... Скитания... Побеги... Чужие паспорта... Да и какое вам дело до мировой скорби?

— Пустой разговор — я действую по убеждению!

— Вот это-то и страшно. Деятельность социал-демократов, одной из ярких представительниц которых вы являетесь, подрывает основы государства.— Полковник прошелся по кабинету. Слова подбирал тщательно, будто взвешивал на ладони.— И вы, как личность, подрывающая государственные основы, подлежите суровому наказанию... Ваша разрушающая деятельность...

— Если моя деятельность способствует разрушению общественного строя, то, значит, этот строй несет в себе зародыши разрушения. Усилия личностей не так страшны, если бы разрушение не лежало в основе существующего строя,— не понимая его волнения, отвечала Людмила Николаевна.— На общественный строй из-за неравенства, политического бесправия и нищеты замахнулся рабочий класс... И строй этот рухнет... Рухнет безусловно.

Полковник прищурил глаза, задумчиво протирая стекла пенсне. Помешал дрова в камине. Огонь гудел, язычки пламени лизали каминную решетку. Наконец приблизился к Людмиле Николаевне и с сожалением сказал:

— Вы намного опаснее, чем я предполагал. Я верил в здравый разум, верил в разумный эгоизм, верил в происхождение и воспитание — они-то должны были помочь удержаться на краю бездны... Но теперь...

— Не трудитесь взывать к струнам сердца... Враг действительно убежденный и законченный.— Людмила Николаевна откинулась в кресле и глухо спросила: — Почему меня содержат в крепости? Отчего нарушаются юридические нормы и по сей день не предъявляется обвинение?

— Не беспокойтесь, обвинение предъявят — в бродяжничестве...— Полковник курил, голубоватые кольца дыма поднимались вверх.— Кое преступление по статьям Уложения о наказаниях карается сроком до пяти лет каторги.

— Чепуха... Бродяжничество не сможете доказать — меня взяли с паспортом, я имею прописку, место жительства... Бродяжничество? Вернее, мне не дают возможности жить в столице! — Людмила Николаевна комично развела руками. Она уже освоилась и с этим лощеным полковником, и с его отеческим тоном, и с этой нарядной комнатой.— Очевидно, придется жалобу подавать.

— Паспорт... Прописка...— Полковник с сердцем захлопнул папку.— Паспорт фальшивый, а если не фальшивый, так чужой. Назвать себя отказываетесь с редкостным упрямством. Ваша работа в Петербургском комитете РСДРП охранному отделению известна. Разговор ведется, как понимаете, неслучайный — чистосердечное признание помогло бы следствию и способствовало бы смягчению вашей участи.

— Смягчение участи? Обычное изуверство...— Людмила Николаевна сердито сдвинула русые брови.—Так почему меня держат в крепости? Ни на один из моих запросов не последовало ответа Жандармского управления...

— Все после выяснения личности! — Голос полковника звучал резко, потом, как бы спохватившись, полковник дернул звонок.

Людмила Николаевна слышала, как приоткрылась дверь, но головы не повернула: конечно, новый подвох. Чьи-то робкие шаги, и медоточивый голос полковника:

— По-прошу подойти ближе... Зайдите с этой стороны... Не торопитесь с ответом... И еще раз предупреждаю: за ложные показания подлежите строгой уголовной ответственности.— Полковник помолчал и с нарочитым участием сказал: — Надежда Ивановна, взгляните на вошедшую.

Людмила Николаевна подняла глаза. Господи, да это же Лиза! Родная кровинка! Сестра! Лицо залито нервным румянцем. По щекам катились крупные, как горошины, слезы. Она в волнении расстегнула беличий воротник и комкала носовой платок. Лиза! Лиза! Почему она в крепости? Привезли для опознания из Екатеринослава... Негодяи... Негодяи...

— Вам знакома арестованная? — Полковник приподнялся на носках сапог.— За правильность отвечаете по всей строгости.

— Нет, я не имею удовольствия быть знакома с этой женщиной.— Лиза закусила нижнюю губку и, отчужденно скользнув глазами по лицу сестры, повторила: — С этой несчастной женщиной...

— Засвидетельствуйте это письменно.—Полковник вынул из папки бумагу и положил на стол.— Засвидетельствуйте!

— Да, да, конечно...— Лиза заспешила, чтобы закончить эту утомительную формальность.— Подскажите, как это делается.

Людмила Николаевна сидела в каком-то странном оцепенении: неприятный разговор, потребовавший так много сил; сознание, что следствие прибегает к обычной уловке, шантажируя и ошеломляя своей осведомленностью, и, наконец, столь нежданная встреча с сестрой, готовой дать ложные показания ради ее спасения,— все казалось кошмарным сном. Она решила молчать, но этот ловкач на ее глазах стряпает дельце на сестру...

— Лиза, милая!—Людмила Николаевна перехватила сестру, заключила в объятия.— Как же ты не узнала меня? Девочка...

— Полноте... Полноте... Я не знаю эту даму.— Лиза посмотрела на полковника и отстранилась от Людмилы Николаевны.

— Не знаете? — прогремел полковник.— Так-таки и не знаете?

— Успокойся, моя дорогая...— Людмила Николаевна почувствовала странную слабость, прижавшись к сестре и ощущая тепло ее маленькой руки.— Господин полковник, сестра опознала меня. Дело не следует заводить, пользуясь неопытностью. К тому же узнать родного человека после ужасов Петропавловки не так-то просто — из крепости выносят...

— Помолчите...— Полковник с каким-то ожесточением бросал фразы: — Ваша сестра не узнала вас сегодня... Вчера она не удосужилась признать вас на фотографиях, предъявленных следствием... Родная сестра!

— Условия, унижающие человеческое достоинство, способны изменить любого,— гневно парировала Людмила Николаевна.— За эти полгода я сама не узнаю себя...

— Вполне достаточно об условиях крепости...— с неудовольствием заметил полковник.— Если так будет продолжаться, вынужден прекратить свидание.

— Свидание? По-моему, очную ставку... Вам эта комедия более необходима.

— При изустном объяснении фотографии не опознаны. Создается впечатление, что ваша сестра преднамеренно вводит в заблуждение правосудие, кое преступление карается законом.

— Окажите любезность... Разрешите взглянуть на эти фотографии.— Людмила Николаевна сжала руку сестры, приказав ей молчать: она-то лучше объяснится с дошлым полковником.

— Пожалуйста! — буркнул полковник и сунул карточки.

Людмила Николаевна начала их рассматривать, стараясь выиграть время и обдумать ответ: Лизе угрожала опасность, о степени серьезности она по неискушенности не подозревала. Вот они, тюремные карточки — серый бушлат с номером, ситцевый платок. Профиль... Фас... Тогда снимал хромой фотограф, он еще старался подольше подержать ее под горячими лампионами. Ба, а эта фотография незнакома — очевидно, моментальный снимок на прогулке в крепости. Волосы-то как растрепались от ветра, лицо почти закрыли.

— Нет, Лиза права — это не мои снимки,— невозмутимо ответила Людмила Николаевна и равнодушно положила пачку на стол.

— Ну и ну! — подивился полковник и, взглянув не без интереса на подследственную, положил пачку в дело.— Смелость города берет...

— Не понимаю, господин полковник! — вскинула густые брови Людмила Николаевна.— Подсунуть карточки, угрожать— не солидно!

— «Не солидно»! — хохотнул полковник, к которому вернулось хорошее настроение: находчивость этой женщины ему импонировала. В глубине души он считал себя продолжателем традиций Судейкина и принадлежал к породе следователей, предпочитавших умный психологический допрос. А в том, что арестованная «тонкая штучка», он не сомневался.— Не буду мешать встрече... Покину ненадолго... Посидите... Поговорите...

Полковник любезно поклонился и вышел, не прикрыв дверь.

— Какой милый... Хорошо, что все обошлось... Уж очень боялась подвести тебя, родная.—Лиза положила голову на плечо Людмиле Николаевне и, не замечая ее настороженного взгляда, призналась: — Для меня ты всегда права... Славная, любимая!

Околоточный еще вечером предупредил о явке в Главное управление... Перепугалась отчаянно и побежала посоветоваться к той самой женщине, с которой ты меня знакомила...

— Тихо... Тихо... Здесь стены подслушивают... Да... Да...— Людмила Николаевна крепко держала за локоть сестру и, желая переменить разговор, спросила: — Как жила? Мама здорова? Обо всем... Обо всем...

— Мама здорова, волнуется: почему тебя перевели в крепость.— Лиза овладела собой, выпрямилась и, как нахохлившаяся птичка, с вызовом закончила: — Нашли злоумышленницу! Как кормят?

— Отвратно... Условия жуткие — одиночка, сырая, темная. А недавно и карцер отведала...

Людмила Николаевна договорить не успела. Вошел полковник с озабоченным лицом. Недружелюбно взглянул на сестер, сидевших на диване. Сестры обнялись и, казалось, не замечали недовольных глаз полковника. Потом в камере Людмила Николаевна, старательно перебирая подробности встречи, никак не могла припомнить суть этого разговора — перед глазами стояла Лиза... Маленькая, кроткая Лиза.

— Да, условия в крепости ужасные,— неожиданно вмешался полковник и доверительно прибавил: — Как вы их выдержали? Каюсь, слаб человек — не выдюжил бы.

Людмила Николаевна едко улыбнулась и быстрым движением поправила седую прядь, выбившуюся из-под платка. «Седые волосы! — ужаснулась Лиза.— А лицо, лицо совсем прозрачное! Похудела-то как — кожа да кости!»

— Надеюсь, моя сестра будет переведена до окончания следствия в Дом предварительного заключения? — Лиза торопилась, боялась, что Людмила Николаевна помешает договорить.— Личность сестры установлена, и недоразумение ликвидировано. Не так ли?

— Все зависит от вашей сестры... Вернее, от разумности ее действий,— любезно наклонил голову полковник.

— Тогда мне из крепости не выбраться.— Людмила Николаевна поднялась, поцеловала сестру.— Распорядитесь, чтобы меня увели.

— Людмила!..— просительно протянула Лиза, и на глазах заблестели слезы.— Людмила!..

— Не одобряю... Не одобряю... Более того, жестоко...— Полковник сделал особое ударение на последнем слове и выразительно посмотрел на младшую сестру.— Людмила Николаевна,

вас ожидает ссылка в Якутскую область, а если будет доказан побег, то и каторга... Здоровье сильно расстроено, да и сами вы в крайности.

— До свидания, Лиза! Поцелуй мамочку!..

Полковник сокрушенно покачал головой и дернул звонок.

...Морозная пыль висела в воздухе. На Троицком мосту гулял ветер, забрасывая прохожих колючими снежинками. Около памятника Суворову стояла Людмила Николаевна. В руках крошечная муфта, ею при порыве ветра укрывала лицо. Декабрьским днем 1904 года она прощалась с Петербургом — истекли те три дня, которые ей предоставили на сборы. Сборы... Сборы... Скорее, на раздумье — дело закончено, и вместо ссылки, ожидавшей ее, по словам полковника, в Якутскую область, определили Вологодскую губернию. Лиза упросила полковника разрешить сестре добираться до места ссылки на свой счет. Полковник поломался, но разрешил — пребывание в Петропавловской крепости сказалось самым тяжелым образом. Проходное свидетельство в кармане, вещи собраны, Лиза готова ее сопровождать. Но... Людмила Николаевна раздумала отбывать ссылку. Опять заточение, оторванность от партии, опять жандармы — она уже все испытала. Оставался один путь — уйти в подполье. Лиза собирала теплые вещи, а Людмила Николаевна с осторожностью встретилась с товарищами и получила явку в Ярославль. Так самое разумное — добраться до Ярославля, чтобы не вызвать паники столичной охранки, и бежать, бежать. Товарищи предложили укрыться в Одессе, войти в комитет и взяться за дело. Конечно, риск большой: за второй побег — каторга без суда и следствия, но иного пути она избрать не могла. Правда, Лиза ей советовала прибыть в эту проклятую Вологду, немного переждать, отдохнуть, а там уж о побеге задуматься. И сама понимала разумность этих доводов, но так она тосковала от вынужденного безделья, так хотелось вновь окунуться в работу, что откладывать не смогла. Вот и ходит по любимому городу, в котором мало, до смешного мало, ей удалось прожить. В последний раз побрела вдоль набережной, с радостью вдыхая морозный воздух. К свободе еще не привыкла, все слышатся осторожные, крадущиеся шаги, преследования... А может быть, ее и не оставляют без наблюдения? Скорее всего, следят. Женщина невольно замерла напротив Петропавловской крепости. С немым равнодушием сверкала золотая игла Петропавловского собора, раздавался грохот пушек со стен Нарышкина бастиона... Ничего не изменилось... Ничего? Нет, многое, многое...

ПИСЬМО

«После событий 9 января я попала на партийную работу в Одессу. Однажды на заседании был поднят вопрос о полном провале большевистской организации в Николаеве и было решено послать одного из членов Одесского комитета... На заседании он не возражал, но на другой день является к секретарю на явку и отказывается ехать. У меня тогда создалось такое впечатление, что он боится ехать потому, что в Николаеве были систематические провалы. Комитет решил послать Соню Лазуркину, которая недавно приехала из Женевы. Соня работала в Одессе как пропагандист. Тогда я согласилась поехать, ибо считала, что для восстановления комитета Соня еще слишком молодой и недостаточно опытный член партии. Мне дали явку, и я выехала в Николаев. Приехав, я сейчас же связалась с семьей Семена Шварца, с его сестрой Полей и через них получила адрес матери одного из членов Николаевского комитета. Я пришла к ней: это была простая, совершенно неграмотная женщина. Она ни с кем не могла меня связать. Уезжая из Одессы, я взяла у Дария, члена Одесского комитета, адрес его родственников Блюмберг. Это помогло мне обставить легально свой приезд, а Фани Блюмберг после соответствующего воспитания стала нашей хорошей помощницей. Старшая сестра Фани была замужем за человеком, имевшим хлебную экспортную контору в Николаеве. Он помогал потом комитету деньгами. Благодаря тому, что я попала в такую мещанскую среду и получила урок французского языка, я появилась в Николаеве как легальный человек. Это помогло тому, что после четырех месяцев работы, когда я была арестована, выяснилось, что за мною совсем не следили, полиция не могла даже установить, где я жила. Работать вначале было трудно: комитету нужны были квартиры для собраний, явок, средства, а обыватели сочувствовали меньшевикам. Попытки связаться со слободкой были вначале неудачными — я как-то никого не заставала дома, а осторожность надо было соблюдать большую, чтобы не провалиться с самого начала. Приехала я в Одессу за дополнительными связями. И вот здесь у «Дяденьки» (Книпович) — секретаря Одесского комитета — на явке я застала т. Захара. Он согласился поехать в Николаев. Ему, как рабочему человеку, легче и удобнее бывать в рабочих кварталах, и связь с николаевским активом быстро наладилась...

Как же мы начали работать? Я думаю, что не будет большой ошибкой, если скажу, что в марте пятого года комитет состоял

из трех лиц. Мы еще не назывались комитетом, но фактически от нас исходила вся инициатива в работе. И сама атмосфера пятого года, тот подъем рабочего движения, который был во всей России, несомненно отозвался и на николаевских работниках. Николаевские рабочие были очень революционно настроены, и нужно было приладить от мотора приводной ремень, чтобы колесо быстро завертелось и дало большие результаты.

Не помню, когда появился т. Поликарп (Вольдемар Карлович Кюнцель — сын генерала), но мы его очень ценили и оберегали. Не позволяли ему приходить к нам. Он вел почти всю пропагандистскую работу и кое-что писал. Вскоре мы приступили к организации типографии. Мы ее организовали самым примитивным путем, используя типографских рабочих, которые таскали шрифт у своих хозяев. Сшили узкие полотняные мешочки и обвязали их вокруг талии под платьем. Это наиболее безопасный способ переноски шрифта, так как он очень тяжел. Когда шрифта было достаточно, был поставлен вопрос о руководителе типографии, о квартире. Нехамкин, типографщик и активист, был намечен для этой ответственной и тяжелой работы. Мы заставили его засесть в типографию. Это было для него большой жертвой. Он поставил нам условие, чтобы в определенные дни к нему приходили на специальную явку члены Николаевского комитета и информировали его обо всех происходящих событиях.

В этой типографии мы печатали воззвания большим тиражом (от 2 до 7 тысяч), отзываясь на важнейшие политические события. Изданы воззвания были очень хорошо. Характер их большевистский. Между прочим, одна из прокламаций заявляла от имени комитета и николаевского пролетариата, что они не допустят готовившегося еврейского погрома, о котором говорили буквально на всех улицах Николаева. Мы укрепили боевые рабочие дружины, дружины обороны, и погром не состоялся...

Подготовку к 1 Мая мы начали своевременно, выпустили воззвание. Но собрание актива перед 1 Мая не могло состояться, потому что полиция нагрянула, чтобы нас арестовать, но никто не провалился. Победа над полицией была одержана благодаря вооруженной силе, согласно решению комитета охранять это собрание боевиками — были расставлены дозорные, через которых мы своевременно дали знать собранию. Дело было так: когда я и т. Глеб вошли в сад, чтобы пройти на собрание, мы натолкнулись на пристава и околоточных, которые не обращали на нас никакого внимания, так как мы изображали влюбленную пару и одеты были по-буржуазному. Полиция что-то пронюхала.

Мы сообщили ближайшему патрулю, что надо расходиться, тот следующему. Собравшийся в овраге актив начал расходиться. Подходил большой наряд полиции, но боевики выстрелами в воздух держали полицию на приличном расстоянии и дали возможность всем скрыться. Скрылись и мы...



Работа в комитете была большая: она росла и захватывала. Приходилось поддерживать связи, проводить по районам собрания и массовки, собирать средства, писать и редактировать воззвания, и, кроме того, я вела пропагандистскую работу. Каждое воскресенье я ездила за город на остров и там вела пропаганду среди солдат. Однажды я заявила: «К вам в следующий раз придет другой товарищ». Их организатор, высокий красавец матрос, настойчиво убеждал меня не оставлять кружка, так как, по его словам, «присутствие женщины облагораживает».

Он вел большую работу на своем линейном корабле: организовывал кружки, связывал их с комитетом, носил матросам прокламации и нелегальную литературу и много беседовал с матросами.

Накануне 1 Мая — он уже был провален — ему нужно было помочь бежать из Николаева...

Проводилась работа и с солдатами. Мы энергично завоевывали армию на сторону пролетариата.

Николаевский комитет руководил также экономической борьбой рабочих. Бастовали ремесленники, булочники, типографские рабочие, табачники, не говоря уже о крупных металлургических заводах. Мы выступали на собраниях забастовщиков, вырабатывали их требования, избирали стачечные комитеты, издавали листовки, большей частью на мимеографе.

Что касается посылки делегата на III съезд, то я очень хорошо помню, что мандат мы послали тов. Воровскому, который в 1904 году работал в Николаеве. Из Одессы приезжал к нам



Дарий за мандатом. Когда я рассказала об этом Дяденьке — Лидии Книпович,— она много смеялась и говорила: «Очень тебе нужно им давать мандат, ты сама можешь поехать». Но я не могла бросить бурно растущую работу, которая только налаживалась.

С Одесским комитетом был согласован вопрос о посылке мандата т. Воровскому; мандат т. Ленину был послан Одессой, как организацией, которую никто не будет оспаривать...



В июне мы получили от Одесского комитета письмо с просьбой поддержать восстание на «Потемкине» и всеобщую забастовку одесского пролетариата. Но у нас забастовка на крупных заводах началась раньше, чем разыгрались потемкинские события. Забастовка носила политический характер. Рабочие со своими требованиями демонстративно прошли по Соборной улице. Анархист Козлов бросил бомбу в полицмейстера...

В Николаеве в связи с восстанием на «Потемкине» и поли-

тической забастовкой было объявлено военное положение и начались массовые аресты: товарищей хватали на улице; Сафронов и Чигирин были тогда сразу взяты; т. Захар случайно избежал ареста и поспешил уехать, чтобы его не арестовали. Я тоже должна была уехать, но осталась в ожидании смены из Екатеринослава. В это время я уже встречалась с товарищами другого ранга, то есть более слабыми организаторами — не членами комитета. И вот однажды мы собрались в бухте. На этом собрании меня арестовали, как потом выяснилось, по доносу одного из рабочих. У большинства из нас были револьверы, но мы должны были их бросить. Нас арестовали 30 июня и посадили в участок.

Обидно было в такие дни сидеть за тюремной решеткой. Я разработала план побега из участка и, несмотря на протесты товарищей, решила бежать. Нас водили гулять всех вместе большой компанией, следил за нами только один дежурный полицейский, и мне удалось, переодевшись, скрыться со двора участка. Но потом я попала в тяжелое положение. Когда я приходила к кому-нибудь из сочувствующих, они встречали меня со страхом. Помню, т. Верхотурский прямо побледнел, когда я к нему пришла, но я ему сказала: «Не бойтесь, я не прошу у вас приюта, достаньте деньги и передайте их Фани. Пусть она купит мне билет и привезет вещи на вокзал». Это было большой ошибкой с моей стороны: надо было спрятаться среди рабочих на слободке и переждать некоторое время, а я поехала на вокзал в день побега и вот тут-то за две минуты до отхода поезда меня узнали. Когда я уже сидела в вагоне, переодетый полицейский подошел ко мне и говорит: «Вы арестованы». Я стала протестовать, публика встала на мою защиту, и, может быть, все окончилось бы благополучно, но в это время подошла Фани, которая принесла железнодорожный билет и квитанцию на багаж. Боясь, что ее арестуют вместе со мною, я бросилась бежать. Вот тут-то меня схватили и под конвоем и с шашками наголо привезли в тот же участок. Околоточный удивился: «Какая же у вас большая организация, если побег организовали в несколько часов...»

Через месяц или полтора меня выслали с огромной партией рабочих из Николаева. Высылалось много рабочих, а также руководители большевиков и меньшевиков. Нас провожали с красными знаменами и пением революционных песен. Через весь город шла огромная толпа, которая все увеличивалась, и только у вокзала толпу стали разгонять...»

...Нахмурившись, Людмила Николаевна отложила перо. Рассеянно перечитала. Мысли были далеко, там, в Николаеве. Припомнила милую Фани. Тонкую, как струнка, с черными глазами. Как-то она теперь? Арестована? Нет? Встретятся ли они на большом и трудном пути, что зовется жизнью?!

Она сидела в крошечной комнате и сочиняла письмо при свете керосиновой лампы. Писала легко, увлеченно, а теперь удивлялась — письмо-то громаднейшее! Шифровать-то как? И у письма путь долгий, как и у жизни,— через границу, в Финляндию. А там... Кто знает, где это письмо отыщет адресат, известный столь немногим. На столике чернильница, наполненная молоком, острое перо. Вот только еще разок проверит, тогда и можно шифровать. Имена из письма уйдут, пожалуй, так надежнее — даже шифрованному письму нельзя доверять слишком много.

За окном ночь. Сиплые гудки паровоза. Сонный Курск, куда ее выслали под гласный надзор полиции. Людмила Николаевна приводила свои дела в порядок, готовилась к новому побегу.

Москва манила, как далекая звезда, манила и звала работа, о которой она тосковала в дни вынужденного безделья...

ЗИНАИДА КОНОПЛЯННИКОВА

Знойный август. Воздух раскаленный. Удушливый. В зелень березы вплетается желтыми косами сухой лист. И после полудня спасения нет от жары. Небо безоблачно. Лишь с запада набежит, крадучись, тучка, захватит край солнца и уползет, испугавшись собственной смелости. Вот и палит солнце, бросая на землю слепящие лучи. Август...

Спешат из города петербуржцы. В этом «каменном мешке» дышать нечем. Даже Нева не спасает. Раскаленные мостовые да пропыленные тротуары. Дачники заполнили пригород. После каменного пекла любо-дорого побывать в зеленой рощице да побродить под сенью вековых петергофских парков. Воздух другой, море накатывает свежесть. А уж когда заговорят фонтаны, когда в солнечных лучах миллионами разноцветных искр рассыпаются струи воды, когда с мола открывается безбрежное синее море, да по каналам журчит прохладная вода, и в тиши беседок, заплетенных разлапистым плющом, можно посидеть на холодной замшелой скамье, то и жизнь веселее кажется.

В деревне Луизано, что рядом с Петергофом, от дачников

отбоя нет. Хозяйка Мосолайнен, румяная, круглолицая, минутки свободной выбрать не может: дачники и в доме, и во флигельке. Важные господа. Правда, с дачником, снявшим во флигельке боковую комнату, повезло. Степенный. Рассудительный. Из позолотчиков. Среднего роста. Темные волосы с проседью. Аккуратная бородка и усы. Одет в синюю косоворотку, голову прикрывает соломенной шляпой. С виду крепкий мужчина, а легкие слабые. Доктор прописал свежий воздух. Доктор-то попался бестолковый. Больному человеку посидеть у моря спокойно не дает — все за какими-то микстурами да пилюлями приказывает приезжать в город. С болезнью шутить нельзя — не посмотрит, что с виду здоровяк, скрутит, ей-богу, скрутит. Мосолайнен — финка и с русским языком не в ладах. Но с постояльцем любит поговорить. Сядет на скамеечке, и потечет беседа. Постоялец газетку отложит и, мягко посмеиваясь над ее ломаной русской речью, сказывает о разных разностях. Уважительный, достойный человек. Хозяйка ему норовит крыночку парного молочка. Лесли ее несравненная с утра до ночи в заливных лугах пасется. Молоко доброе, жирное. Недаром генеральша Мин приказывает через кухарку присылать по большому кувшину.

Генерал Мин снимает дачу напротив, в доме Асмуса, № 13, по Луизанской улице. Дача огромная, но в низине. Из флигелька как на ладони видно все, что на генеральском дворе делается. Видно, как на качелях сидит барышня, дочка генерала. Худенькая. В локонах. Видно и генеральшу Екатерину Сергеевну. Неряшливая. Сердитая дама. Целый день в чепце бегает да ругает громким голосом прислугу. Без чепца ее можно увидеть лишь в субботу, когда генерал из Красного Села, где находится лейб-гвардии Семеновский полк, приезжает к семье на воскресный день. И опять из флигелечка все как на ладони — генерал с красной загорелой физиономией играет в шашки с телохранителем. Телохранитель ни на шаг не отходит от Мина, тянется как нитка за иголкой. Смешливая Мосолайнен попробовала узнать, за что такое наказание генералу — дома и то под стражей. Муж сердито оборвал: «Не твоего ума дело!» Ночью в кровати сказал шепотком: генерал-то подавлял московское восстание. Черное дело... Лютовал, как дикий зверь, а теперь боится расплаты. Вот государь-батюшка и приставил к нему стража. Страж этот сунул нос к ним на дачу: что, мол, здесь за люди? Только хозяйка показала от ворот поворот — люди все честные и на чужое не падкие. Страхов, ее постоялец, громко смеялся, когда она, раскрасневшись от волнения, рассказала о незваном

госте. Сам он от встречи с гостем уклонился: береженого бог бережет. Святая правда. Она, хозяйка, за всех в ответе. А Страхов в тот же вечер укатил в Петербург. Потом утречком ввалился — тумбочку привез, подушку и матрац. Хозяйка от возмущения всплеснула руками — словно нет у нее подушек... Но Страхов потрогал усы и признался: побоялся ее тревожить пустяками, и так без дела минутки не посидит.

Постоялец занавесил окно (никогда раньше этого не наблюдалось) и принялся вынимать вещи из матраца. Мужчина без бабьего ума как без рук! Сложил бы вещицы в корзиночку или сундучок и привез, ан нет... Безрукий, право, безрукий. А что принес — смех: книга да провода. После этого случая Страхов в Петербург перестал ездить: решил, мол, отдохнуть по-настоящему. К тому же хорошее место ему обещали через две недели. Мастер он первой руки, да работы-то настоящей не подвертывалось. Ничего, работа не медведь — в лес не убежит. Здоровье — главное счастье. Вот генерал Мин каждое воскресенье пудовыми гирями играет. Цветущий мужчина, а, поди, как о здоровье печется.

Страхов, которого она позвала поглядеть одним глазком на генерала, даже удивился. Как медведь на базаре дугу ломает. Только долго смотреть не стал: неудобно-с, генерал!

Страхов за последние дни изменился. Озабоченный, даже сутулиться начал. Сядет на скамеечку, газетой прикроется, а глаза-то такие рассеянные, печальные. Наверное, болезнь грызет. Хозяйка поначалу расстроилась, потом долго с мужиком своим смеялась — заботушка-то простая. У Страхова появилась зазнобушка. Девица лет двадцати семи. Невысокая. Худощавая. Лицо обыкновенное — круглое. Волосы черные, как воронье крыло. Одета в длинное пальто песочного цвета, а на голове даже платка не носит. Конечно, питерская! К постояльцу приходит с вязаньем. Сядет на скамейку рядом со Страховым да начнет шерсть разматывать. Руки ловкие, спицы звенят. Вяжет и молчит. Изредка словом перекинется со Страховым. Нелюбезная, а вот, поди, взяла человека за сердце — иначе зачем милую тащить из города? Мосолайнен не проведешь: знает толк в сердечных делах. И все же хохотушке Мосолайнен хотелось, чтобы у Страхова была бы возлюбленная повеселее да побойчее. А эта сидит сиднем, лишь на генерала Мина глаза пялит. Пяль не пяль, не тебе чета — генерал!

Страхов попросил, и хозяйка взяла столоваться женщину за десять рублей в месяц. Хлопот не много. Порцион подавала в

комнату Страхова, а лишние деньги не валяются на дороге. Теперь уж Софья Ивановна Ларионова, как приказал ее звать Страхов, не выходила из флигелька. Бог с ней, может, и сладится у них дело со Страховым. Мужчина в соку, да беда — болезнь...

В воскресенье, 13 августа, Софья Ивановна пришла рано утром. И опять не понравилась она Мосолайнен. Какие-то слова Страхову выговорила. Тихим шепотом. В глазах такая тревога, что сердце захолодело. Видать, важная кручинушка... Да и Страхов встревожился. Взял руку Софьи Ивановны и быстро заговорил. Лицо молодой женщины осветилось, и Мосолайнен впервые увидела, какая красавица эта Софья Ивановна! Глаза огромные, горят таинственным светом, как у далекой звезды. И умная, и добрая. Слов их беседы не поняла, говорили тихо-тихо, словно боялись, что могут услышать ненароком. Она-то знает эти секреты молодости, а все-таки полюбопытствовала. Взяла молоко, разлила по стаканам и понесла. Замолчали. По лицу Софьи Ивановны текли слезы. Незаметно пожала руку Страхова и по-женски беспомощно улыбнулась. Грех такую обидеть! Великий грех!

Они ушли из комнаты на скамью и опять сидели рядышком: он с газетой, а она с вязаньем.

На даче генерала Мина поднялась беготня. В беседке накрывали чайный стол. Солдат тащил самовар, а кухарка — блюдо с пирожками. Горничная расставляла чашки. Поставив самовар, солдат принялся ухаживать за кухаркой (эдакий охальник!), пребольно пощипывал ее. Горничная надулась и что-то грозила солдату. Хромой садовник внес плетеную корзину с вишнями. Сказывают, молодая барышня большая охотница до вишен. И опять кухарка, отбиваясь от солдата, раскладывала ягоды по блюдам.

Появились господа. Сначала генерал. За ним жена в кисейном платье. Дочка. Генерал веселый, похохатывал, бурно жестикулировал.

Отпили чай и всей семьей двинулись по Луизанской улице. Променад. Генерал-то тучный, конечно, без променада не обойтись. Улица утопала в зелени. Генеральская семья поравнялась с домом Мосолайнен. Хозяйка заискивающе улыбнулась и присела в глубоком поклоне. Не беда, коли не видят. Генерал! Наверняка направились в тот крайний дом, там мать генерала снимала дачу. Генерал — любящий сын. Всегда по приезде первым делом к матери идет. Сказывают, генеральша-то дуется.

Страхов и Софья Ивановна после ухода генерала Мина поднялись со скамьи. Стали прощаться. Хозяйка уговаривала Софью Ивановну посидеть до чая, но та, сославшись на головную боль, отказалась. И опять ей показалось: Страхов нарочно долго задержал в своей руке руку молодой женщины. Вот они, мужчины-то! Софья Ивановна осторожно приняла сверточек. Небольшой. Перевязанный красной лентой. Наверняка коробка конфет. Держала бережно, пальцы слегка вздрагивали. Знамо, подарок от милого дружка!

Последний раз в этот день Софья Ивановна забежала часов в пять. Сразу, как отзвонили настенные часы, предмет гордости Мосолайнен. Чай пила неохотно, размешивала ложечкой сахар, а в глазах — дума. На вопросы отвечала рассеянно. Да и странная какая-то — бледнела, краснела. Страхов молча курил. Хозяйка предложила сыграть в «дурачка» (до картишек великая охотница), но Страхов с таким удивлением взглянул на нее, что поняла — не быть картам.

Софья Ивановна одета тщательно, как никогда. Тонкая батистовая кофта в рюшках, дорогая юбка. Волосы по-модному зачесаны наверх и схвачены гребнем. Просидела недолго. Страхов подал ей песочное пальто и с нежностью поцеловал руку. Раньше такого не замечалось! Вот влезла в душу змея подколодная! Но если правду сказать, то Софья Ивановна хозяйке внушала уважение — была в ней скрытая сила и большое достоинство.

Возвратился на дачу генерал. Дочь прошла неподалеку от Мосолайнен, и было слышно, как она ссорилась с матерью. Генерал примирительно их успокаивал. В каждой семье свои заботы, даже если она и генеральская.

Софья Ивановна проводила соседей задумчивым взглядом. Хозяйка готова поклясться: к генералу дачница явно неравнодушна. Глаз не отрывала от его крупной фигуры. Зря, зря... Такой хороший мужчина попался, а она не о том думает.

Мосолайнен собрала на поднос грязные чашки, а Софья Ивановна встала со скамьи. Положила сверток в боковой карман (со свертком не расставалась). Поблагодарила за хлеб-соль и тихим голосом попрощалась. К ужину ждать не велела—вечерком пораньше завалится спать. От головной боли спасения нет.

После ухода Софьи Ивановны начал собираться в дорогу и Страхов. Хозяйка обомлела. Черный костюм. Галстук. Блестящий котелок, а через руку черное пальто. Франт столичный. Он также попрощался с хозяйкой. Решил уехать в Петербург: давно у доктора не был да и лекарства поизвелись.

Страхов закрыл калитку. Хозяйка собралась мыть посуду, но передумала. На даче у генерала Мина началась беготня, как всегда при вечернем отъезде. Адъютант орал на денщика, генеральша — на кухарку. Дочь, не обращая внимания на свистопляску, запряталась в цветник и почитывала книгу. Наконец генерал взял из рук телохранителя пальто. Теперь всей семьей поедут на станцию, чтобы к восьми часам добраться на поезд. Нужно не опоздать. Поезд на Санкт-Петербург отходил в восемь с минутами. В это время публики на вокзале много — кто встречал гостей из столицы, кто провожал. Дамы... Господа... Хозяйка любила глазеть на нарядную публику, наслаждаться вокзальной суетой. Она сняла фартук, накинула пальто с пелериной. Решила полчасика поторчать на вокзале — себя показать и людей посмотреть.

После знойного дня на вокзале чувствовалась прохлада. Солнце скрылось за верхушками деревьев и, устав от трудов, заливало станцию Новый Петергоф багровым отсветом. В безветренном воздухе доносилось шуршание фонтанов да шепот пристанционных лип.

Новопетергофский вокзал сверкал чистотой, в огромных каменных вазах — левкои, одуряющий, ароматный табак. Платформы выскоблены. Желтые дорожки вписаны в архитектуру пристанционных зданий.

Публики не много, но зато какая публика! Сердце хозяйки Мосолайнен замирало от благоговейного уважения. Она сидела на скамье около медицинской комнаты. Лениво плескался белый флаг с красным крестом. На перроне ораниенбаумской платформы жандармский унтер-офицер огромного роста. Заложил руки за спину. Выкатил грудь с медалями и застыл. «Монумент!» — восхитилась хозяйка. Ждал поезда на Петербург — к нему собиралась знать.

Узкой лентой сливалась железная дорога. Терялась в багровом закате. На противоположной стороне станции, на петербургской платформе, стоял также высоченный жандарм. Готовился осмотреть вагоны первого класса. Поезда приходили почти одновременно — ораниенбаумский и петербургский.

По перрону прохаживалась дама под руку с чиновником придворного ведомства. На мужчине сюртук и длиннополое пальто черного цвета. На черной фуражке кокарда на тулье. Дама в сером глухом платье и черной шляпе. Мода! Чиновник с

дамой переговаривались. Дама подносила к близоруким глазам лорнет и осматривала сидящих на скамье.

Хозяйка Мосолайнен заприметила на дальней скамье знакомого аптекаря Кюммеля. Тщедушный. Чахоточный. В прошлом году снимал комнату во флигеле, ту самую, в которой теперь поселился Страхов. Хотела пересесть к нему — Кюммель большой охотник до разговоров,— постеснялась. Дама каждого провожала злыми глазами. Кюммель приветливо приподнял красную феску. Чудак человек! Мимо Кюммеля прохаживался актер придворного театра. Эдакий громила саженного роста. В руках трость с набалдашником. Провожал гостью, кругленькую блондинку. Затянутая. Напудренная кукла. Актер жеманился, изрекал истины хорошо поставленным голосом, а дама картинно улыбалась. Актриса!

С актрисы не сводил глаз корнет Уланского полка. Сабля била по крепким ногам. Шпоры позванивали. Корнет курил и рукой отгонял дым, словно он мог коснуться дамы. Заигрывал.

К корнету подошел его товарищ. Заметил даму и, посмеиваясь, принялся рассказывать смачный анекдотец.

И вдруг на платформе появилась Софья Ивановна. Хозяйка не поверила своим глазам. Оказывается, не усидела дома. Шла медленно. Одета, как горничная из богатого дома. В своем песочном пальто, но без шляпы. На руках нитяные перчатки. На игривые замечания корнетов не ответила. Проплыла, не поднимая глаз. Походка ровная. Неторопливая. Дошла до конца платформы, постояла рядом с пристанционным жандармом и повернула обратно. И опять плыла, не обращая внимания на окружающих. Дама в черной шляпе вскинула лорнет, оглядела ее с ног до головы и что-то с улыбкой сказала чиновнику. Очевидно, Софья Ивановна услышала. Посуровела.

Хозяйка Мосолайнен хотела ее окликнуть, но не решилась — смутил ее взгляд Софьи Ивановны. Цепкий. Настороженный. Готова поклясться, Софья Ивановна видела ее, но не удостоила поклона. Хозяйка обиделась. Она-то думала: Софья Ивановна лежит с примочками, а она здоровехонька, по платформе разгуливает. В конце платформы стоял Страхов. И опять удивилась хозяйка: из дома ушел давно, а на поезд не попал! Страхов держался отчужденно. Более того, Софья Ивановна стала приближаться к нему, а он повернулся спиной. Софья Ивановна остановилась. Прикрыла рукой глаза — смотрела, не появится ли поезд из Ораниенбаума.

Зашуршал мелкий гравий. В экипаже подъехал генерал Мин

с семейством. Кучер натянул вожжи. Лошади напружинились и, как на картинке, выгнули шеи. Сбруя богатая, с колокольцами. Кучер от важности надулся, как красные шины на колесах.

Первым спрыгнул телохранитель. За ним генерал. Он подал руку генеральше Екатерине Сергеевне. Раскрыла веер и начала обмахиваться. Жарко. Генерал помог спуститься дочери. Телохранитель хотел взять генеральское пальто, но тот отрицательно тряхнул головой. Генерал поднялся по лестнице и вышел на платформу. За ним — жена, дочь. Генеральша предложила пройтись, но Мин отказался. До отхода поезда всего десять минут. Телохранитель к генералу не приближался, а стоял на расстоянии нескольких сажен.

Софья Ивановна теперь находилась на том конце платформы, где с семейством расположился генерал Мин. Он снял шляпу, обтер платком потный лоб и положил пальто на скамью Кюммеля. Бедный аптекарь растерялся от такого знатного соседства, отодвинулся на самый край, почтительно приподнимая красную феску. Генерал благодушно махнул рукой — места предостаточно. На скамью сели всем семейством. С краю пристроилась дочь, не спускавшая глаз с корнетов. Молодые люди при генеральской дочке перестали курить и потеряли интерес к актрисе. Рядом с дочерью сидела генеральша, не выпускавшая веер, а тут и Мин.

Телохранитель застыл у соседней скамьи. Глаза его испуганно бегали по сторонам. Слава богу, пора! Доносился густой бас приближающегося поезда; ему вторил жидким гудком встречный из Петербурга.

Екатерина Сергеевна приподнялась и смотрела на переезд. Толстяк Олсуфьев, сосед по даче, опаздывал. Смешно семенил короткими ногами и поминутно вытирал потную шею платком. Она обратила внимание дочери, и та дурашливо помахала толстяку рукой.

Софья Ивановна не отходила от скамьи. Кюммель пытался уступить место, но она словно не замечала. Расстегнула пальто, правую руку держала в кармане. Телохранитель вытянул шею и не спускал глаз с женщины. Тут загремели колеса, и паровоз, шумно вздохнув, замер у платформы.

Генерал Мин повернулся и, наклонившись, взял со скамьи пальто, чтобы проследовать в вагон первого класса.

Софья Ивановна достала из кармана револьвер. Прищурилась и, не дрогнув, послала одну за одной четыре пули. В упор. Ге-

нерал Мин пошатнулся, схватился рукой за сердце. С каким-то ужасом взглянул на женщину и начал медленно оседать на скамью.

— Мина убили! Убили! — заголосил аптекарь Кюммель и отшатнулся от грузного генерала.

Первой спохватилась Екатерина Сергеевна, жена генерала Мина. Она не сразу поняла происходившее, но бежавшая с револьвером женщина привлекла внимание. Резко повернулась. Беда! Полубезумным взглядом она посмотрела на мужа с неестественно запрокинутой головой. Вскочила и побежала следом за женщиной. Отчаянье придавало силы. Она догнала женщину, вцепилась ей в волосы. Лицо беглянки привело в исступление — стала хватать ее за горло, грязно ругаться.

Женщина угрожала револьвером, но не стреляла. Екатерина Сергеевна выбила из руки револьвер. Царапалась, хрипела. Подбежал телохранитель, за ним станционный жандарм. Телохранитель заученным движением заломил руку Софьи Ивановны. Суматоха нарастала. Кричала, стонала толпа. Жандарм отстранил яростную Екатерину Сергеевну и потянулся к убийце.

— Осторожно... В кармане бомба! — с неестественным спокойствием проговорила женщина.— Да, да, в левом...

Толпа отхлынула, замерла. Лишь доносились истерические рыдания вдовы генерала. Стала видна скамья, на которой все в том же неестественном положении сидел Мин. К нему бросились дамы — та, актриса, похожая на куклу, и другая, в черной шляпе с перьями.

— Осторожно... В кармане бомба! — надрывался тщедушный Кюммель. Он стоял на скамье ногами и кричал, кричал истошно...

Телохранитель не сводил с женщины яростного взгляда. Свершившееся пугало. Не уберег! Не уберег! Станционный жандарм бросил руку женщины, отступил на шаг.

— Держите! Держите!

Это вновь кричал Кюммель. По платформе бежал мужчина в черном пальто. Софья Ивановна провожала его тоскующими глазами. Наперерез мужчине двинулся артист придворного театра. Мужчина в черном не был похож на театральных злодеев. Быстрым движением направил револьвер, и выражение его лица не оставляло сомнения — выстрелит. Побледнев, артист отступил. Мужчина сильным рывком перескочил на другую платформу и скрылся в вагоне проходившего петербургского поезда.



Софья Ивановна облегченно вздохнула. Слава богу, спасен! Собственная судьба ее не интересовала. Она знала, на что шла и за что умирала.

На платформе суетился кто-то из придворных медиков. Толкались жандармы — их оказалось множество. К месту происшествия торопился начальник станции. Врач виновато развел руками и отрицательно качнул головой. Начальник станции снял фуражку, перекрестился.

— Генерала Мина в медицинскую комнату! — Он не стал до-



жидаться, пока жандармы унесут покойного, а обратился к корнетам Уланского полка: — Господа...

Корнет с черными бакенбардами повиновался с неудовольствием. Явно не хотелось принимать участия в истории. Но что делать? Служба! Вытянулся. Козырнул.

— Попрошу, корнет, достать бомбу у этой женщины из кармана. Публика кругом штатская и обращаться с бомбой не умеет... Будьте осторожны... Думаю, женщина не лжет, и опасность весьма велика.

Корнет побелел. Конечно, женщина не лжет. Легко сказать— возьмите бомбу... Бомбу! Казалось, толпа не дышала. Тишина звенела до боли в ушах. Корнет почему-то отстегнул саблю и передал однокашнику. Снял фуражку, размашисто перекрестился. Помертвевшими губами читал молитву. «Святый боже, спаси мя...» Напружиненным шагом обошел убийцу, которую крепко держали. Кинул настороженный взгляд, словно вопрошая; женщина поняла и, усмехнувшись, отрицательно тряхнула головой. Смотрела на все приготовления хладнокровно и не делала ни малейшей попытки бросить в корнета бомбу. Более того, в глазах сострадание.

— Бомба только на случай неудачи...— Женщина облизнула сухие губы.— Лишние жертвы ни к чему...

— Неудачи? — ошалело переспросил корнет.

— Да, коли не сработал бы револьвер, то подстраховала бы бомбой.

— Бомбой? В генерала?! — захрипел телохранитель.— Бомба разнесла бы и вас в клочья...

— Что ж? Я выполняла свой долг!

В голосе женщины усталость. На лице безразличие. Ни тени раздражения или испуга. «Нервы у дамы железные!» — позавидовал корнет. Но слова подбодрили. Крадучись, обошел группу, в центре которой женщина. Удивительная. Непонятная, с потусторонним взглядом больших глаз. И, наконец решившись, вынул пакет из кармана. Руки предательски дрожали, а веко нервически подергивалось. «Ну и ну, в пакете-то добрых четыре фунта... Разнесла бы и Мина и станцию... И все же почему не бросила бомбу,— недоумевал корнет,— неужели не понимает, что ее ждет смерть, мучительная и позорная — от веревки? Ах да, лишние жертвы... Она-то уходит из жизни, так какое ей дело до остального... Поразительные люди... А Мина знатно укокошила...»

Корнет на вытянутых руках, как икону, вынес бомбу. По молчаливому приказу начальника станции положил около скамьи, где только что лежал покойный Мин. Начальник станции благодарно похлопал его по плечу. Корнет вытер пот и почувствовал странную слабость. Еще раз оглянулся на женщину и, пораженный ее спокойствием, направился к лестнице. «Нет, такая не промахнется... Не промахнется...»

— Кто вы? — Начальник рассматривал вид на жительство.— Значит, Софья Ивановна Ларионова.

Женщина молчала. Даже в кабинете начальника станции ее

держали за руки. В разговор вмешался жандармский ротмистр. Он уже отправил телеграмму в управление и начал следствие.

— Попрошу вас назваться и объяснить причины, побудившие к убийству! — Ротмистр нервничал, никак не мог прийти в себя от потрясения.

— Нужно дать показания...—потребовал начальник станции.

— До показаний дело не дойдет,— ответила женщина ровным и тихим голосом.— О причинах, сделавших меня революционеркой, расскажу на суде... А пока — Зинаида Васильевна Коноплянникова, бывшая учительница сельских и народных училищ... Двадцать семь лет... Главный мотив убийства — возмездие генералу Мину за зверства на Пресне, за подавление огнем и пожаром московского восстания.

— Успокойтесь... Расскажите обстоятельно.— Ротмистр каллиграфическим почерком заполнял графы протокола допроса.

— Успокоиться следует вам... Совесть моя чиста, как у человека, исполнившего долг... Я — член летучего отряда... Генерал Мин не только укротитель Пресни, но и командир Семеновского полка. Это он воспитывает солдат и офицеров в духе преданности престолу... И за сие преступление был в ответе. Больше не скажу ни слова...

«Секретно.
С.-Петербургскому градоначальнику.

26 сего августа в С.-Петербургской крепости в арестантском отделении при Трубецком бастионе состоится судебное заседание СПБ Военно-окружного суда по делу об убийстве Свиты Его Величества генерал-майора Мина, по коему привлечена в качестве обвиняемой дочь отставного унтер-офицера Л. Гв. Гатчинского полка Зинаида Васильевна Коноплянникова.

Сообщая об изложенном, Департамент полиции уведомляет Ваше Превосходительство, что по приказанию Господина Министра Внутренних Дел надлежит принять всевозможные меры предосторожности к предупреждению могущих возникнуть при сем уличных беспорядков».

Суд был скорый. Зинаиду Васильевну Коноплянникову приговорили к смертной казни через повешение. 29 августа 1906 года в 3 часа 30 минут осужденную выдали из Петропавловской крепости для свершения казни и под усиленным конвоем отправили на пароходе в Шлиссельбургскую крепость. Зинаида Ва-

сильевна Коноплянникова до последней минуты держалась с полным самообладанием, поразившим видавших виды тюремщиков. Последней воли не заявляла, от напутствия священника отказалась. Приговор исполнили в 9 час. 26 мин.

СОЛНЦЕ НА ЛЕТО—ЗИМА НА МОРОЗ

Подполковник Николаев слыл педантом. Худощавый. Гладко выбритый, с зализанными волосами, тщательно расчесанными на прямой пробор. На столе порядок — аккуратные стопки бумаги, отточенные карандаши. Блестящий медный прибор с новенькой ручкой. Старинный подсвечник, отливавший позолотой.

Подполковник сплел длинные пальцы, похрустел, что всегда служило признаком волнения. Волнения? Гм! Впрочем, конечно, волнения. Предстоял разговор с заключенной, которую выпускали под залог до окончания следствия, а вернее, до суда. Женщина показаний не давала, держалась с достоинством, с которым на допросах приходилось встречаться все чаще, словно эти люди знали что-то несравненно большее, чем он, подполковник отдельного корпуса жандармов. При аресте она назвалась Архангельской Ларисой Андреевой, дочерью псаломщика. Вид на жительство, к удивлению, оказался в порядке, но обыск дал неожиданные результаты — и бланки для нелегальных изданий, и письма, предназначенные для шифра, и патрон к браунингу — браунинг сумела благополучно куда-то сплавить,— и прокламации возмутительного содержания, и эта своеобразная картотека с вырезками из газет весьма тенденциозного содержания... Но главное— он узнал подследственную. Красивую молодую женщину с темно-русыми волосами и сросшимися густыми бровями, узнал умные серые глаза и эту спокойную манеру держать себя. Они ехали в Ораниенбаум в одном купе — он, подполковник Николаев, и она, элегантная дама с девочкой-толстушкой. Мирно беседовали, спорили о проблемах воспитания... Потом на вокзале он тащил под удивленными взглядами шпиков тяжелейший шотландский плед. Говорила, что в плед завернула картину в музейной раме. Теперь-то он понимал, что́ это была за рама...

При встрече в Жандармском управлении попытался намекнуть на былую встречу, но она так недоуменно подняла серые глаза, что он усомнился, а потом замял разговор, чтобы не быть смешным. Действительно, нашел, что вспоминать — наверняка тащил нелегальщину или типографский шрифт.

В Жандармское управление привезли ее под утро (подполковник любил ночные допросы). Женщина казалась утомленной, с посеревшим от усталости лицом. Отвечать на вопросы отказалась, равнодушно взглянув на стол, заваленный вещественными уликами. И вдруг громко рассмеялась, когда из картотеки, отобранной при обыске, он, желая уличить арестованную в тенденциозности, предъявил газетные вырезки об открытии Первой Государственной думы — арест совпал с роспуском Думы по высочайшему указу. Слова благонамеренные, да и взяты из солидного источника, но звучали странно и почти двусмысленно; подполковник порылся в бумагах и быстро пробежал глазами: «Открытие Первой Государственной думы состоялось в четверг 27 апреля 1906 года. День жаркий. Совет Министров в 12 час. 45 мин. собрался в Эрмитаже, откуда нас затем повели в Георгиевскую залу. В этой зале на троне очень живописно была положена императорская порфира; по сторонам трона стояли красные табуреты для императорских регалий. Против трона, по левую руку, стали члены Думы, а по правую — члены Государственного совета. По правую же сторону, около престола, было небольшое возвышение для членов императорской фамилии, около которого стал Совет Министров. Все служащие были в парадной форме, с которой контрастировали штатские костюмы, частью весьма небрежные, выборных членов новых законодательных учреждений.

В 2 часа государь вышел в залу. Перед ним несли регалии, которые были положены на табуреты, около которых стали лица, их несшие. За государем шла императорская фамилия. Государь очень спокойно, но с большим чувством прочел отличную речь, редактированную им самим. Прокричали «ура», и государь с таким же церемониалом ушел.

Великое событие свершилось. Перемена государственного строя стала свершившимся фактом. При враждебном настроении Думы приходится радоваться, что все сошло благополучно, без каких-либо неприятных инцидентов».

Кажется, все добропорядочно, а подсудимая смеялась, и ему стало неприятно за ретивых газетчиков. Действительно, эдакая перемена государственного строя — депутаты стоят у трона с царскими регалиями,— а государь, окруженный царской семьей, внушает принципы демократизации общественного устройства!

Еще в первый раз арестованная попросила не утруждать следствие, на допросы отказалась являться, а протокол не подписала. Понимая бесполезность этих допросов, он ее более не бес-

покоил. А потом она тяжело заболела — нервное переутомление и туберкулез. Тюремный врач положил в больницу святого Николая-чудотворца, откуда прислали медицинское заключение. Было и письмо с просьбой об освобождении из тюрьмы под залог. Подследственная назвала свою фамилию — Раиса Заславская. Залоговая квитанция подшита к делу, поручитель проверен, остались небольшие формальности... И все же он медлил и не подписывал предписания.

Подполковник подошел к длинному столу, на котором лежали папки с делами. Шестнадцать томов! Шестнадцать! Рассудок можно потерять от обилия имен, фактов, событий, а главное — от удивительного упорства государственных преступников. По делу «О Военной организации Петербургского комитета РСДРП» привлекалось к дознанию 52 человека. Но это лишь начало общего процесса — их предполагается пять. Замешаны члены Государственной думы, депутатов будут судить по 102 статье Уголовного уложения, замешаны солдаты многих полков, интеллигенты. Процесс сулит стать громким, трудным, с которого пресса не спускает глаз, да и государь самолично следит за ходом разбирательства... А тут еще выпустить на волю подсудимую Раису Заславскую! Умная. Бесстрашная. Роль ее весьма значительна в преступном сообществе... Заславская, то бишь Людмила Сталь, не будет сидеть сложа руки. Как ни следи, а наверняка уйдет в подполье. А за все отвечать ему, старшему следователю Отдельного корпуса жандармов подполковнику Николаеву...

И опять он листает документы, шумно переворачивает страницы:

«26-го мин. мая подвергнуты следственным действиям известные Отделению члены СПБ Военной организации при Объединенном комитете РСДРП. Эта организация, желая втянуть армию в водоворот политической борьбы и склонить ее к измене долгу и присяге, «внести в ряды войска фермент брожения и микроб политики» (см. Заметки социалиста, «Голос» № 10), занялась устной пропагандой среди солдат, а также распространением революционных изданий (преимущественно издающихся легально) и партийных органов повременной печати, как-то: «Волна», «Курьер», «Вперед», «Народный вестник», «Голос».

Кроме того, при организации издается газета под заглавием «Казарма», специально приспособленная для пропагандирования социалистических идей среди солдат.

...Складочным местом для нелегальной литературы С.-Петер-

бургской Военной организации служила квартира витебской мещанки Ревекки Абрамовой Аскинази в д. № 14 по Глазовской улице, где, однако, преступной литературы не оказалось, так как Ревекка Аскинази перевезла таковую в квартиру № 20, дом № 19 по Ямской улице с.-петербургской мещанки Ханы Янкелевой Блюман, где и сама ночевала. Там обнаружено свыше 800 экземпляров № 4 газеты «Казарма», около 700 прокламаций «К молодым солдатам», «Семеновцам» и других и около 300 разных листков издания «Молот», «Донская речь» и т. п.

Сообщая об изложенном, Отделение препровождает на распоряжение Вашего Превосходительства всю переписку по этому делу со всеми вещественными доказательствами, согласно особой ведомости...»

Подполковник обвел чернилами «Ваше Превосходительство» и, пробежав глазами долгий список привлеченных к дознанию, подчеркнул ногтем пункт 13:

«Заславская Лариса Павловна, дочь купца, рождения 2 марта 1872 г., назвавшаяся при задержании Ларисой Андреевой Архангельской, принадлежит к Петербургской Военной организации при Объединенном комитете РСДРП, и, имея в виду, что названная организация представляет из себя сообщество, поставившее целью своей деятельности насильственное ниспровержение существующего в России государственного строя, я, по соглашению с Товарищем Прокурора С.-Петербургского Окружного Суда С. А. Юревичем, постановил: привлечь вышеупомянутых лиц к настоящему дознанию в качестве обвиняемых, предъявив им обвинение по ст. 102 Уголовного уложения.

Отдельного корпуса жандармов
подполковник Николаев».

Документ подполковнику понравился. Написан строго. Лаконично. Вообще стиль хорош — не случайно самые серьезные бумаги писал в министерство он, подполковник Николаев. Тонкие пальцы торопливо листали разбухшее дело: хотелось проверить документацию, прежде чем подписать предписание этой женщине о выходе из Дома предварительного заключения. Беда в том, что все явственнее проступала ее роль в Военной организации — и пропаганда среди солдат, и явная причастность к организации кронштадтского восстания, о котором дело выделено в отдельное судопроизводство, и связь с Центральным Комитетом РСДРП... Ба, Заславская значится и по делу о так называемой трудовой группе! Наш пострел везде поспел... Николаев нахмурился и опять принялся читать:

«Секретно.
Начальнику СПБ Губернского Жандармского управления

12-го мин. июля Трудовая группа и соц. дем. фракция быв. Государственной думы издали известный «Манифест к армии и флоту», в котором войска призываются «перестать повиноваться незаконному правительству и выступить против него вместе с нами и со всем обездоленным народом».

Так ответили на роспуск Думы быв. члены ее крайнего левого крыла.

Подпольные революционные организации немедленно приступили к делу и вызвали возмущение в Свеаборге, где легче всего было это сделать. Возмущение в Свеаборге должно было послужить лозунгом для открытого вооруженного выступления и в других городах, в виду чего Военная организация при СПБ Комитета РСДРП решила вызвать военный бунт и в Кронштадте, что ей и удалось.

С таким поручением от СПБ Военной организации в Кронштадт выехали два известных Отделению главаря Военной организации: врач Федор Васильев Гусаров и горный инженер Александр Платонов Малоземов, оба члена Комитета СПБ Военной организации. Как Гусаров, так и Малоземов арестованы в Кронштадте во время мятежа, но при каких обстоятельствах — сведений нет.

19-го мин. июля в квартире ближайшего сотрудника Гусарова по Комитету СПБ Военной организации — потомственного почетного гражданина Александра Львова Харика состоялось собрание некоторых членов организации, на котором предлагалось обсудить вопрос, как использовать военное восстание в Свеаборге и как реагировать на это событие в СПБ. Собрание было задержано, причем, кроме Харика, арестованы сын коллежского советника Евгений Моисеев Браудо, дантист Моисей Элиев Фрумкин и два лица, назвавшиеся дворянином Василием Петровым Деконским и крестьянином Василием Андреевым Соловьевым. 25-го июля Деконский заявил, что он в действительности помощник присяжного поверенного Вячеслав Рудольфов Менжинский, а Соловьев — что он Василий Андреев Зимин.

С целью немедленно парализовать всякую попытку СПБ Военной организации вызвать какие-либо беспорядки среди войск гарнизона столицы и окрестностей 21-го мин. июля была ликвидирована СПБ Военная организация, остававшаяся после

ареста Гусарова, Малоземова и Харика — член Комитета СПБ Военной организации дворянка Юлия Иванова Жилевич, а также военные организаторы, пропагандисты и некоторые нижние чины, принадлежавшие к Организации и имевшие сношения с организаторами и пропагандистами.

СПБ Военная организация в целях систематической пропаганды разбила столицу на четыре района, причем каждая воинская часть данного района поручена отдельным организаторам и пропагандистам. Районы именуются:

1) Городской (Л. Гв. Павловский полк, Преображенский полк, кавалергарды, гвардейская артиллерия, гальваническая рота, саперные батальоны);

2) Измайловский (Л. Гв. Семеновский и Измайловский полки, флотские экипажи и прилегающие к расположению этих частей казармы);

3) Крепостной (части, расположенные в СПБ крепости, и Петербургская сторона);

4) Московский (Л. Гв. Московский и Новочеркасский полки и части, расположенные на Выборгской стороне и Охте).

Кроме того, Военная организация работает и в Окружном районе — среди войск, расположенных в Гатчине, Петергофе, Красном Селе, на Пороховых, в Ораниенбауме и Кронштадте.

Из числа организаторов арестованы:

1. Раиса Павловна Заславская, назвавшаяся при задержании Ларисой Андреевой Архангельской—организатор Л. Гв. Семеновского полка...»

Подполковник Николаев отбросил бумагу с вырисованными буквицами. Словно взбесились там в министерстве — завитушки, украшения, хиханьки да хаханьки... Это когда кричать нужно — крамола проникла в самые верные полки российские: Семеновский, Павловский, Преображенский! Что ждать? На что надеяться? Крамола разъедает империю, как ржа железо. И эта Заславская, то бишь Людмила Сталь, организатор Семеновского полка! Перед глазами возбужденного подполковника предстала женщина, читающая гвардейцам прокламации о так называемом незаконном правительстве России. Есть от чего рассудок потерять!

Николаев откинулся в кресле. Движения стали вялыми, медлительными. Почему? Почему разлагается империя? Грозные симптомы разрушения он ощущает, невзирая на победные реляции, на громкие официозы. Один протокол ареста заставляет серьезно призадуматься.



Он оторвал глаза от бумаги. На лице горькая усмешка. «Материальчики-с, смею вас уверить... Диапазон-то каков — от приказов Семеновского полка в дни разгрома Пресни 1905 года до женевских изданий, наставляющих, как делать революцию... А мето́да изучения настроений самых различных слоев общества? Позавидует любой чиновник — все строго, педантично и подчинено одной-единственной цели — свержению законного русского правительства». От этой мысли у подполковника щемило сердце. Да, да, цель одна. Как вешние воды подтачивают снежные насты, так и революционные идеи смывают привычный миропорядок. Повидал он многое за годы работы в Одельном корпусе жандармов, близко узнал людей, одержимых, бескомпромиссных. Они-то своего добьются! Правда, их именуют «государственными преступниками»... Что ж! Вернее, государственными разрушителями. Бороться с ними трудно, а искоренить крамолу на Руси не представляется возможным, как бы ни кричали об этом умудренные и сановитые мужи. Происходит что-то непоправимое, всепобеждающее. И он не может подавить становление новых, глубоко враждебных ему идей. Как прикажете сражаться хотя бы против этой женщины? Как? Как? Засадить в каземат? Была, и не однажды. Сослать в места отдаленные? Была, и не однажды. Судить? Была, и не однажды...

И опять всплыла в памяти та поездка в Ораниенбаум, когда он, устав от бессонных ночей и неудачного следствия, радовался встрече с красивой и благополучной дамой, олицетворявшей для него в тот момент привычный миропорядок... А потом этот шотландский плед, о котором без внутреннего стыда он и вспомнить не может. Играла ли она? Нет, не играла. Просто знала какую-то высшую правду, которая давала внутренние силы. Но и он, человек думающий, пытливый, он не причисляет себя к бездушным интриганам и карьеристам, запрудившим Жандармское управление. Вот и поди узнай, где она, правда-то...

«На вопрос о принадлежности к СПБ Военной организации, поставившей своей целью ниспровержение существующего в государстве общественного строя, а также на другие вопросы Заславская отказалась отвечать, как и отказалась от подписания настоящего протокола».

В который раз на лице подполковника Николаева горькая усмешка. Расстегнул верхнюю пуговицу мундира, словно при удушье. Прикрыл ладонью глаза. «Отказалась от подписания...» Впрочем, вполне логично — все в образе, все в характере. От раздумий отвлек громкий бой настенных часов. Батюшки, да скоро двенадцать! В три доклад у министра. А тут еще разговор с Заславской. Впрочем, он достаточно ознакомился с делом, чтобы питать какие-либо иллюзии. Судьбы мира ему решать не дано! Нажал кнопку звонка и стал поджидать.

Николаев не сразу признал в вошедшей женщине ту, с которой совершал поездку в Ораниенбаум. Изменилась-то как! Похудела. Одни глаза большие. Конечно, болезнь не красит...

— Могу порадовать — в казначейство внесен залог в четыреста рублей, квитанция прислана в Жандармское управление.— Неожиданно для себя Николаев об этом сказал сразу, хотя и казнился потом за малодушие.— Сегодня сможете покинуть Дом предварительного заключения... Потрудитесь оставить точный адрес, чтобы возможно было вызвать вас на судебное разбирательство.

Женщина молчала. Большие серые глаза устремлены на подполковника, а взгляд отсутствующий, усталый.

— По закону, Людмила Николаевна, я позволю называть вас более привычным именем.— Подполковник тонко усмехнулся и метнул испытующий взгляд.— Под страхом более сурового тюремного наказания вы обязаны явиться в суд...

— Обязана...— повторила Людмила Николаевна.— Слишком много обязательств для одного человека.

На побледневшем лице женщины промелькнула ответная улыбка. Подполковник не уловил в словах ни насмешки, ни вызова. Одна усталость. Конечно, семь месяцев заключения в одиночке да голодовки, протесты...

— В случае неявки поручитель теряет залог и свое добропорядочное имя.—Подполковник пересел за круглый стол поближе к заключенной.— Впрочем, присутствие на суде в ваших интересах: в ходе разбирательства возможны уточнения обстоятельств, которые смогут смягчить степень виновности и существенно повлиять на меру наказания.

— Странно, вы сохранили гимназическую веру в правоту судебного разбирательства и в непредвзятость приговора.— Людмила Николаевна недоуменно передернула плечами.— Виновность подсудимых предрешена. И все по принципу: «Утверждать что-либо, не имея возможности доказать это законным путем, означает клеветать...»

— Восхищен вашей образованностью. Сам поклонник Бомарше. Только не поленитесь взглянуть на эти столы, заваленные томами дел... И вы все еще осмеливаетесь утверждать, якобы виновность не будет доказана законным путем? Ценю ироничность ума, которую удалось сохранить в таких тяжких условиях, и позволю заметить: оставить преступление в покое — это стать его соучастником.

Подполковник, довольный остроумным ответом, откинулся в кресле. Хотелось объясниться с этой женщиной, понять мотивы, руководимые ею в жизни. Эти мотивы были очень весомы, иначе зачем ей, молодой и богатой, вести жизнь по тюрьмам и ссылкам. Более того, он чувствовал к ней уважение, которое всегда испытывал перед людьми большими и настоящими.

— Людмила Николаевна, вы очень больны. Я даже не сразу опознал, когда вас ввели в кабинет.— Подполковник сплел длинные пальцы.— Душевно рад, что сможете несколько месяцев пожить в нормальных условиях... Поправить здоровье.

— Почему не изменить условия содержания политических, если они так пагубны? — подняла густые брови женщина.

— Опять риторическая постановка: условия содержания политических!—В голосе подполковника плохо скрытое раздражение.— Подумайте о себе... Подумайте.. Всегда в борении, в тревогах, в опасностях...

— «Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба».

— Конечно, не желаете серьезного разговора! — Подполковник горестно развел руками.— Благо, при вашей эрудиции на каждый случай отыщется изречение классиков, а мне бы хотелось поговорить доверительно... Уяснить причину, которая толкает на роковые проступки на грани преступления.

— Доверительно с подполковником Отдельного корпуса жандармов? — гневно выпрямилась Людмила Николаевна.— Не какнибудь, а доверительно...

В голосе заключенной столько презрения, что Николаев опустил голову. Нет, пропасть слишком велика между ним, жандармом, и женщиной, обвиняемой в государственном пре-

ступлении. А зря... Кажется, он зашел в тупик и мучительно искал ответ на волнующие сомнения, страдая и стыдясь в них признаться даже себе самому.

— Скажите, что намерены делать после выхода из тюрьмы? Честно и откровенно.— Подполковник начал вновь перелистывать дело Раисы Заславской.

— Честно... Откровенно...— Людмила Николаевна порозовела от волнения.— Соблаговолите вести разговор в рамках, предусмотренных официальными инструкциями. Я — стреляная птица и на психологические опусы не реагирую.

— Психологические опусы? — растерянно повторил Николаев.— Да вы жестоки...

— Жестока? Не первый слышу упрек. А вы правы — да, да, прячу за цитаты собственные мысли. Что ж! К откровенности не стремлюсь и напоследок не удержусь: «Думать, что бессильный враг не может вредить,— это думать, что искра не может вызвать пожара».

— Французские энциклопедисты? — полюбопытствовал подполковник.

— Нет, восточная мудрость...

— Жаль, очень жаль...— Подполковник вернулся к письменному столу и отчужденно взглянул на женщину.

Людмила Николаевна встретила его взгляд насмешливо. Вот он, страж порядка, фиглярствует, комедианствует, а вернее всего, боится возмездия. Видите ли, он сомневается, колеблется, ищет доверительного разговора...

Николаев по привычке сплел тонкие пальцы, хрустнул. В кабинете над столом портрет Николая Второго. Подполковник нахохлился. Сел в высокое кресло под портретом. В наградах, регалиях. Людмила Николаевна перевела взор на портрет. «Один управляет, другой охраняет»,— усмехнулась и, откровенно зевнув, спросила:

— Так какие формальности предстоит мне исполнить?

— Судя по материалам, взятым при обыске, вы ведали редакцией газеты «Казарма»? — Подполковник нахмурился и быстро поправился: — Возможно, и газетой «Русский набат», названия менялись часто... Газетки весьма тенденциозного содержания. Вот один из образчиков. «Солдаты и матросы, вы — часть народа, но вас ведут против народа. Все ваши требования также и наши, но вас ведут против нас. И вы в крови народной утопите свою свободу собственную. Не слушайтесь команды, слушайте голоса народного. Присоединяйтесь к нам. Восстаньте

заодно с нами. Нет силы, которая могла бы пойти против армии, объединившейся с народом...» — Подполковник наклонился и резко спросил Людмилу Николаевну: — Вы писали?

— Я уже сказала, что отвечать на вопросы по существу отказываюсь. Молчала семь месяцев, помолчу и оставшиеся до суда... Разговор пустой и недостойный...

— Есть нити в следствии, мне не ясные, а впрочем, действительно разговор пустой.— Подполковник протянул через стол подписку о своевременной явке.— Желаю здравствовать... Временно вы свободны, но мы еще встретимся... Материалы весьма и весьма серьезные. Как говорится, солнце на лето — зима на мороз...

Людмила Николаевна наклонила голову и прошла к двери.

„УБИЙСТВО ИЛИ САМОУБИЙСТВО?“

«Николай Шмит — студент университета, очень богатый человек, он владел лучшей в Москве фабрикой стильной мебели, предприятие его было поставлено во всех отношениях прекрасно, славилось изяществом своих работ, давало большие доходы.

Человек молодой, по природе своей мягкий, влюбленный в художественную сторону своего дела, Шмит нашел справедливым улучшить положение рабочих своей фабрики, что, вероятно, было небезвыгодно ему как хозяину предприятия.

Его приличные отношения к рабочим и добрые отношения рабочих к нему создали Шмиту в глазах московской полиции репутацию либерального фабриканта, политически неблагонадежного человека.

Порядочность, как бы она ни проявлялась, считается преступлением в стране, которой, как это известно, управляют министры, ворующие овес и хлеб у крестьян, где царь любит делать убийц генералами и поощряет генералов к убийствам классически циничной фразой, которую он бросил генерал-лейтенанту Казбеку после его доклада о мирном конце восстания солдат владивостокского гарнизона: «В народ всегда надо стрелять, генерал!..»

Людмила Николаевна уныло отложила журнал. Парижский. Со статьей Максима Горького. Да, они дружили, Николай Шмит и Максим Горький, вместе слушали Шаляпина, вместе мечтали... Теперь Максим Горький страстно боролся за жизнь Николая Шмита, находившегося в Бутырской тюрьме. Старался при-

влечь там, за границей, к «делу Николая Шмита» мировую общественность, старался вызволить его от смертельной опасности, старался вырвать из рук тюремщиков. Но опоздал. Шмита убили... Убили... Не спасли, не успели...

Вздохнув, Лиза взяла журнал. Закончила глуховато:

«Полиции было предписано доставить материал для русской Фемиды — существа чудовищного, ибо оно безвольно, глухо и слепо, а челюсти его приводятся в движение не живой силой справедливости, а механическими толчками из Петербурга...»

Сестры сидели рядышком, как в то памятное свидание в кабинете следователя в Петропавловской крепости. Но на сей раз в Москве Лиза снимала у портнихи за пять рублей в месяц скромную комнатку. Готовилась к вступительным экзаменам на курсы профессора Герье. Людмилу Николаевну она из виду потеряла давненько. После освобождения из Петропавловки ее выслали в Вологодскую губернию. Но до места ссылки сестра не добралась — бежала в Ярославль, оттуда на юг — известия приходили то из Одессы, то из Николаева. Были и письма с тюремным штемпелем, значит, были и новые аресты. Об арестах старшая сестра никогда не говорит, да Лиза не маленькая, понимала и без слов: арест в Николаеве на рабочем собрании, побег из полицейского участка и новый арест на вокзале. Позднее Людмилу выслали в Курск под надзор полиции. И опять Людмила бежала в Москву. Она ввалилась ночью и озабоченно прислушивалась к уличному шуму. Лиза готова поклясться — сестра побледнела, когда около дома зашуршал осенний лист под колесами пролетки... В Москве пробыла недолго. Прошла Октябрьская стачка, и она уехала в Петербург. Изредка Лиза получала скупые весточки, полные недомолвок и настороженности. Чувствовала, что сестра в сражении, в опасности. И действительно, Людмилу арестовали июльским днем 1906 года, продержали в Крестах семь месяцев и, предъявив обвинение по делу Питерской военной организации, выпустили под залог. И новая боль в сердце Лизы: дело громкое — возможны долгие годы заточения, а то и каторга. Судебная машина завертелась, и обвинение ожидали по 102 статье Уложения.

Лиза смотрела на Людмилу Николаевну. Сестра так напоминала маму: серые глаза под чуть сросшимися бровями, полные губы, пушистые светло-каштановые волосы и эта улыбка, озарявшая лицо. Улыбку сестры Лиза любит. Казалось, улыбка проступала в каждой черточке лица, вспыхивала по любому случаю, а то и просто без случая. Смеялись глаза, губы, щеки.

Сестра молодела, хорошела. Но сегодня сестра не улыбалась. Сидела печальная, безучастная. В Москве, как всегда, проездом, до решения суда отправлялась в Екатеринослав. И в Москве-то она не ради нее, Лизы, хотя и любила ее безмерно; только личные встречи не позволительная роскошь в жизни нелегала, а чтобы отдать последний долг Николаю Павловичу Шмиту. Есть обязательства выше, чем узы родства. Боль за погибшего Шмита заполонила Людмилу, Лиза это видела. И эта боль вызвала у Лизы другое, более сильное чувство — страх от ожидания тех невзгод и испытаний, которые подстерегали старшую сестру. От этих башибузуков можно ожидать всего — каторги, заточения в крепости. А годы-то идут, и здоровьем Людмила похвастаться не может. Людмила... Людмила... Что выпадет на твою долю?

Лиза обхватила голову руками и, стараясь скрыть вспыхнувшее беспокойство, закрыла журнал:

— Даже великий Горький не может выразить весь ужас происшедшего — Шмит мертв. Вернее, зарезан в Бутырках для большей правдоподобности оконным стеклом. «Убийство!», «Нервная невменяемость!» — кричат сегодня газеты... Негодяи... Как я их ненавижу! — Лиза зарыдала и, испуганно взглянув на сестру, попросила: — Извини, родная, не владею собой... Преступление сделано так расчетливо и тонко, что диву даешься. Впрочем, какое здесь диво — полная безнаказанность негодяев. Убили, не вручив обвинительного заключения.

— Шмиту не предъявили обвинительного заключения? Это-то после четырнадцати месяцев следствия? — возмутилась Людмила Николаевна.— Да, в российских тюрьмах с предъявлением обвинительных заключений не спешат... Не спешат...

— Кстати, обвинение основывалось на собственных показаниях Шмита в первые дни ареста. Все знают, как добывались эти «показания»: арестованного привезли к полковнику Мину, кричали, угрожали. Шмит молчал. Тогда вывели во двор и у артиллерийских орудий начали инсценировать расстрел. Шмит стоял не один, рядом Мантулин и кто-то из дружинников. Обреченные обнялись, расцеловались... Команда офицера... Залпы... Один... Второй... Третий... Шмит остался живой... Расстреляли его друзей. А потом на допрос. Очень хороший путь, чтобы добиться «чистосердечных показаний»...

— Жестокость... Расчетливая... Холодная... Сделать пытку из расстрела! Только тюремщики способны на этакое... Довести человека до сумасшествия, а потом брать показания...— Людмила Николаевна нахмурилась.

— Подумай, что пережил двадцатитрехлетний юноша! — Лиза, обняв сестру, заговорила шепотом, словно могли подслушать.— Ночь. Темь. Слепящие факелы в руках солдат да всполохи горящей Пресни. Артиллерийская канонада. Гибель товарищей на глазах и допросы, допросы у Мина. Полковник Мин оказался редкостным негодяем, жестокость его не знала границ. Изувер в офицерском мундире. Главное — выслужиться перед царем. Готов расстреливать без суда и следствия, вешать, пытать... Что посеешь, то и пожнешь... Зинаида Коноплянникова права. Ее выстрелы в Мина прогремели на всю Россию.

— Ты оправдываешь индивидуальный террор? — насторожилась Людмила Николаевна.— Оправдываешь?

— Нет... Но такое преступление не может остаться не отомщенным. Над Шмитом Мин издевался с одержимостью варвара: морил голодом, кормил селедкой, не давая воды, терзал бессонницей, оставляя в камере неотлучно жандармов,— и все ради карьеры. Преступник! Настоящий преступник! После подавления восстания в Москве ему присвоили звание генерала, взяли в свиту царя... Какие милости! Можно подумать, что японцев разгромил. Вешатель, вешатель...— Лиза устало заключила: — Виновен или не виновен Шмит, должен установить суд, а не взбесившийся полковник!..

— Лиза, расскажи все подробно. В газетах сообщения печатают скупо. Правда, в московском «Утре» проскальзывают крохи, но в большинстве газет белые полосы — материал снят цензурой.

— Да, да... Последнее время Шмит находился в «секретке».

— В Пугачевской башне? Страшно!

— Шмита перевели хлопотами сестры в тюремную больницу, в двенадцатую палату. Условия жуткие — в палате были душевнобольные. Стоны, крики, безумный бред... Шмит заболел хронической бессонницей, и его перевели в «секретку». Называется, «уважили»! Полутемная, крошечная клетушка, по которой и ходить-то нужно согнувшись в три погибели. С одной стороны — душевнобольной, закованный в кандалы. С другой — Голубев, ожидавший смертной казни. Шмит его жалел и день казни пережил тяжело. Стоны... Борьба. Прощальные рыдания...

— Казнь в тюрьме — пытка для всех. Чувствуешь собственное бессилие, низость расправы над беззащитным человеком.— Людмила Николаевна выговорила эти слова с трудом.

— «Условия в «секретке» такие, что человек может разбить себе голову о стену»,—писал Шмит сестре... Последние дни были

кошмарными: грозили надзиратели, подкидывали подметные записки, шантажировали. Конечно, он понимал, что готовилась расправа. Стал задумчив и встревожен — письма его сестре полны боли. Он решил бороться за перевод в тюрьму, надеясь, что на людях над ним не учинят расправы.

— Безусловно, в «секретке» человек беззащитен. В Бутырках и в мою бытность ходили о «секретках» страшные слухи. Камеры — продолговатые ящики. Всегда темнота, а свечей не полагалось! Администрация боялась, что заключенные сожгут тюрьму... Очередная благоглупость! В этой темноте хохот душевнобольных, погребальный звон цепей — ужас для человека с разумом и благородным сердцем.— Людмила Николаевна гневно выпрямилась.— И это все не в каторге, не в темнице для уголовных, а в тюремной больнице...

— Больница... Как горько ошибается непросвещенный, наивно полагая, что тюремная больница призвана лечить... Нет, нет... В роли врачей — палачи, а вместо больничных палат — темницы.— Лиза перебила сестру и, нервически закусив губу, с горькой иронией повторила: — Больница?

— В тебе говорит отчаянье. Правда, бутырская больница славилась суровым режимом.—Людмила Николаевна мягко привлекла к себе сестру.— Меня удивляла эта размеренная жестокость: перед тем как вести в «секретки», у заключенного отбирали все вещи... Изредка оставляли сахар да чай, коли надзиратель пьян.

Скупое февральское солнце бросало последние закатные лучи. Багровые полосы проступали на обоях. Сквозь ослепшие ото льда окна кровавые лучи вползали с осторожностью. Было что-то неприветливое и в раннем закате, и в хмуром морозном солнце, и в тоскливом зимнем дне.

— Официальная версия такова: надзиратель Кожин, присланный из Шлиссельбурга, в шесть утра зашел в камеру Шмита и нашел его мертвым. Шмит лежал на полу в луже крови. «Совсем еще теплый»,— как цинично передал надзиратель сестре покойного. Был вызван врач, который и констатировал «самоубийство».— Лиза с подавленным отчаяньем махнула рукой.— Значит, так называемое самоубийство совершилось за несколько минут до проверки — проверка ровно в шесть утра. Все надзиратели находились в дежурке рядом с камерой. Но никто не слышал ни звона разбитого стекла, ни падения тела, ни предсмертных стонов. Это в условиях «секретки», где улавливали каждый вздох, каждое движение! Никто не подошел к «глазку», не

поднял тревоги. Теперь газеты кричат о «бутырской тайне», риторически вопрошают: «Убийство или самоубийство?» Ложь! Подлая ложь! Шмит понимал, что готовилось убийство... Более того, он переслал сестре письмо через подкупленного надзирателя.

— Письмо? — встрепенулась Людмила Николаевна.

— Читай... С величайшим трудом добыла в университете... Там Шмита чтут... Он ведь с естественного...

Людмила Николаевна дрожащими руками развернула тонкий листок, поднесла к глазам. Буквы прыгали, расплывались от слез, предательски выступавших на глазах.

«Дорогая моя сестрица Катя, именно в эти минуты уходящей от меня жизни ты мне дороже, чем когда-либо.

За мое длинное сидение в тюрьме мы при частых свиданиях так сблизились и так полюбили друг друга.

Своей запиской я хочу оставить тебе память о себе и привязанность к тебе.

Я чувствую, что минуты мои сочтены. Еще вчера вечером появились необычные признаки и странное отношение: надзиратели, что-то утаивающие от меня, а вместе с тем говорившие о разных зловещих для меня слухах. Но ночью вчера ничего не случилось. Я пробовал что-либо узнать сегодня утром, чтобы быть вполне подготовленным к предстоящей неожиданности, но опять все надзиратели молчали, а в коридоре говорили о том же.

Тогда я убедился, что надо мной затевается расправа, и добивался перевода к товарищам, чтобы вместе провести остаток моей жизни и поручить передать вам письма. Но мне во всем отказано. Я сижу один. Спокоен и жду, что будет. Поволновался лишь сначала от неизвестности.

Мне представляется, что хотят поскорее покончить со мной, торопятся и избегают огласки. Торопятся свалить с больной головы на здоровую.

Что же вы сейчас делаете, знаете ли вы что-либо? Думаю, что знаете. Вы, вероятно, узнали сейчас более, чем я сам.

Шлю мой последний горячий привет тебе и Николаю Адамовичу, живите, как и раньше, хорошо и счастливо. Зовите Лешу к себе. Передайте мой привет маме, товарищам и моим рабочим, если зайдут справиться.

Дорогая, милая сестрица Лиза, не тоскуй обо мне, когда меня больше не будет, приходи навестить меня к моей новой тюрьме. Прощаюсь я с вами, с жизнью навсегда. Любите друг друга. Прощай, прощай, мама, поклон последний.

Писать больше не успею. Поцелуй Лешу. Отказывают даже в листе бумаги...

Горячо любящий вас Коля».

— Прочитала... Прочитала...— тормошила Лиза свою сестру.— Какой светлый разум, какое сердце! И этого человека объявить сумасшедшим! Кричать о приступе безумия... Бедный... Бедный...

Людмила Николаевна молчала, потрясенная. Шмит знал свою судьбу. И с простотой, которая свидетельствует о подлинном мужестве, шел навстречу этой судьбе.

— Семья потребовала судебную экспертизу. Но все превращено ревнителями закона в фарс. Материалы судебной экспертизы полны недомолвок и неточностей. Эксперт профессор Минаков — откровенный трус. В обществе о нем говорят с презрением. Позорище! Профессор, призванный восстановить истину и защитить честное имя умершего, подписывает несусветное заключение. Якобы Шмит сам себе перерезал горло... Тому, как он это сделал, может позавидовать даже Пирогов. Видите ли, перерезал сонную артерию, не повредив вену! Стыдно читать! Студенты устроили профессору обструкцию. Минаков не объяснил, почему у покойного изранена кисть руки, почему тело в синяках и побоях! Ясно одно: Шмит защищался, боролся и не хотел умирать. Он оборонялся от убийц, но их оказалось слишком много. Сосед Шмита, Виноградов, тот, кто передал письмо к сестре, был свидетелем этой борьбы. Он слышал стоны, крики о помощи.— Лиза положила голову на плечо сестры и громко зарыдала. Все существо ее было возмущено этим неслыханным злодейством, после которого не хотелось верить ни в добро, ни в правоту. Худенькие плечи вздрагивали, волосы закрыли вспотевший лоб.

Людмила Николаевна понимала сестру: молодость тяжело мирится с разочарованиями. Она не уговаривала ее, не пыталась успокоить, лишь посматривала с легким укором. Потом осторожно усадила в кресло и накапала в рюмку бром. Подала. Лиза жадно припала ртом, рюмка вздрагивала в тонкой руке. Да, волнения этих дней переполнили чашу. Лиза!.. Лиза!..

На столике портрет Шмита. Задумчиво и печально смотрел Шмит. Что-то трагическое и обреченное улавливалось и в его широко открытых глазах, и в уголках губ, и в тяжелых складках у подбородка. «Морщины скорби» — так их называла нянюшка. Но чем больше вглядывалась Людмила Николаевна в портрет

Шмита, тем отчетливее проступало гордое и меланхолическое выражение. Романтик и мечтатель! Как это она сразу не поняла. Длинные волнистые волосы. Мягкая бородка. Нос с горбинкой. Какое достоинство... Простота... И еще одна фотография привлекла ее внимание — из трагических дней похорон Баумана. Шмит нес охрану вместе с дружинниками. Вот он в цепи вместе с боевиками, крепко взявшись за руки. Боевики, вооруженные и одетые на его деньги. Шмит любил Баумана. Ночью дежурил в Высшем техническом училище, защищал гроб с дорогими останками от охранки. Шмит... Шмит... Фабрикант, «поставщик его императорского величества», в студенческой шинели, потрепанных башмаках и порыжевших калошах. Фабрикант, друживший с Горьким, фабрикант, укрывавший Шанцера, фабрикант, хоронивший Баумана...

— В Петербурге ошеломлены этой внезапной кончиной. Убит накануне выхода из тюрьмы на поруки... Поезда на Москву переполнены, мне удалось с трудом достать билет через знакомого телеграфиста.— Людмила Николаевна нервно потерла переносицу.— Общество так неприкрыто возмущено убийством, что шпики боялись шнырять по вагонам.

— В Москве грустно шутят: Шмиту вменялось в вину даже то, что в дни боев каратели Мина дотла сожгли его фабрику. Недавно я была на Пресне — стены с впадинами пустых окон, рухнувшие заборы, воронки от снарядов.— Лиза говорила горячо.— Когда-нибудь историки напишут трагедию Пресни, напишут и взыщут. Мы не можем быть безучастными... Не можем... Войска полковника Мина били по фабрике прямой наводкой. Начался пожар. Ад из пламени и огня. Страшно сказать, но горели гробы с дружинниками — прах их не успели предать земле.

— Да, историки не забудут Пресню, ибо невозможно забыть гробы, вспыхивающие, как факелы.— Людмила Николаевна помедлила, и опять на лбу появилась та упрямая складка, которую раньше сестра не замечала.

— В ночь ареста Шмита увезли из дома Плевако в участок. Усиленный наряд полиции и конных драгун... Он просил сестру не забывать рабочих и оставил деньги, дабы выплачивать им пенсии. Имя «шмитовец» подобно проклятью, волчьему билету...

— Лиза, когда назначены похороны? Возможно ли попрощаться с Николаем Павловичем? Где установлен гроб?

— В Введенском переулке, в доме Викулы Морозова. С похоронами пока не решено: градоначальник Рейнбот требует по-

ручительства.— Лиза недоуменно развела руками: — Поручительства!..

— Это какого поручительства? — переспросила и Людмила Николаевна. Взглянула на сестру и подивилась, как изменилась сестра после встречи в Петропавловской крепости. Жизнь научит добру и злу, научит...

— Рейнбот боится эксцессов, как в дни смерти Баумана. Родственников Шмита держат в приемной и требуют гарантий — все будет благопристойно. Мерзавцы! Мизинца их не стоят... Хоронить будут на Преображенском кладбище — Морозовы из старообрядцев.— Лиза сжала кулачки и зарыдала. Громко. Надрывно. Слез она не вытирала, лишь встряхивала головой, стыдясь малодушия.

— Слезами горю не поможешь, успокойся. На публичную лекцию в университет не опоздаешь?

— Нет. Университет бастует. Не слыхала? Шмит мечтал вырастить ветвистую пшеницу, хотел накормить голодных. Ездил на Волгу, занимался опытами.— Лиза с каким-то горделивым чувством сказала: — Людей он любил! Будучи фабрикантом, он по Москве путешествовал пешком, стыдясь тратить деньги на собственные нужды. Что-то в нем теплилось от святого народничества.

— Лизогуб? Да, может быть, ты и права,—согласилась Людмила Николаевна.— Тот так же пожертвовал свое состояние на нужды «Народной воли».

— А теперь по первопрестольной черносотенцы распускают слухи: Шмит решил объявить себя царем! — Лиза больше не владела собой, она кричала:—Велика честь на Руси быть царем! Царю за Шмита пуля да динамит... Я теперь начинаю понимать террористов!

— Перестань говорить глупости — царь, террор, динамит... Экая ты, право... Верно, не на те собрания зачастила... Несчастье тебя лишило разума.

— А тебя? Зачем прикатила из Петербурга? Зачем? — Лицо Лизы побледнело, только глаза возбужденно блестели, оттененные пушистыми ресницами.— Этот приезд может быть роковым — ты под следствием по делу Военной организации...

Лиза вскочила, бросилась обнимать сестру, жадно целовала ее лицо, руки. Захлебывалась, глотала слова:

— Они отнимут тебя... Отнимут... Уже пять арестов... Две ссылки, побеги... Счастье, что удалось вырвать из Крестов, но ты больна. И болезнь — благо! Только подумай: родные радуются

твоей болезни, ибо она дала возможность взять на поруки. Но судебная машина неумолима, она скрипит, крутится, и каторги не избежать.— Лиза прижала руки к груди, в глазах неприкрытый страх.— Московской охранке ты хорошо знакома, малейшая оплошность — и опять каземат... Сиживала в Таганке, сиживала в Бутырке... Откуда взять силы — у тебя туберкулез... А впереди лишь каторжная Сибирь!

— Малодушничаешь, родная. Волков бояться — в лес не ходить. От опасностей никто не застрахован. Жизнь такова... На суд не явлюсь — так советуют товарищи. В безопасности пережду приговор, коли каторжный, то что-нибудь придумаю.— Людмила Николаевна посмотрела на измученное лицо сестры и глухо сказала: — Нет, на каторгу они меня не запрячут и новых пяти лет жизни не украдут...

— Блажен, кто верует, легко ему на свете.— Лиза уже не плакала. Лишь неестественная бледность говорила о пережитом волнении.— Как-то удастся скрыться от суда... Гороховое пальто на каждом шагу. И ты в Москве!

Людмила Николаевна молчала. Закат угасал, и комната окутывалась таинственными сумерками. Хрипло били часы, да потрескивал огонь в печи. Хозяйка, худенькая и забитая, внесла самовар. Посмотрела на заплаканную квартирантку и зажгла керосиновую лампу. Оранжевый круг запрыгал на низком потолке.

— Конечно, разумом мой приезд не объяснишь,— продолжила разговор Людмила Николаевна.— Думаю, и друзья отругают. Но не проводить Шмита в последний путь не могла. И более того, никогда бы себе не простила.— Людмила Николаевна с нежностью обняла сестру за плечи.— Бедная моя... Кстати, у Шмита есть сестры... Любимые сестры...

— Сестрам Николая Павловича не позавидуешь. Они узнали все: и вечный страх за жизнь брата, и хлопоты о свиданиях, и простаивание в очередях с передачами, и даже битву за право похоронить...— Лиза нервно передернула плечами.— «Ямой разложения» назвал Бутырку Шмит. А он прав! Эти свидания через двойной ряд густой проволоки... Гроб с телом Николая Павловича не хотели выдавать...

— Что ты говоришь? Чудовищно! — Людмила Николаевна закуталась в плед: как всегда в минуты волнений, начинался озноб.— Признаться, я очень боялась, что полиция сделает все тайком... Увезли же Марию Ветрову из Трубецкого бастиона и похоронили на Волковом кладбище, сровняв могилу с землей...

— Могли... Все могли — в этом наша трагедия. Из Бутырок Шмита отправили в больницу для вскрытия на Новодевичье поле. Сестру не допустили: полиция, мол, сама доставит покойного для отпевания в особняк Морозова. Екатерина Павловна заподозрила неладное. Стала дежурить у морга. И вот ночью выехала крытая фура. За ней казаки. Сестра, взяв извозчика, начала погоню. Ветер свистит. Снег. Кромешная тьма, и несчастная женщина, которая может потерять след кавалькады. Ее могли арестовать жандармы, могли убить грабители. Счастье, что извозчик сообразил: гнал лошадей, не жалея жизни. Пречистенка. Зубовская. Фура все дальше, а несчастная прибавляет извозчику вознаграждение. Лошадь в мыле. С морды падают хлопья пены... «Сто... Двести... Триста...» — шепчет женщина. Только не отстать от всадников. И извозчик гнал по улочкам и кривым переулкам, которые выбирали перепуганные стражи закона.

Людмила Николаевна слушала рассказ сестры. Представлялась вьюжная ночь и эта холодящая душу погоня за гробом.

— Кстати, при расставании извозчик денег не взял. Молодец! Обещался прийти на похороны. «Ваш брат святой человек!» — Лиза помолчала, сделала несколько глотков воды.— Бедная Екатерина Павловна... Пьяный надзиратель кричит в Бутырках о смерти брата... А она так ждала встречи! Эта ночная погоня... Откуда силы? В доме обыски. Врываются полупьяные архаровцы. Провоцируют скандал, чтобы запретить похороны... Но главное — ищут завещание...

— Завещание? — Людмила Николаевна вопросительно подняла русые брови.— Шмит успел написать завещание?

— Да, успел. В Бутырках он потребовал нотариуса и, невзирая на протесты сестры, по всей форме продиктовал завещание. Деньги немалые, преданность его революции безусловна — вот и всполошилась охранка. Капиталы вложены в дело Морозовых, и юристы признают завещание.

— Интересно... Очень интересно...

— Во всех этих сложностях завещание играет немаловажную роль. Привязанность сестер к брату общеизвестна. Они не нарушат волю покойного. Значит, деньги пойдут на революцию. Морозовы возмущены жестокостью над представителем столь богатого рода. Переплет весьма сложный...— Лиза осторожно прикрепила траурный бант к портрету покойного.

— Портрет оставишь на видном месте? А если обыск? — Людмила Николаевна не одобряла поведения сестры.

— Тебе ли думать об осторожности? Сама в Москву прика-

тила,— миролюбиво возразила Лиза.— Охранке не до нас. Похороны... Забот полон рот. Небось шпиков из Петербурга подбросили. Где уж до бедных курсисток добраться!

Людмила Николаевна не ответила. Она прислонилась лицом к заиндевелому стеклу и прислушивалась к вою непогоды.

ВВЕДЕНСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Хоронили 16 февраля 1907 года.

От Покровских казарм, однообразных и желтых, свернули в Введенский переулок. Сестры спешили. С трудом переваливались через снежные завалы.

На сером небе высилась Введенская церковь. Старинная. Узкая колокольня. Белые главки куполов. Дома с нахлобученными шапками, как из сказки. Снежными маками расцвел кустарник. Ледяная парча на стволах лип. Ближе к домам пролегали тропки.

Особняк Викулы Морозова, известного богача, печально торжествен. Резные ворота распахнуты. На строгих колоннах изморозь. Широкая лестница под ковровой дорожкой. Кругом молчаливая толпа. Зеленые студенческие шинели. Закутанные в платки курсистки. Потертые полупальто рабочих. Рабочих сегодня много. Большинство стоит с непокрытыми головами, зажав в кулаке барашковые шапки.

Особняк Морозова напоминал крепость в осаде. Тут и городовые в длиннополых шинелях с меховыми воротниками. Лица обветренные, распаренные от мороза. К английской резной решетке, гордости Викулы Морозова, привязаны лошади. Снег на попонах. Нетерпеливо сучат копытами. Переминаются. Снег и на погонах казаков. Топчутся. Пытаются согреться. И храп лошадей, и мельтешение казаков, и злые глаза городовых, и само присутствие стражей закона в доме, где лежит покойник,— все оскорбляет, унижает, нарушает молчаливую скорбь.

Сестры пробирались сквозь строй жандармов. И опять Людмила Николаевна почувствовала холодок, столь знакомый, от назойливых взглядов филеров, почувствовала всю непристойность происходившего. Человек в гороховом пальто отделился от жандармов. Беззастенчиво преградил дорогу. Людмила Николаевна яростно шла вперед. Лиза, хорошо знавшая сестру, увидела, как задрожала ее нижняя губа, что служило признаком сильнейшего гнева. Она крепко сжала руку сестры, боясь, что та

сделает что-то страшное, непоправимое. И тогда... Шпик, стрельнув глазами, отступил, и Лиза, ощущая тепло руки сестры, облегченно вздохнула.

В особняке городовых особенно много. Более того, они образовали коридор на мраморной лестнице. Наглые. Вызывающие. Сестрам нужно было подняться на второй этаж, откуда доносились печальные и заунывные голоса. Отпевали. Тягуче и горестно. Сестры еще не видели гроба, но по той неприметной торжественности и напряженности, царившей вокруг, поняли, что главное — там. А пока анфилады богатых комнат, шелковые опущенные гардины, музейная мебель, громоздкие люстры, окутанные черным крепом. Временами слышался хрустальный перезвон — щемящий, тоскливый. Люстры вздрагивали, жаловались.

А по ковровым дорожкам все шли и шли люди. Горестные. С потемневшими лицами. Проплывали венки, и запах хвои перебивал сладковатый запах ладана.

В зале на высоком постаменте дубовый гроб. Покрывало кованого золота. Массивные золотые кисти по углам. На шитой золотом подушке лицо Шмита. Прозрачное. Бледное до синевы. Горели погребальные свечи, и в их ярком свете проступала печать страдания на лице покойного. Людмила Николаевна вздрогнула: нет, смерть не принесла успокоения этому измученному человеку, не наложила привычного умиротворения и отрешенности. Он умер, страдая. И это страдание так явственно читалось на челе покойного: ввалившиеся до черноты глаза, холодно сжатый рот, сурово сдвинутые брови. Тоска, тоска, тоска...

У изголовья певчие — старообрядцы. Поддевки перехвачены белыми кушаками. Высокие сапоги, густо смазанные жиром. Белые пятна вместо лиц... Да, да, безликие и бесстрастные. Они пели. Заунывно. Гнусаво. Пели старательно и бездушно. Ни настоящей печали, ни настоящей тоски, от которой хотелось кричать. Потом она много раз вспоминала это чувство обиды, его словами и высказать невозможно.

В залу вносили венки. Устанавливали у стен. Людмила Николаевна насчитала их более десяти. Они захватили стены и теснили гроб. На венках белые ленты, как принято у старообрядцев. Белые ленты... Живые цветы... Траурный креп на хрустальных люстрах...

Морозовы хоронили представителя своего рода, хоронили пышно, как и подобало богачам. Правда, благопристойность нарушали полиция да рабочие... И тех и других оказалось слишком

много, но у покойного были свои слабости. «Богу богово, кесарю кесарево», как говаривалось в старину. Каждому свое... Настороженность проскальзывала в опасливых взглядах деловых людей. Они не могли не присутствовать на похоронах Морозовых, но их явно шокировала полиция, толпа рабочих, как и жизнь покойного, хорошо им известная и ни в коем случае не одобряемая. Разговоры велись неторопливые, как и подобало при таких случаях.

Людмила Николаевна прислонилась у широкого окна, осторожно отодвинулась от резной тумбочки, увенчанной бронзовым сатиром. Вся эта обстановка роскоши плохо уживалась с представлением о Шмите, его альтруизме. Голова кружилась от слабости, столь нежданно подкравшейся к ней, от нервного переживания. Сатир, вытянув худой подбородок и заложив нога на ногу, откровенно посмеивался над людской суетой.

— Ночью ограбили Никольский монастырь. Воры пробрались через колокольню и взломали царские врата... Прихватили утвари на полмиллиончика.— Голос упал до шепота: — Куда только полиция смотрит?

— Оберегали гроб любезного покойничка,—насмешничал бас.

«Негодяй-то какой,— возмутилась в душе Людмила Николаевна, невольная свидетельница разговора.— Нашел словцо: покойничек...» И опять ее душу охватила тоска, смятение, словно не могла она защитить дорогого человека от равнодушных и бесстрастных свидетелей.

Мужчина держал фуляровый платок, временами подносил его к глазам. Стеклянным, как казалось Людмиле Николаевне. Он шумно вздыхал, широко крестился. Его сосед, важный и благополучный, мял толстыми пальцами клетчатый платок. Шубы господ на енотовом меху распахнуты. В карманах шапки, отороченные бобром.

— Полиция... В Сретенском полицейском доме политические голодают. Кажется, запретили обмениваться книгами. Посыпались жалобы. Генерал Рейнбот подтвердил, что полиция правильно запретила этот обмен —так и переписываться начнут... А что касается до голодовки, то заключенные могут ее продолжать, коли того желают.— Владелец клетчатого платка выразительно сощурил правый глаз.

— Так-с...— протянул его собеседник неопределенно, и трудно понять, осуждает или одобряет он сие действо.— Я приведу случай вопиющий. В Петербурге на императорской ветке обнаружена четырехугольная бомба наподобие книги.

— Бомба?

— Именно-с... На ветке в Царское Село. Подложил эту бомбу некто в форме машиниста железнодорожного батальона. Его пытались задержать, но он угрожал револьвером. Царский павильон из предосторожности не освещается, вот этот «некто» и скрылся. Теперь поезда сопровождает усиленная охрана... А из-за суматохи великий князь опоздал на доклад к государю! Порядочки-с... А вы — полиция! — И опять голос его звучал неопределенно, и, словно устыдившись, мужчина резко закончил: — Крамолы много, а тут...

— Крамола... Дума, батенька, открывается... Она положит конец беззаконию. Пора, давно пора заявить о себе деловому миру.— Фуляровый платок возбужденно запрыгал в руках.— Впрочем, даже газета «Русь» предсказывает разгон новой Думы.

— Слова... Газетчики — известные брехуны.

— Не скажите, батенька! А факт, имевший место у Таврического дворца? Околоточный набил морду прохожему. Набил и извинился. «Простите ради бога! Думал, что вы депутат!»

...И опять взмыл хор. Мужчины разом начали креститься, низко кланяться. Людмила Николаевна смотрела на них с ненавистью. Решила было отойти в уголок, чтобы не слышать раздражавшего приглушенного шепота, но отсюда хорошо виден гроб. Восковое лицо покойного. Трепетный свет погребальных свечей. Коленопреклоненная женщина в глубоком трауре. Плечи ее вздрагивали от беззвучных рыданий. К ней подошла Екатерина Павловна, положила руку на плечо. Женщина откинула черный шарф. Молоденькая-то какая! Елизавета Павловна. Младшая сестра. И как на брата похожа! Глаза такие прекрасные...

Около сестер на коленях старец. Худой. С иконописным лицом. Борода белая. Взлохмаченная. Жиденьким голосом старец подпевал хору. Подняв глаза, жарко заговорил, стараясь привлечь внимание:

— Люди, не будьте волками больше, чем требует жизнь. Остановитесь в истреблении, помяните о ранах ближнего...

Людмила Николаевна поймала его полубезумный взгляд. «Кто-то из доморощенных проповедников»,— брезгливо подумала. Старец вновь рухнул на колени. Молился жарко, самозабвенно.

— И все же Думу распустят по простой вещи — распустить значительно легче, чем собрать. Политика закрытых дверей для царя удобнее. К чему иметь сфинкса, как Дума? — Фуляровый

платок трубно высморкался. Очевидно, судьба Думы его заботила.

— Конечно, распустят. Я никогда не уповал на Думу. Народ, о нем так радел покойничек, не двинется с пиками и пением «Марсельезы» на Зимний. На нигилистов, равно и на студентов, пороха у правительства пока хватает.— Клетчатый платок описал круг и закончил: — Кстати, в день открытия Думы прекращено приведение в исполнение смертных приговоров. Этакий гуманизм... Вот только Николая Шмита поспешили уничтожить...

Около гроба студенты. В руках фуражки с золотыми листьями — кокардами. Университет закрыт. Завтра там гражданская панихида по убиенному студенту — естественнику Николаю Шмиту. Широкоплечий студент с печалью что-то говорил Алексею, брату покойного. Тот стоял бледный, отрешенный. Пожалуй, и соболезнований не слышал. Лишь нервически одергивал потрепанную гимназическую шинель.

На золотом покрывале букет красных роз и белая лента: «Дорогому товарищу от товарищей-бутырцев». Красные розы, как кровь. Хор звучит особенно грозно. Даже фуляровые платки, разглагольствовавшие о Думе, не поднимаются с колен. Старик с иконописным лицом распластался на полу. Плач. Стоны. Екатерина Павловна окаменела. Только горят глаза, их она не может отвести от лица покойного. Младшая, Елизавета, обхватила голову мертвого брата руками, пыталась что-то сказать сквозь рыдания. Алексей закрыл ладонями лицо. Плакал по-мужски. Неловко.

Рабочие окружили гроб. Оттеснили жандармов. Прощались долгим взором. Кланялись сестрам, брату и уступали место другим. И все это медленно, торжественно.

Закивали хвойными лапами венки. Их подымали. Выстраивалась процессия. Запах хвои перебивал запах цветов. На лентах, развевающихся от мерного колыхания, слова прощания: «Гражданину — мученику», «Пусть ты погиб, товарищ, но не умерла идея»...

Да, да, идея не умерла... Венки... Венки... Венки... Дурман ладана и крепкой хвои. Сверкающее кадило священника и белые ленты венков. Торжественное прощальное шествие. Проплыла крышка гроба, блеснув отполированными боками. Но что случилось? Жандармы грубо отталкивают рабочих и в который раз оскверняют веками сложившийся ритуал прощания. Вот они разрезали процессию, нарушили стройность рядов. Люди сгру-



дились. Замерли. Лишь с лестницы доносились чьи-то гневные слова...

Людмила Николаевна стояла у гроба. Все существо ее задыхалось от нестерпимой боли. Убили... Убили... Она низко поклонилась, беззвучно шевелила губами — попрощалась с покойным.

Рабочие, их легко было узнать, бережно подняли гроб. Тяжелый. Сверкающий. Несли на руках. Размеренно раскачивались золотые кисти. На лестнице гроб развернули, и среди складок



муслинового покрывала показалось лицо покойного. И опять на его лице Людмила Николаевна читала бесконечное страдание. Она до боли закусила губы и заспешила во двор.

У дверей сестры. Безучастные. Измученные. Встречали гроб. Парадные двери широко раскрыты. Дверей в этом богатом доме несколько. Из одних нескончаемой вереницей появлялись венки, из других торжественно выносили гроб.

Солнце в морозном венце проглянуло сквозь толщу облаков.

Зловещее. Багряное. Ветер завывал сердито, мутной кисеей бросал снежную пыль в толпу. Люди стояли терпеливо. Ждали с непокрытыми головами.

Тишина. Безмолвие. Скорбь. Лишь громко кричал городовой. Повелительно. Грубо. Казалось, полиция испытывала судьбу. У двери городовой срывал ленты с венков. Бог мой! Дожили! Белой пеной падали ленты на начищенные сапоги. С ропотом разрывался крепкий шелк, роняли пушистую хвою венки, осыпались красные розы. Ужас-то какой! Старики пытались вмешаться, остановить невиданное. Кто-то кинулся на городового. Его поддерживали из толпы. Но городовой, раскрасневшийся от досады, срывал и срывал ленты...

Из глубины двора появились носилки. Людмила Николаевна удивилась: «Носилки?» Да, да, носилки, на которые устанавливали гроб. Оказывается, решили гроб нести на руках до Преображенского кладбища. В белых попонах подвели слепых лошадей. Факельщики в балахонах колоколом и белых цилиндрах принялись укладывать венки в погребальную колесницу. Первая... Вторая... Венки, на которых оборвали ленты! Венки, претерпевшие схватку с полицией! Выкинули слово из песни. Вот она, действительность! Сновали шпики, господа в гороховом пальто, как отличительная особенность гражданских похорон.

Людмила Николаевна в каком-то странном оцепенении смотрела на происходившее. В суматохе она потеряла сестру. Как всегда в минуты наивысшего страдания, ей казалось, что она словно со стороны следит за происходящим, что все это видится в каком-то кошмарном сне, что нужно только побороть оцепенение — и все исчезнет. Но в глубине души она понимала, что изменить ничего не может, что насилие торжествует. И опять сердце стонало от невысказанной боли.

Процессия все в том же напряженном молчании, нарушаемом окриками жандармов, вытягивалась разноцветной лентой. Похороны разрешили с трудом. Викула Морозов дал подписку — нежелательных инцидентов не произойдет. Вот почему молчали рабочие. Вот потому так безнаказанно чувствовали себя городовые, присланные «для порядка».

Впереди процессии конные жандармы. За конными жандармами пешие. Выстроились, как на ученье, на привычной дистанции. За полицейской армадой шел игрушечный мальчик в нагольном тулупчике с иконой в богатом окладе. За мальчиком — носилки, гроб утопал в живых цветах. Стайкой собрались певчие в черных поддевках, перехваченных широкими шарфами. Спо-

тыкались и проваливались в снег сестры. Екатерина Павловна и Елизавета Павловна. Беззащитные в своем горе. Сестер поддерживал Алексей. Опустив голову, он с трудом вытаскивал ноги из снега.

Переваливались солидные господа в енотовых шубах. Многозначительно переглядывались. Недовольные городовыми, оцепившими процессию. Нехорошо-с! Непристойно. Так из любого либерала можно сделать крамольника. Шагали студенты. Озлобленные от стычек с полицией... «Городовых охраняли конные жандармы»,— невесело пошутил сосед Людмилы Николаевны. Она подняла голову, огляделась. Да, справедливо. Конечно, полное оцепление. Пешие городовые, пешие жандармы, конные городовые, конные жандармы — такие-то похороны на святой Руси!

День разгорался. Солнце пробилось сквозь толщу облаков. Лучи его золотили покрывало, оживляли цвеѐты, восковые от мороза.

Шли и шли рабочие. В полушубках. В ватных куртках, в тех, в которые Шмит одел дружинников в 1905 году. Вместе с рабочими и студенты, закутав лица башлыками.

Людмила Николаевна приметила старого знакомого. Студента. Смуглый, темноволосый, чем-то напоминавший покойного Шмита. Вот он сдернул шапку, поднял руку. Сильным голосом затянул мелодию, слова которой всем хорошо известны:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил,
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил.

И сразу же тысячная толпа запела, как слаженный хор. Пели «под сурдинку», пели, не разжимая рта, чтобы не вызвать пресловутого «нежелательного инцидента».

Городовой с обветренным лицом вздыбил лошадь и, резко наклонившись, пытался разыскать студента. Людмила Николаевна услышала храп лошади, грубую брань городового. Только процессия разомкнулась, и певец исчез, как хороший пловец на гребне волны. А многоголосый хор, вкладывая всю силу любви и ненависти, выговаривал:

Служил ты недолго, но честно
Для блага родимой земли...

Людмила Николаевна тоже пела. Из глаз падали слезы. Да и слова, как слезы, падали в морозном воздухе. Никогда не испытывала она такой боли и такого единства. И потом, в долгие годы изгнанья, она вспоминала похороны, траурную мелодию и это великое чувство единения.

Процессия продвигалась по Лялиному переулку. Мимо лавок купца Смирнова, мимо закрытых ставен трактиров. Из проходных дворов, они охранялись дворниками ради такого случая, прорывались студенты и мастеровые. Заливались свистки, захлебывались городовые. И по обеим сторонам процессии выстроились бабы. Сердобольные. Плачущие. Крестились, низко кланялись. Скорбно звонили колокола Введенской церкви.

Процессия вылилась на Каланчевку. Запрудила площадь, как полноводная река. Теснила городовых, солдат-сумцев. Ротмистр в заломленной папахе осадил лошадь. Осипшим голосом требовал:

— Пре-кра-тить пение! Пре-кра-тить!

Ротмистр выхватил шашку, ожесточенно резал морозный воздух.

— Христопродавец! С шашкой у гроба! — дернул офицера старик старообрядец.

Теперь рядом с ротмистром стояли офицеры-сумцы, их подбросили для подкрепления.

И опять пела толпа «под сурдинку». На этот раз похоронный марш. Тяжелы и трудны слова прощания:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.

ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ

Вена. Людмила Николаевна торопливо вышла из вагона. Широко вздохнула и радостно рассмеялась. Свобода! Позади поспешное бегство из России, переход границы, сомнительное общество контрабандистов. Все позади! В Петербург на суд она не явилась. Виновность была доказана, и по делу Военной организации приговор суровый — каторга. Нет, на каторгу она не пошла: в такие бурные дни отойти от жизни, да и здоровье ни к черту. Друзья помогли скрыться за границу. Достали паспорт, снабдили деньгами. Бежала с одной-единственной мыслью:

добраться до Ильича, рассказать, что творится в России. Без дела она сидеть не будет. Скорее бы Женева...

Поезд покатил ночью, и Вена встретила неприветливо. Сыро. Туманно. Людмила Николаевна подхватила легкий сак и, пройдя несколько кварталов, остановилась около небольшого отеля «Принц Евгений».

Швейцар распахнул дверь. В парадном было светло — горели витрины антикварной лавки, которую, как выяснилось, держал хозяин отеля. На красном бархате за стеклом серебряные безделушки, недорогие броши, табакерки с изображением принца Евгения.

В вестибюле за высокой конторкой хозяин. Представительный. В зеленом фартуке поверх сюртука. Вежливо осведомился, на какую сумму требуется номер, и начал записывать фамилию в толстую книгу. Расторопный кельнер понес вещи на второй этаж. Хозяин предложил подождать в холле, пока приготовят комнату.

Людмила Николаевна, измученная долгой дорогой, преследованием назойливого господина (в нем без труда признала шпика), с удовольствием опустилась в кресло. Рядом с камином во всю стену цветной витраж — принц Евгений в рыцарских доспехах выбросил на копье огненный стяг. Красный шарф прикрывал ближайших военачальников и бесчисленное войско, ощетинившееся копьями. Надменно взирал на чужестранку принц Евгений. Чуть поодаль у мраморной лестницы зелено-синий витраж — карта доблестных походов принца Евгения.

От камина тянуло теплом. Блаженствовала. Придвинула ноги поближе к огню. И опять на камине скакал неутомимый принц Евгений, на этот раз на массивных бронзовых часах под стеклянным колпаком. Усмехнувшись, Людмила Николаевна подмигнула принцу Евгению...

Хозяин с поклоном протянул на металлической груше ключ от номера. Ба, да она задремала! Людмила Николаевна поднялась по широкой лестнице, сопровождаемая кельнером. На лестнице ковры, корзины с пушистыми хризантемами. Кельнер указал на распахнутые двери ресторации — столы с накрахмаленными скатертями, стойки буфета с серебряной посудой. Женщина вздохнула: эка занесла ее нелегкая! Открыла дверь номера, зажгла свет. Отшатнулась. С вытянутым копьем, окутанный красным шарфом, летел принц Евгений, затканный в пушистый ковер. Да!..

Людмила Николаевна знаком отпустила горничную. Конеч-

но, дама сама разденется и разложит вещи. Отель дорогой. Поселилась для камуфляжа, но отсюда поскорее нужно выбираться. Белоснежные простыни, атласные пуховики... Денег не хватит, как бы до Женевы пешком по рельсам не пришлось идти...

В номере душно. Отдернула занавеску на окне, подняла жалюзи, распахнула ставни. Город спал. В квадратном дворике, зажатом каменными домами, лишь горело ее окно да ровной полосой падал свет от ресторации. В темноте резко означились крыши готических домов с зубчатыми гребнями на крышах. Вытянутые, похожие на крепости. Этажи означались цветочными поясами — на каждом окне висячий ящик с геранью. Темнота скрадывала решетки, и казалось, что цветы плывут под окнами. Позднее, в Швейцарии, эти шпалеры цветущей герани уже не удивляли, хотя всегда были прекрасны, но сегодня она их увидела впервые. В ночной тиши гулко звонили часы с кирки. Падал желтый лист. Свобода! Женщина быстро разделась, нырнула под пуховое одеяло и заснула мертвым сном...

Утром спустилась в ресторацию. Села в уголке за столик. Огляделась. Сухопарый англичанин уткнулся в газету. Жена скучающе листала рекламу модных магазинов. «В Вену за покупками»,— поняла Людмила Николаевна. Сидела семья итальянца с шумными мальчишками. Бонна англичанка. Чопорная. Злющая. Младший, веснушчатый, поблескивая черными глазами, что-то горячо доказывал. Бонна отрицательно качала головой.

Наконец толстый кельнер подал серебряный молочник, кофейник. Снял с подноса яблочный пирог, масло, джем. На отличном французском языке поблагодарил даму и протер салфеткой толстую фаянсовую чашку. Завтрак она уничтожила быстро, чем вызвала удивление англичан. На прощание сделала рожки мальчонке и, заметив, как он прыснул, к великому негодованию родителей, довольная, встала из-за стола.

В холле били часы. Принц Евгений воинственно взмахивал копьем. Десять. Встреча с товарищами состоится в одиннадцать. Значит, в ее распоряжении целый час. Можно будет побродить по Вене, а главное, установить, нет ли слежки. Чем черт не шутит! Встреча назначена в старинном парке Пратер, неподалеку от Дунайского канала. Там охотно собирались венцы, и в тенистых аллеях легко было укрыться.

От отеля «Принц Евгений» свернула налево. За Рингенштрассе начиналась старая часть города — собор святого Стефана, один из примечательных соборов Европы. Школа испанской

верховой езды, без осмотра которой разумный человек не покидает Вену. Оперный театр... Памятник Францу Первому...

Рядом с отелем лежал Бельведер, летняя резиденция принца Евгения. В строгих литых решетках. В зелени стриженых деревьев. У ворот служитель в ливрее продавал билеты в картинную галерею. Людмила Николаевна протянула два шиллинга и прошла в парк. Дворец утопал в яркой зелени. Все казалось чуть знакомым, вызывая образ другой столицы — Петербурга. Большие зеркальные окна. Строгие колонны. Могучие атланты, поддерживающие лепные карнизы. И от этого напоминания щемило сердце, и красота становилась близкой, понятной.

Перед дворцом на вздыбленном коне скакал бравый принц Евгений, воинственно выбросив вперед руку. На старинной бронзе проступала зелень: памятник хранил пыль века. От главного фасада дворца по сторонам симметричные постройки — одноэтажные вытянутые казармы и конюшни. На площади принц Евгений устраивал смотры дворцовой стражи. Великий воитель!

Женщина пересекла площадь и по узкому мостку двинулась к прудам. Позвала мальчика в форменной ливрее, купила пакет с хлебными крошками. Лебеди подплывали неторопливо, величаво. Грациозно вытягивали шеи и жадно хватали корм. Уплывали, будто в сказку.

Картинную галерею, расположенную в Бельведере, еще не открывали. Посетовав, Людмила Николаевна оглядела Бельведер. Красота какая! Все эти дни после перехода границы она испытывала приподнято-радостное настроение, будто вновь родилась. Свобода кружила голову, наполняла счастьем сердце.

По широкой лестнице (парк Бельведера располагался тремя кругами) Людмила Николаевна спустилась к фонтану. Мелкие брызги воды падали на лицо. Приятно освежали. По стриженым газонам гуляли павлины, тяжело волоча огромные хвосты. И опять она кормила павлинов, испытывая то радужное чувство, которое бывает у человека, избежавшего смертельной опасности.

Шумела Рингенштрассе, центральная кольцевая улица старого города. Проносились омнибусы, извозчичьи пролетки, конки. И все стремительно в суетном круговороте, и все полно жизни! Дорогу к собору святого Стефана спрашивать не стала. Огромная колокольня торжественно вписывалась в лазоревое небо. Как айсберг, припорошенный снегом. Какая простота! Гармония! Удивил ее и памятник императору Францу Первому. Неправомерно большой, он заполонил площадь. Императора окружали четыре жены. Массивные. Аляповатые. Торчали во-

круг трона во весь свой немалый рост. Прошлась она и под высоченной аркой испанской школы верховой езды. Прижавшись к стенам, долго рассматривала редкостные витражи, а мимо торопились омнибусы. Современность — сестра средневековья!

Своего знакомца принца Евгения Людмила Николаевна повстречала на этот раз на площади. Он вновь скакал на лихом коне, приготовившись к прыжку...

У здания венской оперы застыли извозчики. Театральные, ненастоящие. В длинных, до пят, кафтанах. В цилиндрах. Лошади с цветами на сбруе. В ярких попонах. Дань традиции в веселой Вене времен Штрауса. Извозчики лихо зазывали седоков, совсем как на Мясницкой в России. И в который раз Людмила Николаевна почувствовала себя счастливой. Взглянув на часы, попросила отвезти на остров Пратер.

Извозчик приветливо раскланялся, взгромоздился на сиденье и взмахнул кнутом.

ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК

До Женевы решила добираться на омнибусе. Хотелось повидать страну, да и путешествие стоило дешевле. Людмила Николаевна отдала кондуктору клетчатый сак, покараулила, пока он уложил в багажник, и по крутой лестнице забралась на крышу.

Из Берна выехали ранним утром. Плотный туман скрывал горы. Дорога вела через ущелье, заплетенное густыми ветвями самшита. Туман холодил, пронизывал сыростью. Женщина поплотнее закуталась в плед. Решила было спуститься в омнибус, но сосед-итальянец отсоветовал.

— Переедем цепь озер, и станет теплее. Синьора с юга? — полюбопытствовал итальянец, замотав шею шарфом.— Почему так страшится холода?

Людмила Николаевна рассмеялась. Итальянец натягивал толстый свитер, прятал покрасневшие руки в карманы.

— Из Прованса? Гасконии? — продолжал угадывать мужчина.

— Нет, я из России.

— О! Из России! Пурга! Снежные завалы! Белые медведи! Что значит для русских холодное швейцарское утро! Мой дед был гувернером в Петербурге. Почти каждый вечер рассказывает о морозах да вьюгах, которые в наших краях и не снятся. Послушать его собирается весь Неаполь.

— Белые медведи живут на полюсе. Обычно встречаемся с ними в зоологическом саду. Морозы, правда, свирепые, но они переносятся легче. А здесь сырость, ветер пробирает до костей... Бр-р...

— Нет, нет, синьора! На родине все переносится легче.— Итальянец сочувственно закивал головой.—Мои соотечественники приезжают в Швейцарию на заработки. Страна богатая, войн не знала доброе столетие. Брат по контракту строит дорогу в Альпах — швейцарцы тяжелых работ не знают, им в этом нет нужды. Я служу гидом в старинной фирме. Сопровождаю богатых туристов по Италии, но и в Швейцарии бываю часто. Контракт у брата заканчивается скоро, он накопил немного денег. Матушка приглядела гостиницу в Сорренто.— Молодой человек заулыбался и восторженно закончил: — Скоро откроем свое дело! Кстати, кто-то из русских революционеров назвал Сорренто — Сибирренто.

— Вера Фигнер. Она попала в Сорренто в полосу дождей.

— Ну и что?

— Не так все просто. Вера Николаевна двадцать лет просидела в Шлиссельбургской крепости. Вышла больной, измученной и от ревматизма страдала отчаянно. После крепости ее лишили права свободно выбирать местожительство, жила в глуши без друзей. С большим трудом удалось выехать за границу. И что ж? В Сорренто холод, туман, ветры, леденящие душу, а ей хотелось тепла, солнца... Вот и назвала Сорренто — Сибирренто.— Людмила Николаевна заколола плед булавкой, проклиная в душе модную шляпку: с равным успехом она могла бы путешествовать и с открытой головой.— Двадцать лет... Срок не малый...

— Русские — удивительные люди! И Россия — загадочная страна!

— Загадочная...— Людмила Николаевна задумалась: чем дальше она уезжала от родины, тем сильнее ощущала ту щемящую и раздирающую душу тоску, с которой мало что может сравниться. — Хотите послушать стихи Тютчева?

— Да, конечно...

Людмила Николаевна благодарно улыбнулась и начала читать:

Умом России не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

— Хорошо! Вам нужно посетить Шильон. Помните у Байрона поэму «Шильонский замок»? Сердцу русского человека эта поэма особенно созвучна...— Итальянец заметно оживился, и черные глаза его загорелись.— Бесстрашный Бонивар, которого тиран приковал к столбу в суровом подземелье...

— Это прекрасная поэма... Дух святой вольности... Я даже помню строки:

На лоне вод стоит Шильон;
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет...
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо — яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет ввек истреблено
Клеймо, надавленное им.

— Браво! Брависсимо! Действительно, русские—удивительные люди. Расскажу вам легенду. Любезность за любезность.

— Славно! — Людмила Николаевна придвинулась к своему спутнику.— Вот только звон колокола переждем.

Омнибус выбирался из туннеля, и кондуктор, опасаясь столкновения с встречным транспортом, резко дергал веревку колокола. Гулкое эхо катилось по горам. Зажженный фонарь, разбрасывая столб лучей, выхватывал из темноты кустарник, зеленые камни.

— Легенда о Шильоне?

— Да, да... В те далекие времена Байрон приехал в Швейцарию с Шелли. В Женеве взяли лодку и отправились на прогулку по озеру. У Шильона разразилась буря, и они пристали к замку. Красота замка их захватила, а седые предания заманивали в пропыленные рыцарские залы. В деревушке, расположенной поблизости, сняли комнату и прожили три месяца. Именно в этих местах Байрон записал легенду о бесстрашном Бониваре, о том женевском приоре, герое битв с герцогом Савойским. Кстати, Бонивар — личность историческая. Байрон начал собирать материалы, часами не выходил из мрачного подземелья, бродил по замку. Воображение его было захвачено, сердце отдано Бонивару. На стенах замка Байрон оставил свою подпись.— Молодой человек, поймав недоуменный взгляд спутницы, пояснил: — По обыкновению туристов. В наши дни эта подпись окантована медной рамкой.

— А далеко ли до Шильона?

— Нет, теперь скоро. От Монтре Шильон виден в хорошую погоду. Замок подобен сказочному великану. За его зубчатыми стенами дремлют горы, покрытые яркой зеленью.— Молодой человек восторженно покрутил головой.— Шильон... Мрачные своды. Глухие подземелья. Запутанные переходы. Цепи со следами крови. Потайные двери. Крутые каменные ступени. Все полно романтики средневековья.

— Побываю в Шильоне. Непременно. Омнибус там делает часовую остановку.—Людмила Николаевна с нежностью посмотрела на попутчика.— Вы превосходный гид.

— Ну-ну... Сразу и превосходный. Каждый, кто побывает в Шильоне, не сможет остаться равнодушным. Каменные своды удерживают массивные столбы. К одному из них приковали Бонивара. Мертвой змеей лежит цепь и поныне... В камне протоптана дорожка — след несчастного узника. Наверху герцогские покои. Там много прелюбопытного. Продолговатый сундук, его ковали железом, оказался разделенным на три отделения. В сундуке хранилась казна и соль — чрезвычайно дорогой продукт в те времена. Сундук запирался на три замка, но ключи берегли три стражника. Предательство невозможно. Наши предки отличались исключительной предусмотрительностью. Нужно было одновременно троим стражникам открыть эти сокровища.— Молодой человек, заметив, как удивилась Людмила Николаевна, продолжал:—Из каждого угла кивает средневековье коварством и вероломством. Крошечная часовенка в башне с потайной дверью. Бесконечные галереи, опоясавшие замок. Неприметные двери, скрытые шкафами. Секретные двери за картинами...

— К несчастью, коварство не осталось уделом средневековья,— уныло заметила Людмила Николаевна.— Наш цивилизованный век может во многом поспорить...

— Мадам права.— Итальянец наклонил голову.— Стены Шильона хранят предания не только о коварстве и вероломстве герцога Савойского, но и большой любви его дочери. Людская молва донесла любовные обеты, как нежные звуки лютни. Девушка не убоялась гнева отца. Каждый вечер с лодки лилась песня — это несчастная услаждала слух своего избранника. Бонивар рвался к амбразуре, хотел увидеть желанную, но цепь удерживала его около столба. Отец грозил проклятьем непослушной дочери, только сделать ничего не мог. Любовь от препятствий делалась сильнее.

Итальянец замолчал. Туман взгромоздился на вершины гор, открывая окрестности. Выкатилось солнце. Огромное. Слепящее. Заиграла яркая зелень по склонам гор. Воздух казался прозрачным, пахнул свежестью и тем неуловимым ароматом трав и лесов, который опьянял на широких просторах. Закружили амфитеатрами леса в золотом уборе. А дорога все уползала и уползала вверх. Красотища-то какая! Дух захватывает! С высоты открывались альпийские луга. Золотые ярусы вязов перемежались темно-зеленой хвоей. Пенились водопады горных речушек. Зеркальным блеском отражались горные озера, зажатые густыми деревьями.

И опять на пути старинный замок. Неприветливый. Безлюдный. Рядом с полуразрушенным римским театром. На каменной стене, окружавшей ров, переплелись виноградные лозы. Неведомая рука вылепила из этих лоз кленовый лист. Багровый. Живой. Казалось, кто-то из безбрежного мира бросил на трехметровую стену огромный лист как свидетеля былых времен, чтобы прикрыть замок.

И снова петляла дорога между крутых перевалов. Пестрели швейцарские деревушки, как на обложке цветного журнала. Было трудно вобрать эту красоту — зелень лугов, лазоревое небо, живописные домики. Омнибус остановился. Большое стадо коров под охраной сенбернара с квадратной мордой запрудило дорогу. Впереди желто-белые коровы. Неестественно большие. Неповоротливые. Низко наклонив головы, они с трудом несли могучие тела.

Людмила Николаевна перегнулась через перила: ба, да у коров кудрявая шерсть! Желтая. В белых подпалинах. Раскудрякудрявая... На шеях на широких кожаных ремнях колокольцы. Но какие! Величиной с добрый чугун. Равномерно раскачивались колокольцы, и в хрустальном воздухе висел перезвон. Стадо прошло. Мирно на склонах щипало траву, и горы долго стерегли праздничный благовест.

Кондуктор заиграл в рожок. Омнибус двинулся в путь. Дорога сделала резкую петлю и, повернув к горной реке, запрыгала среди утесов и черных камней. Река казалась немноговодной, но, скрытая белой пеной, кипела. Темные валуны лежали по руслу лоснящимися тюленями. Но вот русло расширилось, образовало голубую чашу и нежданно обрушилось крутым водопадом. Через реку деревянный мост на высоких сваях, почерневших от времени. Мост укрыли широким навесом, как в классических немецких сказках. По карнизу — нахохлившиеся чай-

ки. Крохотные. Речные. Раскидали пух по поросшей мохом дранке.

Омнибус закачался по бревнам. Людмила Николаевна с признательностью пожала руку попутчику. Благодать! И опять не отрывала глаз от седой пены речушки, от лазоревого неба. Грохотал водопад, а омнибус вползал в густой хвойный лес. Обнявшись, высоко поднимались ели. Кондуктор дернул веревку колокола, опасаясь дорожных неожиданностей. Запахло сыростью старого леса. Дремучего. Непроходимого, где и солнечный луч не частый гость. Людмила Николаевна поежилась: въехали в таежную чащобу. И вдруг зазвенела песня. Из-за поворота показалась подвода с бочкой молодого вина. На запятках стоял парень, высвистывал озорную песенку. Паренек пропустил омнибус и приветливо подбросил вверх войлочную шляпу:

— Оля-ля...

Людмила Николаевна радостно замахала платком.

Дорога сделалась просторнее. Новый поворот — и возник город из сказки. Дома — разукрашенные пряники. Улочки со звонким булыжником. Улицы — галереи с тихими магазинами. А над домами разноцветные флаги всех стран. Французские. Американские. Немецкие. Английские. Любовь швейцарцев к флагам и позднее удивляла Людмилу Николаевну, но сегодня она даже не могла ей найти разумного оправдания. На протестантской церкви солнечные часы с чугунной стрелкой. Негромкие удары колокола, напоминавшие бой часов, и омнибус развернулся на площади. Пассажирам предложили отдохнуть. Итальянцу нездоровилось. Закутался в теплый плед и молчал. Людмила Николаевна уговорила его побродить по городку. На крытых улочках бойкая торговля: на лотках, на земле, на толстых пнях — яблоки, мясо, битая птица... Живописный беспорядок. Все поражало обилием красок, как на натюрмортах.

— Теперь я знаю, откуда Рембрандт брал натуру,— шутила Людмила Николаевна, стараясь развеселить приунывшего спутника.

— Гм... Кстати, на том лотке лежат райские яблоки.— Итальянец кашлянул и предложил руку женщине: — Пойдемте на Женевское озеро.

Озеро казалось бескрайним. Прозрачное и голубое, как небо. В далекой дымке угадывались очертания гор. Неподвижно висели белые паруса лодок.

Вероятно, единственными жителями этого города были таксы. Коричневые. Шоколадные. Блестящие. С красными ошейни-

ками. Их водили на поводках дети, об их здоровье расспрашивали при встречах убеленные сединой мужи. Таксы шествовали по набережной, волоча по земле атласные уши. Важные. На кривых ногах.

С озера тянул ветерок. Подхватывал опавшие листья. Лениво перекатывал. Забрасывал в каменные чаши с цветущей геранью.

Они спустились вниз к самой воде. У мола белые лебеди. Синеглазый мальчуган бросал хлеб из плетеной корзины. Лебеди неторопливо подплывали и застывали сказочными кораблями с раздутыми парусами. Рядом суетились нырки. Черно-угольные. Непоседливые. Подхватывали крошки. Легко собирались в черное облако, легко растворялись в голубой глади. То, словно солдаты, бежали шеренгой в атаку, широко распахнув остроконечные крылышки, то прятались в воду и едва приметной зыбью подходили к берегу. И опять кричали. Остроголовые. С немигающими глазами-бусинками.

Итальянец потащил осматривать старинный замок с зубчатыми стенами, глубоким рвом и висячим мостом на ржавых цепях. На бастионе рядом с башней — пушки. Смешные. Жерла крошечные, игрушечные. Ядра — как яйца страуса. По винтовой лестнице вскарабкались на башню с бойницами и толстыми решетками. Пахло ветхостью, сыростью...

— История! — многозначительно поднял палец итальянец.

Заиграл рожок, и они заторопились к омнибусу. И вновь мелькали города. Странные кирки. Необозримые альпийские луга. Вот и памятник Вильгельму Теллю. Неукротимый Телль бронзовой рукой обнимал сына. Горел в солнечном свете блестящий наконечник стрелы.

— Швейцарцы очень воинственны,— прервал молчание итальянец.— Главное, они свято верят в свою непобедимость. «У нас весь народ — воин!» Регулярной армии в стране фактически нет. Правда, осенью проводятся сборы. В каждом доме винтовка, а изредка и пулемет.

— Любопытно! — засмеялась Людмила Николаевна.

— Да, безусловно... Винтовка в доме заставляет думать, что он — единственный защитник. Так родилась и легенда о Вильгельме Телле...

Людмила Николаевна молчала. Она устала от дороги, от тряски, от обилия впечатлений.

„ТОЛКОВАЯ ДЕВИЦА“

Молодая девушка потуже затянула широкий пояс и, задорно подмигнув себе в зеркало, поспешила на стук.

— Ба, Лиза! — проговорила она сильным голосом, протягивая руку гостье.

— Здравствуйте, Елена,— тихо ответила вошедшая.— Извините за опоздание.

Гостья оказалась небольшого роста, с тонкой гибкой талией и печальными глазами. Черное скромное платье подчеркивало бледность худого лица. Каштановый узел волос оттягивал голову. Было что-то неуловимо скорбное в ее маленькой фигурке и в широко раскрытых глазах.

— Познакомьтесь, Лиза.— Елена подвела девушку к Людмиле Николаевне, сидевшей на диване.— Мой друг. Совсем недавно из России... А это...

— Не представляй, пожалуйста, Елена.— Людмила Николаевна с нежностью смотрела на девушку.—Я сразу узнала Елизавету Павловну... Брата вашего, Николая Павловича Шмита, очень любила и уважала. Была на похоронах в те страшные дни... Похороны совпали с моим выходом из тюрьмы.

— Выходом из тюрьмы? — переспросила Лиза, и в глазах засверкали слезы.

— Да, под залог... Потом меня судили и приговорили заочно к четырем годам каторги... Бежала из России и очень рада нашей встрече.

— Спасибо, наслышана про вас.— Лиза благодарно пожала руку Людмиле Николаевне.— Я немного задержалась. Бродила по парку. День такой славный, захотелось побыть в тиши. Больше всего люблю уголок, засаженный березами. Трогательные. Говорливые, как фабричные девушки. Наш дом на Пресне прятался в березах...— И опять на глазах Лизы слезы. Закусила губу и переменила разговор: — А сколько белок в ботаническом саду! Сидят на дорожках с потешными мордочками и победно задранными хвостами.— Лиза помолчала и вновь продолжила о том, что больше всего ее волновало: — Три березы среди гигантских секвой, серебристых елей и пахучего лавра, словно изгнанницы. А полянка, усыпанная красноватым листом, напомнила дворик на Садовом кольце. Даже сердце защемило. Брат любил березы... Летом, бывало, всей семьей уезжали на Волгу. Садились на бережку под березами. Слушали мечту Коли о народе, который вскорости станет богатым и счастливым.

— Лиза, жаль, что меня не прихватили! Я тоже частенько бегаю на свидание к березам в le Grand. А потом уже навещаю и дубы в нахлобученных шапках... Крупные желуди потрескивают под ногами, как у Елоховского собора в Москве...— Елена мечтательно закрыла глаза. Подумала и твердо заметила: — И голуби тоже московские...

Людмила Николаевна слушала молча. Горечь, звучавшая в словах молодых женщин, не удивляла. Тоска по родине — тяжкая болезнь, и время здесь плохой лекарь.

— Лиза, на вашу фабрику я частенько наведывалась перед декабрьскими днями. Московский комитет поручил доставку оружия на Пресню. Это совсем не просто: забрать револьверы из «трех точек», точнее, из чистых квартир, упаковать и разнести. Вначале зашла на Пречистенку к зубному врачу. Обменялась паролем и получила оружие. У хозяина от счастья лицо помолодело — наконец-то избавился от такого груза! Выложил мне револьверы. Новенькие. Даже от смазки не очищенные. Осталась самая малость — пронести незаметно по Москве! Да-с... Вот и придумала уложить их в коробку от торта. Перевязала проволокой, а сверху голубой лентой... И потопала по Новинскому бульвару на фабрику Шмита. Кокетливая шляпка... Модное пальто... Даже городовой не остался равнодушным к моим чарам.

Лиза Шмит улыбнулась. Елена Кравченко, с которой сразу после приезда в Швейцарию свела знакомство, нравилась. Веселая. Боевая. В России в каких только переделках не бывала! Прозвали ее не зря «Толковая девица»... В Женеве Лиза попала в какой-то удивительный мир. Прекрасные, самоотверженные люди, своей отрешенностью похожие на брата. Разговоры о революции, подпольных типографиях, нелегальной литературе... Все это напоминало о декабрьских днях в Москве, все связывалось с мыслью о старшем брате. Она глотала их рассказы с жадностью. Хотела понять дело, ради которого так трагически погиб ее брат...

— А Николая Павловича встречали? — спросила она Елену, счастливая, что может узнать, вновь услышать о своем брате.

— Конечно, и на собрании в саду «Аквариум», и на конференции в училище Фидлера, и на похоронах Баумана... Москва тогда бурлила... Оружие на фабрике передавала Николаеву, он руководил боевой дружиной, а Николая Павловича берегли...

— А что же случилось с тортом? — не утерпела Людмила Николаевна, не спуская глаз с Елизаветы Павловны. Как похо-

жа на брата! И молоденькая какая! Лет восемнадцать с небольшим.— Доставили? Удачно?

— Вполне... Торт выхватывал Николаев и уносил, оставляя меня у проходной. Потом выходил с такой же коробкой и орал на всю улицу: «Хозяин недоволен... Заказывали фруктовый, а принесли шоколадный... Забирайте его, да больше не путайте... Разиня...» — Елена хмурила брови и старательно подражала басу сердитого Николаева.— Только он, хитрец, подменял коробку и вручал мне настоящий торт! Ха-ха-ха!

— Какая вы смелая! — Лиза замолкла под удивленным взглядом Елены.

— Смелая? Как все... Когда примелькалась разносчицей, то превратилась в молочницу. Одевала огромные валенки — морозы стояли жуткие,— повязывала шерстяной полушалок и хватала бидон с вмятыми боками.— Елена лукаво улыбалась, встряхивая коротко остриженными волосами.— Бидон — не коробка для торта... Это целое состояние: укладывай да укладывай... Только силы нужно рассчитать — не пыхтеть же на улице!

— Конспирация всегда требовала натуральности,— согласилась Людмила Николаевна, заинтересованная рассказом Елены.

— Лиза, у вас есть новости? — неожиданно спросила Елена Кравченко, и круглое лицо ее порозовело. Видно, что ответ заботил.

— К сожалению, должна огорчить. Письмо пришло, но дядюшка не принял моих слов всерьез и отказал.

— Как отказал?

— Натурально. Письмо я не прихватила, но смысл помню отлично: «Дорогая племянница, не делай глупости, не бери денег из моего оборота. Здесь на каждый рубль ты имеешь семьдесят копеек прибыли. Где еще ты такой процент получишь? Тысяч 10—15 могу выслать...» И далее в таком же духе...

Значит, Викула Морозов отказал Елизавете Шмит и деньги не высылал в Швейцарию. Людмила Николаевна сидела на диванчике и не отводила глаз от огорченного лица девушки. Историю с завещанием узнала недавно. Правда, в Москве она кое-что слышала от сестры, но особого значения не придала тем разговорам... Николай Павлович Шмит в Бутырской тюрьме попросил старшую сестру пригласить юриста и составить формальное завещание, а на словах — передать деньги на революцию. Юрист под присмотром надзирателя (свидания наедине были отменены) такое завещание составил, невзирая на протесты сестры.

Сама мысль о завещании ее пугала и казалась ненавистной. После той страшной трагедии полиция и разыскивала завещание, но безуспешно. Наследство оказалось значительным — каждая из сестер получила по 128 983 рубля. Доля Екатерины Павловны при разделе имущества сильно пострадала. Пришлось заплатить неустойку заказчикам (мебель сгорела при пожаре), выделить крупную сумму на пособия рабочим да и для защиты по судебным процессам. Любовь Шмита к своим рабочим была безмерной: даже при аресте он достал из сейфа деньги и попросил их раздать. К тому же «шмитовцы» после восстания словно получили волчий билет. Рабочие голодали, нуждались... Доля старшей сестры после всех расчетов значительно уменьшилась. Но все оставшиеся деньги она отдала партии. Теперь речь шла о наследстве младшей сестры Елизаветы Павловны. 128 983 рубля! Деньги, вложенные в текстильные предприятия Викулы Морозова, сохранились, и правительство не смогло их конфисковать...

— Кстати, Людмила Николаевна, вы читали завещание Шмита? — прервала ее размышления Елена Кравченко и, встретив ее недоуменный взгляд, протянула конверт.

Людмила Николаевна развернула бумагу. Ее переписала Лиза для памяти.

«Любезная сестрица Екатерина Павловна! Прошу и уполномочиваю Вас принять на себя заведование и управление всеми делами моими и всем без исключения принадлежащим мне имуществом, движимым и недвижимым, где бы такое ни находилось и в чем бы ни состояло, для чего можете Вы производить всякого рода платежи... Распоряжаться всем моим имуществом по Вашему усмотрению...»

— Николай Павлович знал, что живым из Бутырской тюрьмы не выберется...— Лиза бережно положила бумагу в сумочку.— К несчастью, я не достигла совершеннолетия и не могу распоряжаться деньгами... Попробовала их получить под прелести европейской жизни — неудачно... Дядюшка отказал. Воля Николая Павловича для меня священна, и деньги надобно передать партии... Вот только, что придумать...

Людмила Николаевна молчала. Конечно, Морозовы деньгам знают счет. Викула Морозов, как опекун и родственник, за интересы племянницы будет сражаться. Суть в том, как понимать эти интересы! После приезда в Женеву Елизавета Павловна встретилась с Владимиром Ильичем и сказала о своем намерении. Судьба девушки его заботила: конечно, охранка не должна

узнать о добровольной передаче денег. Потом она сдружилась с Еленой Кравченко, Толковой девицей...

— Лиза, пойдемте к Владимиру Ильичу... Расскажем все откровенно... Он-то придумает выход. Жаль, дело осложняется... Деньги так нужны партии...— Елена тяжело вздохнула и надвинула на вьющиеся волосы шляпку.— Кстати, по пути завернем в магазин мадам Шанье. Некий товарищ недавно из тюрьмы вырвался, пообносился там страх — я присмотрела недорогой костюм... Рубашки сама сошью... Недаром белошвейкой прозывалась.

— Белошвейкой? — С наивным удивлением Лиза взглянула на свою подругу.— Почему?

— Да все по пятому году. На Смоленском бульваре сняли для меня крошечную квартиру. Московский комитет организовал там склад оружия. Время боевое. В дверь часто звонили — связные доставляли то оружие, то литературу. Это опасное хозяйство прятала в платяные шкафы. Сложу и прикрою бельем, а потом куда там — просто по углам рассовывала.— Елена махнула рукой.— Однажды к вечеру звонок. Не условный. Конечно, удивилась: думаю, кого занесла нелегкая? Заказчица... Добропорядочная купчиха просила к свадьбе дочери выстрочить наволочки... Я так была занята революцией, что и забыла про свою профессию белошвейки...

— Ну и ну...— засмеялась Людмила Николаевна, и большие серые глаза засверкали лукавыми огоньками.

— Запамятовала... Смешно, что на двери табличка: «Белошвейка принимает заказы».— Елена тяжело вздохнула и чистосердечно призналась: — Шить я не умела. Мать мечтала мне дать образование и к домашним делам не приучала. Профессию белошвейки выбрали в комитете, чтобы оправдать в глазах дворника многочисленных посетителей. Квартира-то на бойком месте.

— Так и не приняли заказ? — добивалась Людмила Николаевна. Она хорошо понимала положение Елены: за долгие годы подполья кем только не пришлось побывать!

— Купчиху с грехом пополам спровадила... И тут ввалился дворник. Неуклюжий дремотный медведь. Дыхнул пьяным перегаром и пожелал иметь к празднику новую пару белья.

— Дворник — это серьезно.. Они всегда с охранкой связаны,— наставительно заметила Людмила Николаевна.

— Вот и беда! Дворнику отказать побоялась. Возможно, что его подослали из отделения. Покуражилась для виду: мол, масте-

рица первостатейная, работой завалена, но хорошего человека уважу.— Елена озорно подмигнула Людмиле Николаевне. Ямочка на подбородке дрожала от сдерживаемого смеха.— Ну и задал мне дворник мороки. Целый день бегала по Москве, разыскивала мастерицу...

— А потом? — Людмила Николаевна сняла с вешалки пальто, но решила дослушать эту историю.

— С важным видом вручила дворнику белье вместе со старой рубахой. Мерку-то снимать не умела, вот и шили по рубахе...— Елена комично выпрямилась и с достоинством кивнула головой.— От вознаграждения отказалась: сделала достопочтенному... Дворник был очень доволен, а в комитете дали взбучку: назвался груздем — полезай в кузов!

— Правильно... Дело есть дело.— Людмила Николаевна подхватила фельдшерский чемоданчик.— Пора к пациентам... Кстати, зайду за Владимиром Ильичем в Общество чтения. Мне на Grande rue.

ОБЩЕСТВО ЧТЕНИЯ

Людмила Николаевна простилась с Еленой Кравченко в старой части Женевы. Два часа дня. Добираться до улицы Марэше, где с недавних пор поселились Ильичи, было рискованно — дома она могла не застать Владимира Ильича. Обычно в это время он работал в Обществе чтения неподалеку от собора святого Петра.

Кривые тупички, узкие улочки, проходные дворы паутиной оплетали собор святого Петра. Вытянутая конусом колокольня казалась особенно большой среди старинных домов. Приземистых. С зубчатыми трубами на крышах наподобие петушиных гребней. На площади находилась часовня. Горели начищенные медные двери. Здесь Кальвин начинал свои проповеди. Медная плита с означением сего торжественного дня. Сизые стаи голубей на гигантской паперти. Они не взлетали при приближении Людмилы Николаевны, а лишь неохотно поводили красными глазами.

Крутая улочка вела к Большой улице. «Ба, на этой улочке можно быть сытым от одних запахов жаркого и крепкого кофе!» — порадовалась Людмила Николаевна. Ресторации... Лосевые головы над входом, раки и пивные кружки. Лишь на углу старинный арсенал, смахивающий на московский лабаз.



Grande rue — Большая улица — словно выхвачена из средневековья. На чугунных столбах уличные фонари. Кованые. На медных пиках. С мутными стеклами. Игрушечные домики. Крохотные. Лавки антикваров. Часовые мастерские. У дверей хозяева в фланелевых колпаках напоминали алхимиков.

Женщина прижалась к книжному развалу. Извозчик решился проехать по мостовой! Звонко пел камень под копытами лошади. Кучер натянул вожжи, лошадь с трудом тащила пролетку, рискуя влететь в витрины магазинов. Сумасшедший! Если, стоя на мостовой, раскинуть руки, то можно достать противоположные домики. Очевидно, кучер и сам понимал никчемность затеи. Слез с козел и повел лошадь под уздцы. Лошадь высоко выбрасывала белые ноги. Пританцовывала, словно цирковая.

Владелец книжного развала напоминал Дон-Кихота. Высокий. Худой. Со счастливой блуждающей улыбкой. Опустив на кончик носа очки, он с упоением читал разбухший фолиант. Ничего не видел, не слышал. Читал, не заботясь о мирской суете. Продажа книг его не интересовала.

Общество чтения помещалось в глубине двора. Женщина толкнула калитку и прошла через глубокую арку. Квадратный двор с фонтаном. Каменные чаши с геранью. Здание сумрачное. Серый камень. Узкие окна. Глухая дверь. И надпись на латыни.

Людмила Николаевна задумалась. Да, конечно: «Боюсь человека одной книги!» Только чьи это слова? Но мудрец прав: человеческая ограниченность страшна.

В скромной прихожей за столиком женщина. В седых буклях. Зазвонил телефон. Женщина сняла трубку с аппарата-кузнечика. Заговорила с приятной мягкостью.

Людмила Николаевна поджидала в зале. Седая женщина, повременив, спросила, чем интересуется дама. Услышав, что дама отыскивает Ульянова, широко улыбнулась. «О, месье

Ульянов здесь бывает каждый день». Дама, сделав предостерегающий жест (спаси господи нарушить тишину), скрылась в читальне. Людмила Николаевна решила полистать утренние газеты, но передумала: Владимир Ильич мог появиться каждую минуту. Огляделась. Скромная мебель. В углу мраморный бюст основателя Общества чтения. На камине часы под стеклянным колпаком. На старинном зеркале также часы, зажатые бронзовыми подсвечниками. На столе книга почетных посетителей. Среди них и император Наполеон, посетивший сии стены перед походом в Италию.

Вновь зазвонил телефон. Дама неслышно заспешила на звонок. В ближайшем зале Владимира Ильича не оказалось, и дама попросила Людмилу Николаевну самой заняться розыском.

Залитая светом угловая гостиная. Ковры. Трюмо. Неизменные часы. Из гостиной дверь в газетный зал. Вдоль стен на широких планках подшивки газет — швейцарские, французские, немецкие... Выступала печь, заставленная цветочными горшками. В центре длинные столы под клеенкой. Лампы под зелеными абажурами. И вдруг портрет испанской танцовщицы в кружевном платье. Испанка горделиво играла веером и, вскинув голову, с вызовом смотрела на посетителей.

За столом бородатый человек. Запустив пятерню в черные волосы, встретил Людмилу Николаевну потусторонним взглядом. Она сняла русские газеты. С легким хрустом перевернула страницу. Бородач нервно передернул плечами и заложил уши ватой. Женщина смущенно поднялась и остановилась у окна. Виднелись черепичные крыши, в просветах голубело небо, да доносились богатырские удары собора святого Петра.

Скрипнула дверь. Дама осторожно поманила ее. Бородач саркастически улыбнулся (он это ожидал!), а потом скривился, как от острой боли. Чувствуя себя преступницей, Людмила Николаевна направилась к выходу.

Они поднялись на третий этаж. И опять долгие комнаты главного хранилища. Казалось, стеллажи с трудом выдерживают эту громаду. Книги... Книги... Книги... На немецком, польском, испанском, русском, английском. Ящики с каталогами, и опять книги, книги, книги...

Владимира Ильича нашла во втором зале. Согнувшись, он сидел на ступеньках лестницы и просматривал журналы на немецком языке. Она не сразу решилась подойти к нему. Зачарованная, наблюдала, как быстро он перелистывал книги, как сосредоточенно делал записи в четвертушки бумаги. Наконец,

почувствовав взгляд, Владимир Ильич поднял голову. Растерянно посмотрел, потом, узнав, улыбнулся открыто и подкупающе. Предостерегающе поднял палец, боясь, чтобы она не нарушила тишины. Да, здесь тишину берегли! У окна какой-то пожилой человек рылся в картотеке. С явным огорчением Владимир Ильич начал расставлять книги по полкам.

— Прекрасное место для работы. Старички профессора — именно их усилиями Общество и держится — здесь почти не бывают. Фонды богатейшие... Много газет, журналов... В моем распоряжении, по сути, целый кабинет и тут же справочная литература.— Владимир Ильич помог Людмиле Николаевне надеть пальто. Помолчал и сказал с укором: — Лучше бы меня здесь не беспокоить...

— Извините, но получили письмо из России... Попросили зайти за вами. Дело с наследством Шмита осложняется...— Людмила Николаевна чувствовала себя виноватой: Владимир Ильич работал над новой книгой «Материализм и эмпириокритицизм» и временем дорожил.

— Хорошо. Подробно поговорим дома.— Владимир Ильич провел рукой по большому, с залысинами лбу.— Кстати, скоро обед...

Ульянов быстро зашагал. Крепкий. Подобранный. Дешевые брюки на швейцарский манер подвернул от грязи. Людмила Николаевна едва поспевала. У книжного развала задержался. Хозяин развала, смахивающий на Дон-Кихота, по-прежнему не выпускал фолианта из рук. Владимир Ильич не мог отказать себе в удовольствии порыться в книгах. Людмила Николаевна терпеливо ждала. Наконец он с грустью сказал:

— Ничего нового.

По гористому склону спустились к скверу у здания Оперы. Напротив кафе «Ландольт», излюбленное место русских эмигрантов. Собирались обычно в угловой комнате, темноватой, с массивными деревянными столами и стульями. В эту комнату имелся отдельный ход, что очень устраивало Владимира Ильича, опасавшегося слежки. На улице под разноцветными зонтами, словно грибы, окружали кафе столики. В эти обеденные часы оживленно. Женевцы пили кофе, читали газеты.

Водяная пыль висела в воздухе — шел мелкий дождь. Владимир Ильич и Людмила Николаевна на остановке поджидали трамвай. Читали газеты, расклеенные на круглых тумбах. Трамвай медленно выплывал из-за поворота. Прогромыхав, остановился. Владимир Ильич протянул кондуктору два су.

На улицу Марэше Ильичи недавно перебрались. Квартира крошечная, на третьем этаже. Меблировка дешевенькая. Стол, заваленный книгами. У стены сундук, и тоже с книгами. На сундуке постель, завернутая в клетчатый плед, здесь спал Владимир Ильич после приезда в Женеву Елизаветы Васильевны, матери Надежды Константиновны. «Да-с, живут по-спартански»,— подумала Людмила Николаевна.

Надежда Константиновна встретила приветливо и сразу же пригласила на кухню. И на кухне такая же простая обстановка. Стол, стулья... На столе фаянсовые тарелки. Крупными ломтями нарезали хлеб. Елизавета Васильевна начала усаживать за стол. Пахло супом и чем-то неуловимым, что ощущаешь лишь в приятных домах. В кухне шумные гости — Елена Кравченко, Лиза и молодой человек, которого Людмила Николаевна видела впервые. Конечно, Виктор Таратута, член подпольного Центрального Комитета, догадалась она, говорят, он неравнодушен к Лизе Шмит.

— Надюша, голоден как волк! — Владимир Ильич энергично протянул руку Таратуте, поздоровался.

— А на меня сердились, что вытащила в неурочный час из читальни,— не утерпела Людмила Николаевна и повернулась к Елене Кравченко: — Теперь поняла, почему вы сами не пошли... Хитрюга...

— И вовсе не сердился, а огорчился, что не сделал того, что задумал,— возразил Владимир Ильич и отломил корочку хлеба.

Надежда Константиновна разливала по тарелкам протертый суп, посыпая мелкой зеленью. Придвинула тарелки гостям, не слушая возражений.

Владимир Ильич ел, заразительно и весело посмеивался над рассказом Таратуты о Мартове; с необычайной быстротой закончив обед, отодвинул чашку с компотом и, согнав морщины со лба, спросил:

— Так какое письмо получили из России? От Викулы Морозова?

— Да, он отказал перевести Елизавете Павловне наследство. Более того, пристыдил, что она хочет забрать деньги из такого выгодного предприятия.— Елена Кравченко внимательно вглядывалась во Владимира Ильича, говорила медленно, неторопливо.— Желание истратить деньги на европейские бриллианты его не убедило.

— Елизавета Павловна, как вы относитесь к письму своего

родственника? — живо поинтересовался Таратута. Продолговатое его лицо стало настороженным.

— Дядюшка деньги любит и расстается с трудом даже с чужими,— тихим голосом ответила девушка, и на бледных щеках полыхнул румянец.

— Конечно, Лиза очень огорчена,— попыталась защитить ее Елена Кравченко, поправляя рукой прическу.

Людмила Николаевна заметила, как улыбнулась Надежда Константиновна. Действительно, Елена рьяно опекала свою подругу, как наседка, оберегала от любой опасности. Да и Виктор Таратута не сводит глаз с Лизы, мелкие бисеринки пота проступили на его лбу от волнения. Пристрастность его чувствовалась в каждом взгляде, в каждом слове. Да, любовь... Говорят, дело близится к свадьбе...

— Наследство для партии — что живительная вода. Сто тридцать тысяч без малого! Очень нужны деньги... На них можно послать людей, поставить в России нелегальные типографии.— Надежда Константиновна мечтала. Лицо задумчивое, просветленное.— Наследство... Морозовы — кулаки и деньги за спасибо не отдадут...

— Сто тридцать тысяч... Сумма не малая...— Таратута старательно размешивал сахар в стакане, не отводя влюбленного взгляда от зардевшейся Лизы.

— Нужно правильно взяться за дело.— Владимир Ильич нахмурился, и на большом лбу проступили морщины.— Да... Да... Найти безошибочное решение, а вернее, ход к сердцу Морозовых.

— Если бы исполнилось мое совершеннолетие, то можно настаивать, а так кто будет считаться...— Лиза беспомощно покосилась на Владимира Ильича и перекинула косу на грудь.

Владимир Ильич барабанил пальцами по столу и разговора не поддерживал. Взгляд карих глаз далекий, отсутствующий. Неожиданно он поднялся и бочком прошелся из угла в угол. Заложил руки в карманы и, раскачиваясь на носках, попросил:

— Надюша, поищи в своих «святцах» жениха для Елизаветы Павловны... Конечно, коли она на то даст согласие... И не простого, а сановитого...

Людмила Николаевна громко рассмеялась. Захохотала и Елена Кравченко, прикрывая рот ладонью. Жених? Предложение Владимира Ильича казалось нелепым. А Таратута? Кажется, жених здесь, и в «святцах» искать незачем. Лишь на лице

Владимира Ильича ни тени улыбки. Брови Надежды Константиновны вопросительно поднялись, глаза потемнели. Она уже не смеялась. Гм... Может быть, это единственный выход. Достала крошечную записную книжку (Людмила Николаевна всегда удивлялась, как много вмещалось там заветного), испещренную таинственными знаками, и принялась листать. Таратута откашлялся и, пытаясь скрыть смущение, пробасил:

— Женихи для Елизаветы Павловны...

И опять в его голосе Людмила Николаевна уловила скрытое волнение и пристрастность. Напряженно сцепила руки и Елизавета Павловна. На лице Надежды Константиновны боль — она уже поняла мысль Владимира Ильича. Бедный Таратута... Бедный...

— К величайшему сожалению, женихи требуются особенные. Морозовы очень богатые люди, но они купцы. Более того, завидуют дворянству, родовитому и, как правило, безденежному. Завидуют и презирают за неумение делать деньгу.— Владимир Ильич остановился напротив Лизы Шмит.— Понимаете: завидуют! Царь жалует дворянство, раздает чины, награды, а Морозовы так деревенщиной и остаются. Происходит купля-продажа: девушка из купеческого сословия приносит приданое родовитому дворянину, а тот, чураясь и кляня ее, вынужден торговать знатностью...

— Вот какая петрушка! — неожиданно для себя проговорила Людмила Николаевна, жалея в душе Таратуту и Лизу, которым, очевидно, предстоят немалые испытания.

— Дворянин... Только дворянин,— уныло подтвердила и Надежда Константиновна.

— И притом хорошего рода, с которым бы выскочки Морозовы пожелали породниться. Тут Морозовы денег не пожалеют. Старинное имя да деньги на Руси многое значат... Но я высказал все это умозрительно, как единственный вариант.— Владимир Ильич окинул Лизу острым взглядом.— Елизавета Павловна должна подумать и решиться...

— Конечно, если это для нее приемлемо.— Надежда Константиновна осторожно дотронулась до плеча девушки, словно старалась ее предостеречь.— Нужно подумать, очень подумать... Это весьма серьезное препятствие к счастью...

— Елизавета Павловна...— Таратута обратился к девушке, но слов своих не высказал, не смог, упрямо сжал губы, замолчал.

— Вопрос на редкость деликатный и требует большой тонкости. Фиктивный брак, когда сердце отдано другому...— Люд-

мила Николаевна сокрушенно покачала головой.— И деньги партии так нужны... Каждая копейка на учете: либералы перепугались, отшатнулись. В общем, денег в партии нет...

— Не надо ни о чем просить. Я согласна... Воля покойного брата...— Лиза выпрямилась и тихо промолвила: — Надежда Константиновна, ищите жениха...

— Так сразу и «ищите»! — сердито передразнил девушку Таратута и гневно ударил кулаком по столу. Потирая ушибленную руку, смутился: — Можно и о другом случае подумать...

— Нет другого случая,— с каким-то гневным упрямством ответила Елизавета Павловна, и глаза с укором остановились на Таратуте.— Николай Павлович такую мученическую смерть принял в Бутырках...

— Брак необходим по всей форме, чтобы законники не смогли оспаривать. Церковный и с разрешения русского посла. Православная церковь в Париже... Значит, придется ехать в Париж. Формальности, формальности и еще раз формальности.—Надежда Константиновна волновалась, и в голосе нет обычного спокойствия.— Но главное не в этом: судьба Лизы, как и судьба человека, который в порядке партийной дисциплины должен на ней жениться,— вот что тревожит...

— Но брак-то фиктивный? — почти прокричал Таратута и с испугом взглянул на Лизу. В душе его боролись чувства противоречивые: с одной стороны, гордость за любимую девушку — не всякая решится на такое, с другой — ревность, которой он стыдился, но совладать был не в силах.

— Фиктивный... Но у каждого участника этой драмы есть сердечные склонности и привязанности.— Надежда Константиновна старалась образумить Лизу, вернее, объяснить ей трудность того шага, на который она решилась.— Значит, они должны отказаться от этих привязанностей и на какое-то время поставить себя в ложное положение.

Таратута низко наклонил голову. Руками мял папиросу. Было что-то отчаянное и беспомощное в его крупной фигуре, в понуро опущенных плечах. Стараясь не смотреть в сторону Владимира Ильича, доискивался до спасительного выхода:

— Возможно, Морозовы дадут деньги и при обычном замужестве Елизаветы Павловны... Просто по ее сердечному влечению.

И опять в комнате тишина. Владимир Ильич прохаживался. У окна застыла Елена Кравченко. С непроницаемым лицом сидела Елизавета Шмит. Срывала пожелтевшие листья с герани.

Людмила Николаевна довольна, что может не видеть страдающего Виктора Таратуты.

Надежда Константиновна складывала в тазик тарелки, заливая их кипятком. Подумав, сказала:

— Красин был бы неплохой жених. Правда, занят делами по боевой организации, но с ним можно переговорить... Очень хорош Буренин. Богач. Близок со знатью. Сейчас он с Горьким и очень ему нужен... Очень. Можно подумать об Игнатьеве.

— Игнатьев? — переспросил Владимир Ильич.

— Да, Игнатьев... Кандидатура блестящая — сын генерала и племянник министра... Потомственный дворянин и прочее.

— Он в Петербурге? — уточнял Владимир Ильич.

— Да, отчаянный человек. Ведет работу в войсках, мечтает распропагандировать царскую охрану.— Надежда Константиновна с мягкой улыбкой заметила: — Это тот, кто занят планом похищения царя то ли на воздушном шаре, то ли другим манером... Фантазер.

— Ну и ну... Для серьезного революционера сие занятие недостойное и к авантюре весьма близкое...— Владимир Ильич рассердился и, резко взмахнув рукой, закончил: — Вызывай его в Женеву, Надюша. А вы, Елизавета Павловна, все серьезнейшим образом взвесьте...

ВОПРОС

И все же Людмиле Николаевне довелось встретиться с Игнатьевым в Берне. Он занимался транспортировкой оружия в Россию, а она работала в Комитете по оказанию помощи политзаключенным вместе с Верой Николаевной Фигнер. Той самой. Легендарной. Жила она в Давосе, небольшом курортном городке в Швейцарии. Имела фельдшерскую практику в санатории для туберкулезных больных. Санаторий особенный — для русских политэмигрантов. Туберкулез был страшным бичом. Российские казематы мстили тем немногим счастливцам, которым удавалось избежать судебной расправы. Трудным оставался путь в эмиграцию. Приезжали измученные, больные, исстрадавшиеся в долгом заточении. Вот им-то и нужна была настоящая человеческая ласка и тепло. Какие недоверчивые взгляды, какая обреченность у несчастных! Санаторий существовал на партийные деньги, их, как обычно, не хватало.

Людмила Николаевна дневала и ночевала в санатории. Она

и фельдшер, и пропагандист. Пожалуй, нигде не приходилось так тяжко: пребывание в тюрьмах отрывало человека от политической жизни, к тому же приезжали люди различных политических убеждений — борьба не прекращалась. Ей отвели крошечную комнатку в мансарде при санатории. Мансарда стала клубом — всегда здесь толпился народ. Спорили. Горячились. Частенько у нее оставались пожить из тех, кто заканчивал лечение. Перебивались на скудные деньги — это естественно: куда пойдет товарищ, у которого ни специальности, ни знания языка! Правда, в Париже организовали своеобразную биржу труда. Ею занимался Антонов-Овсеенко, но до парижан не так просто добраться!

Встреча с Игнатьевым назначена в отеле «Колесо». Отель респектабельный, дорогой. Игнатьев женился на Елизавете Шмит и должен был соблюдать осторожность. Деньги еще не передали в партийную кассу. Правда, нашли юриста, который готовился с доверенностью выехать в Россию для получения наследства.

Людмила Николаевна знала всю трагедию и с нескрываемым волнением ждала встречи с Игнатьевым. Она гордилась Игнатьевым и не знала, хватило бы у нее сил на такое самоотречение.

Отель она отыскала сразу. На возвышении. С огромным колесом над входом. Мальчик открыл дверь и принял зонтик. Она спустилась в залу. Стены, закатанные штофом. Букеты пестрых альпийских цветов. Хомуты... Гм... Хозяин отеля хотел оправдать название «Колесо» — хомуты, уздечки, ременные кнуты среди альпийских цветов. Нет предела частной изобретательности! В центре залы старая пролетка с кожаным верхом и висячим фонарем. Пролетка просторная — там стол, сервированный серебряной посудой, два стула. Здесь самые дорогие места. Удивленная Людмила Николаевна споткнулась и пребольно ударилась об оглоблю. Протянулась, проклятая, чуть ли не через всю залу с букетами альпийских цветов.

Официант в черной паре извинился и услужливо проводил даму к столику. Она уселась, боязливо косясь на хомут и кнут. Да-с, огреет не хуже оглобли! Играл оркестр. Музыканты в ярких костюмах высвистывали тирольскую мелодию. Она передвинула увесистую глиняную кружку и стала поглядывать на дверь.

Игнатьев появился в пять. Виновато развел руками, увидев ее за столиком. Да, конечно, пришла раньше.

— Елизавета Павловна просила передать привет,— глуховато начал Игнатьев.

— Как ее здоровье? — Людмила Николаевна подалась вперед. Она хотела узнать подробности этой небывалой свадьбы, хотела порасспросить о жизни Лизы, но не решалась, боясь поставить его в ложное положение.

— Хорошо, хотя сложности превеликие.— Помолчал и, собрав тонкие брови в ниточку, обронил: — Свадьба состоялась.— И уже совсем виновато: — Я теперь муж Елизаветы Павловны Шмит и прямой родственник богатеев Морозовых.

— Бывает,— тихо заметила Людмила Николаевна и покраснела, так нелепы показались собственные слова.

— Свадьба в полном смысле купеческая. Это Морозовым для большей убедительности. Мне заказали фрачную пару у знаменитого портного, который принял меня за графа. Суетился и лопался от важности — костюм для русского графа! — Глаза Игнатьева потеплели, и в золотистых зрачках загорелись смешинки.— Товарищ, который занимался моим сиятельным гардеробом, пояснил с редкостным простодушием: «Тебе это безразлично, а портному приятно».

Людмиле Николаевне Игнатьев нравился. Простой. Открытый да и в обращении такой милый. А Игнатьев говорил. Видно, хотелось ему рассказать об этом крутом и неожиданном повороте в жизни. Так несовершенно устроен человек — трудно одному переносить этакие превратности! Говорил, словно рассуждал наедине с собой, да и слушательница хороша — ни любопытства, ни лишнего вопроса.

— Красину и Буренину, их так же прочили в женихи, повезло. Один нужен в России, другой — Горькому.— Игнатьев вновь мягко улыбнулся и, закурив, заметил: — Конечно, у меня много преимуществ в глазах Морозовых — генеральский сын, племянник министра. Когда вопрос о свадьбе оказался решенным, я поехал хлопотать во Францию. Русский консул принял меня радушно — обрисовал все красоты Парижа, а потом и с танцовщицами обещал познакомить. А уж как сетовал, когда узнал, что я приехал жениться на купчихе! Жалел, как родного сына! «Это очень дурной тон — брать родовитому дворянину в жены купчиху, батенька! Да-с, плохо...» Но потом подобрел: «Деньги, канальи, до всего доведут!»

— Ну, а Елизавета Павловна? Она как все перенесла? — Людмила Николаевна задумчиво смотрела на собеседника.

— Елизавета Павловна держалась молодцом. Просто и мужественно. А ведь ждет ребенка от Таратуты! С какой грустью он смотрел на нее, когда она пришла проститься перед венцом!

И все достойно, и все с сознанием исполненного долга. Вот подлинное человеческое величие.— Игнатьев барским жестом отослал официанта, опасаясь, что он может стать свидетелем нежелательного разговора.— После свадьбы Елизавета Павловна с «другом дома» Таратутой поселилась в богатой квартире, а мне сняли комнату в Латинском квартале. Пока ждали известия из России, я занялся делами...

— Делами?

— Да, своими... Закупал оружие.

— А Морозовы?

— Все шло своим чередом: Елизавета Павловна послала Викуле Морозову письмо о том, что она вышла замуж за потомственного дворянина, что будет жить зиму в Париже, что нужно поддержать имя Морозовых, и прочее, прочее...—Игнатьев хитро прищурил глаза.— В заключение главное: «Теперь я — самостоятельная хозяйка и прошу перевести мне деньги в соответствии с завещанием брата...» Точный текст не помню, но суть такова.

— Конечно, теперь Елизавета Павловна уже не просительница, а прямая наследница,— заметила Людмила Николаевна.

— Конечно, это здорово. Ответ Елизавета Павловна получила быстро. Викула Морозов был горд и хороших слов не жалел: «Дорогая Лизочка, я всегда был уверен, что ты украсишь нашу фамилию», а далее главное: «Посылай доверенное лицо».— На лице Игнатьева довольное выражение. Добрая улыбка, которую он не старается сдерживать.— В Россию для оформления наследства посылают Сергея Шестернина. Юрист и человек дошлый. Явится представителем коммерческой фирмы для большей внушительности. Он уже клянет на чем свет стоит распроклятых Морозовых. Гобсеки, форменные гобсеки.

— Подумайте, дорогой, в партийную кассу переводится такая огромная сумма! Дух захватывает. Время лихое, и денег днем с огнем не сыскать.— Людмила Николаевна благодарно пожала руку Игнатьеву и, будто отвечая своим мыслям, заметила: — У Михая Цхакая единственная пара рваного белья, а обрядить его в новое не так-то просто. Гордость да и сознание, что денег нет. Проклятая эмиграция: ни работы приличной, ни денег, ни теплого угла.

— Слышали, в Париже кто-то из эмигрантов бросился в Сену. Ужас! Скорее бы в Россию — дни считаю! — закончил Игнатьев с неожиданной страстью.

— Теперь недолго, Александр Михайлович! Счастливец...

А мне заказан путь каторгой.— Людмила Николаевна нахмурила брови и тяжело вздохнула.— А как ваша невеста? Поймет ли она случившееся?

— Не знаю. Невеста моя весьма строгих правил, и условности для нее не пустой звук.— Игнатьев придвинулся к Людмиле Николаевне, заговорив доверительно: — Мы собирались обвенчаться после возвращения моего из Женевы. Я никак не мог предположить, что так надолго задержусь. Трудно придумать какое-либо разумное объяснение происшедшему.

— А гражданский брак? — уныло подсказала Людмила Николаевна.— Коли любовь настоящая...

— Гражданский брак? Гм... Ее семья никогда не даст согласия на этот брак. Условности в наше время не так просто переступить.— Игнатьев безнадежно махнул рукой и опять достал папиросу.— Владимир Ильич очень обеспокоен моей судьбой, а невесту попросту жалеет.

— Владимир Ильич?

— Да, разумеется. Он знает об Ольге, моей невесте. Более того, он советовал мне все взвесить и решить. Мой отказ бы его не обидел — Ильич все понимает. Человек! — В голосе Игнатьева мягкость, с которой говорят только об очень близких людях.— Нет, Ильич меня не неволил, но отказать я не мог. Совесть не разрешала.— Игнатьев помолчал и с надеждой закончил: — Скоро переведут деньги на женевский банк, тогда начну развод. Подам просьбу в консисторию, дойду до Святейшего Синода. Разрешат развод... А?

— Разрешат... Может быть, не сразу, но непременно.— Людмила Николаевна ответила оживленно, боясь огорчить собеседника.— Правда...

— Что — правда? — поднял черные брови Игнатьев.— Наложат эпитимию безбрачия? Все может быть, ханжам делать зло — одно удовольствие.

Игнатьев угрюмо насупился. Замолчала и Людмила Николаевна. Удивительная жизнь! Игнатьев томится неизвестностью (человек совершил гражданский подвиг), Елизавета Павловна согласилась на брак с человеком, которого никогда больше не увидит, или эта неведомая Ольга, которой предстоит так горько разочароваться в своем женихе... А Виктор Таратута даже не смеет назвать родных детей собственным именем! Все переплелось в трудный узел! Она жалела Игнатьева, жалела Лизу, жалела эту неведомую Ольгу. Жалела, но ничем не могла помочь, чувства собственной беспомощности стыдилась. Она

открыла сумочку, покопалась, пытаясь скрыть смущение. Обрадовалась, когда попалась свежая газета.

— Александр Михайлович, посмотрите «Вопрос» Чехова. Весьма любопытен...— Людмила Николаевна заметила, как Игнатьев попытался достать из бокового кармана очки, и остановила: — Не беспокойтесь. Слушайте: «Ввиду того, что лебеда примешивается к муке и хлеб с примесью лебеды употребляется крестьянами давным-давно, может быть столетия, нас просят спросить гг. ученых, исследованы ли семена лебеды и определены ли те питательные составные части, которые, вероятно, заставляют крестьян прибегать к этому растению, или же никто из гг. ученых этим растением не занимался и дело ограничивалось только тем, что все они разводили руками, когда слышали о лебеде, как суррогате хлеба?»

— Да-с, господа ученые...— Игнатьев бросил франки на стол, подозвал портье.— Когда наша бедная Русь забудет про лебеду как составную часть хлеба? Когда?

„О ФРАНЦИЯ!“

Миму аплодировали неохотно. Посетители кабачка неприязненно посматривали на молодого человека в клетчатом трико с бледным напудренным лицом и напомаженным ртом. На стареньких клавесинах заиграли марш. Мим раздул несуществующие щеки, выпятил несуществующую грудь и скользящим шагом промаршировал по сцене. Он падал и поднимался, бежал и замирал, ловил воздух тонкими руками и плакал, роняя ненастоящие слезы. Нет, мим, вчерашний кумир, успеха не имел. Более того: он вызывал у парижан удивление, как прошедший день или забытые увлечения,— другие мысли и чувства волновали посетителей кабачка, как, впрочем, и всю Францию. Война! Франция вступила в мировую войну! За столиками волонтеры, их подружки, и речи, речи... Проклятые боши угрожают Франции, так может ли честный парижанин быть равнодушным в такой великий час? Какие взоры у красоток! Какая отвага на лицах солдат! «Вперед на Берлин!» — это на столбцах газет, на устах каждого. И в страдающего мима полетели тухлые яйца. Откуда они появились в кабачке, трудно понять, но для парижан нет невозможного — в этом Людмила Николаевна убедилась с давних пор.

— Вон, вонючка! — ревет верзила в поношенном берете. Он

кричит, покраснев от натуги, и, словно в мишень, кидает в несчастного тухлые яйца.— Вонючка!

Осыпаемый насмешками и свистом, мим с ужасом смотрит на толпу. Вот она, слава! Хозяин почти насильно уводит мима. Теперь на маленьком пятачке-сцене его дочь. В коротенькой юбке и трехцветной кофте. В руках трехцветный флаг. Взмахнула рукой и сильным голосом запела:

О Франция, мой час настал: я умираю!
Возлюбленная мать, прощай: покину свет,
Но имя я твое последним повторяю.
Любил ли кто тебя сильней меня? О нет!
Я пел тебя, еще читать ненаученный,
И в час, как смерть удар готова нанести,
Еще поет тебя мой голос утомленный.
Почти любовь мою — одной слезой. Прости!

Теперь в кабачке тихо. Слушают с жадностью, ловят каждое слово. Песни Беранже обрели новое рождение. Их поют всюду — в кафе, на улицах, в полках. Война и смерть — сестры, это живет в душе парижанина. Вот почему так созвучны эти песни сегодня, вот почему такая сторожкая тишина.

Я вижу, что лежу полуживой в гробнице.
О, защити же всех, кто мною был любим!
Вот, Франция, твой долг смиренной голубице,
Не прикасавшейся к златым полям твоим.
Но чтоб ты слышала, как я к тебе взываю,
В тот час, как бог меня в иной приемлет край,
Свой камень гробовой с усильем поднимаю...
Рука изнемогла, он падает... Прощай!

Певичка поклонилась, победно взмахнула флагом и убежала. Публика ревела. Неистовствовала. Певичке простили и сиплый голос, и дешевую манеру исполнения, и даже конфетную внешность — драматизм песни, столь созвучный чувствам и настроениям, искупал все.

— Браво! Бра-во! — кричал моряк, подкидывая берет с пестрым помпоном. Правой рукой он крепко обнимал подружку.

— Слава Франции! — Голос упал и вновь затрепетал от сдерживаемых слез: — Слава!

Кричали по-русски. Людмила Николаевна оглянулась. Да, конечно, из русских эмигрантов. Петров. Тщедушный. В очках с толстыми стеклами. Он сидел за столиком с волонтерами и с упоением скандировал:

— Сла-ва... Сла-ва...

Соседи Петрова подняли стаканы и, разбрызгивая вино, тянулись к нему. Чокнулись. Петров расцеловался троекратно и, поправляя дрожавшими руками очки, что-то возбужденно и быстро заговорил.

«Он-то почему счастлив? Франция вступила в войну? — недоумевала Людмила Николаевна.— От голода еле ноги таскает. Живет на пособие из партийной кассы. Постоянной работы нет, все поденщиной пробивается. Уму непостижимо!» — Людмила Николаевна с надеждой посмотрела на часы. Скоро восемь. Значит, Луиза закончит смену и через двадцать минут будет здесь. Она не любила этого бойкого кабачка, но он был ближайшим к фабрике, и Луизе после работы казалось самым удачным встречаться здесь.

Для Людмилы Николаевны вновь наступили дни подполья. Бегала по Парижу, устанавливала связи с наборщиками, писала листовки, договаривалась о печати. Вновь подшивала потайные карманы на пальто, чтобы переносить нелегальную литературу. Здесь уж ей не было равных — опыт российского подполья не пропал даром. Таскала литературу в бельевых корзинах, в почтовых сумках, в шляпных коробках. Она помолодела, подобралась и, как пловец, кинулась в бурное море. Опасность рождает силы, да и французской полиции далеко до русского сыска. Правда, за антивоенную пропаганду для политэмигрантов предусмотрены большие строгости. Время военное, но борьба есть борьба! Да, риск большой — по любому поводу вас могут объявить немецкой шпионкой! Жила она в Латинском квартале в бедной квартире. Работала в частной мастерской, где шили солдатское белье. По лекалу обводила мелом грубую бязь. Конечно, можно было найти работу получше, но здесь, в мастерской, одни женщины. Далекие от политики, замученные нуждой. И опять шли беседы, и опять рассказы о русской революции. Хозяйка стала коситься на столь говорливую русскую, но уволить не решалась — женщины любили русскую. Да и непонятно, что происходило в стране: музыка, проводы волонтеров, а жены, дочери в трауре на панели? Кто знает: кто прав, кто виноват...

— Людмила, милочка! — Запьяневший Петров пробирался, поминутно извиняясь, к столику Людмилы Николаевны.— Какая встреча! И в такой торжественный день! — Петров счастливо улыбнулся и с чувством пожал руку.

— А что за торжество?

— Как, вы не знаете? Меня приняли волонтером. Я завтра

ухожу на фронт! — Петров, довольный, плюхнулся на стул.— Собрал друзей и вот гуляю, как рекрут в России.

— Волонтер?.. Жаль, не ожидала от вас такой глупости.

— Патриотизм вы называете глупостью? — рассердился Петров и с негодованием ударил кулаком по столику. Стаканы жалобно звякнули.— Как говорили римляне: «Не молчи, если говорить обязан...» Да, да, обязан!

— Обязаны стать пушечным мясом? Защищать шовинистическое правительство? Да где тут здравый смысл, не говоря уж о партийности! — возмутилась Людмила Николаевна. — Подумали ли о смысле этой войны? Вы — русский политэмигрант!

— Именно потому и иду на фронт. В России меня, как, впрочем, и вас, ждала каторга. С риском для жизни мне удалось бежать, и вот уже третий год я свободен... Свободен! Не на каторге в кандалах, а в прекрасной Франции!

— Без работы и куска хлеба! — мрачно парировала Людмила Николаевна.

— Деньги? Работа? — Петров до боли сжал крепкие руки.— Как часто я мечтал о куске хлеба, о котором вы изволили столь справедливо заметить. Но что делать? Не всем этот проклятый кусок хлеба дан в наш просвещенный век. Скажете о благоразумии? — Петров, не дождавшись ответа женщины, с болью заметил: — «Справедливость с благоразумием многое может», как учили нас в гимназии.—Петров вновь беспомощно улыбнулся и, словно подведя черту, взмахнул рукой: — А посему долой благоразумие и да здравствует риск!

— Вы не можете с такой безответственностью относиться к своим поступкам! — сердито сказала Людмила Николаевна, в глубине души надеясь образумить собеседника.

— Я перестану вас уважать, дорогая, коли не прекратите эти благоглупости. Конечно, женщин в армию не берут — мы в просвещенной Франции, но понимать наши порывы вы обязаны, черт возьми! — уже требовательно закончил Петров.— Вы же не трусиха... Умница... Неужели даже Плеханов вас не убедил?

— Плеханов... Слушать тошно Плеханова. Горько. В эти тяжелые дни он глубоко не прав, не понял и не разобрался в обстановке...

— Ха... Ха... Это Плеханов-то? «Будь я помоложе, я сам взял бы в руки винтовку и пошел бы защищать высшую культуру Франции против низшей культуры Германии». Это гово-

рит Жорж! — Петров прищурил светлые глаза и, явно подражая Плеханову, нравоучительно закончил: — Когда ваши маменьки и папеньки еще ходили под стол пешком, он, Плеханов... уже был марксистом... Мне импонирует Плеханов... Да и да...

— И все же слова его, а вернее, ошибочная позиция — плод непонимания... Война захватническая, грабительская, а Плеханов призывает голосовать в Государственной Думе за военные кредиты! Это позиция последовательного марксиста? А эта, с позволения, теория: коли Россия не победит в войне Германию, то задержит свое экономическое развитие? А требования прекращения классовой борьбы и гражданского мира в стране? — Людмила Николаевна угрюмо сдвинула брови.— Отказываюсь я понимать Плеханова. Образован, умен, а попахивает махровым шовинизмом...

— Любовь к родине просто называть шовинизмом... Беранже почему-то не стыдился говорить о любви к родине как о единственной страсти жизни.— Петров уныло долил вино в стакан.— Плеханов влюблен во французскую культуру и хочет спасти ее от разрушения пруссаков. Что в этом плохого? Он призывает и нас, русских эмигрантов, идти волонтерами ради спасения этой культуры. Кстати, русские волонтеры приняли декларацию от имени «русских республиканцев». Читали?

— Читала. Смесь политического невежества и крикливых слов. Многословие всегда прикрывает скудность мысли.— Женщина помолчала и с сердцем закончила: — Великую сумятицу внес дорогой Георгий Валентинович в умы...

— Забудем наши споры, Людмила Николаевна.— Петров подсел поближе, и в крупных глазах навернулись слезы.— Все же я чертовски рад, что сегодня вас встретил, словно русскую березку. Россия... Россия... И обещайте мне, если что случится, то отписать матушке... По-хорошему... По-доброму...

Людмила Николаевна положила ему руку на плечо и мягко улыбнулась. В глазах сострадание: да, все может быть...

На крохотной эстраде гремела песня, столь популярная среди русских эмигрантов:

Привет, привет вам, солдаты 17-го полка,
Настал великий час,
Теперь вы служите народу!
Если бы вы расстреляли нас,
Убили бы свою свободу.

Петров троекратно расцеловался с Людмилой Николаевной и вернулся к своим друзьям. И потом, когда уже получили из-

вестие о его смерти, она долго вспоминала этот просящий и чуть испуганный взгляд. Очевидно, он сомневался в правильности своего решения, а у нее не хватило сил удержать его.

А песня и правда славная. Ильич в бытность в Париже частенько напевал ее. Мелодичная. Нежная. Теперь она стала народной, хотя сложили ее совсем недавно. Где-то на юге Франции возникло восстание виноградарей. Возмутились на поборы и взялись за колья. На усмирение послали солдат 17-го полка, но события развернулись неожиданно. Солдаты присоединились к восставшим и бросили винтовки — до границ Франции докатились раскаты первой русской революции. Полк сослали в Африку, а известный певец Монтегюс сочинил песню. Отец Монтегюса был коммунаром, и революция для него не пустой звук...

— Горе, горе-то какое! У Мари убили брата. Ему лет двадцать. Щупленький. На лице одни глаза. Единственный сын в семье, и его боготворили.— Луиза шумно отодвинула стул и оживленно жестикулировала. Говорила. Говорила быстро. Картавила.—Убили... Убили... Он и жизни-то повидать не успел.

Людмила Николаевна чуть прищурила глаза. Припоминала. Это та самая девушка, которая сидит в мастерской у окна. Хохотушка и проказница. Да и брат частенько наведывался в мастерскую. То яблоки, то финики, бывало, притащит сестре на обед. Конечно, совершенно мальчик. Мари сказывала, что мать ее тяжело больна. Как-то она примет это известие. И, будто угадав ее мысли, Луиза продолжала:

— От матери скрывают его смерть — боятся. Бог мой! Это убьет ее. Пока добиралась сюда, несколько похоронных процессий повстречала. Сколько работниц в мастерской в трауре! А теперь и Мари...— Луиза огорченно всплеснула руками: — Парижане словно сошли с ума! Я утром была на телеграфе, так в окошко вылезла мадам и спрашивает: «Есть ли у вас брат?» Удивилась и сказала, что есть. «Так скорее пошлите его на фронт, а то боши ворвутся в Париж!» — «Нет, я хочу иметь живым брата... Живым...»

— А мне в префектуре позавидовали: «Русским война не страшна. Их много, и они побьют этих распроклятых бошей. Коли их много убьют, то много и останется... А нас, французов, мало». Я даже позеленела от возмущения: «Много — мало»! Каждый убитый русский имеет и мать, и жену, и детей. Стыдно слушать, сударь!» — «Ничего не стыдно, каждый думает о своем народе!»

— Прохвост! Тоже мне патриот! В первые месяцы войны Париж опустел. Остались лишь бедняки в Латинском квартале. Бежали «патриоты» — буржуа. Сразу же исчезли из обращения до лучших времен золотые и серебряные монеты. Бежали подальше от грохота пушек. Бежали, как трусливые собаки. На вокзалах давились, за глотки хватали друг друга...

— Буржуа дорога своя шкура... А с деньгами что сделали...

— Мне хозяйка жаловалась, что, имея крупные деньги, можно оставаться голодным — никто сдачи не давал... А работницам платят по сто франков в месяц. Как жить на эти деньги? Как? «Вы можете заработать на бульваре... Красивая... Если погуляете побольше, то и заработаете побольше... Что делать — война!» — Луиза гневно прижала кулачки к груди и зло передразнила хозяйку. Даже губы поджала и глазами начала косить: — «Война»! Поэтому и можно так беззастенчиво обворовывать. Наши братья на фронте, а нас, их сестер, посылают на панель, чтобы семьи не умирали от голода.— Луиза отпила несколько глотков сидра. Подняла стакан на свет. Пузырьки пританцовывали, пенились.— Вот она, мораль! Коли меня бы вновь избили, то вновь бы пошла с листовками.

Людмила Николаевна улыбнулась. Таким задором полна Луиза! Вся напружинилась. Разрумянилась. В черных глазах упрямство, а в уголках губ гневные морщинки. Они очень сдружились за эти последние месяцы: она, русская эмигрантка, и эта французская работница. Действительно Луизу избили. Она стояла у дверей концертного зала, где должен был происходить патриотический митинг, и раздавала прокламации. Сначала буржуа брали и благодарили, но, прочитав, кинулись бить молодую женщину тросточками и зонтами. Сердобольная французская полиция арестовала ее как немецкую шпионку. Правда, держали в префектуре недолго, но допрос вели с пристрастием. Закрыли в ящик, напоминавший собачью будку, и долго допытывались, откуда взяла листовки. Листовки дала ей Людмила Николаевна. Вечером хозяйка мастерской удостоверила ее личность, а мать, увидев синяки и кровоподтеки на лице дочери, потеряла сознание. Луизу отпустили, и отношения ее с Людмилой Николаевной, проверенные такой нелегкой ценой, окончательно укрепились. Да, Луиза прошла боевое крещение. Последствия ареста для Людмилы Николаевны, как иностранки, могли быть самыми печальными. В Париже провели регистрацию иностранцев. Нужно было получить особый вид на жительство и стать на учет как рабочая сила. Комиссар особливо



предупреждал каждого, что в случае подхода немцев к Парижу все иностранцы будут использованы на оборонных работах. «Да, мадам, будете рыть траншеи»,— говаривал он, потягивая жиденькое бургундское. Очевидно, это казалось ему пределом человеческого несчастья.

От раздумий Людмилу Николаевну отвлек голос Луизы.

— Значит, в пятницу собираемся в своем университете? — Луиза передвинула к себе поближе коробку из-под торта, где



были запрятаны листовки. Положила на коробку руки и, посмеиваясь, смотрела на Людмилу Николаевну.

— Конечно, Луиза. Вы оповестите работниц... Будем изучать тактику уличных боев на примере Пресни.— Женщина взглянула на Луизу и пояснила: — Пресня в Москве... Там геройски сражалась на баррикадах фабрика Шмита... Его потом замучили в Бутырках... Мне довелось быть на его похоронах...

— О, баррикады близки сердцу французов! — Луиза удовлетворенно покрутила головой. В черных ее глазах вспыхнули озорные лучики, голос понизила до шепотка: — Людмила, так ночью прокатимся по Парижу? А? Утром шла на работу, листовки, как голуби, во всем Латинском квартале. Работницы даже в мастерскую принесли... Только и разговору про эти листовки. «Долой войну!» — это всем женщинам очень нравится.

— Значит, поняли смысл листовки,— уточнила Людмила Николаевна, глубоко запрятав смешинки в глазах.

— Конечно, слова такие сердечные. В газетах одни крикливые писаки, правды не услышишь... А здесь все про нашу жизнь. Хозяйка на меня поглядывала, когда женщины разговорились про эти листовки, но я и головы не подняла. Сидела тихая-претихая, скромная-прескромная...

Людмила Николаевна удовлетворенно кивнула головой. Луиза молодчага! Как быстро переняла науку подполья. Ночью они действительно прокатились по Парижу. Среди русских эмигрантов оказался шофер такси. Вот и надумала она: упросить его на большой скорости поколесить по Латинскому кварталу и разбросать листовки. Да, да... Взять и разбросать. Шофер отказать не посмел. Сел на видавший виды «Рено» и широким жестом пригласил их с Луизой. Сиденье открытое, как в пролетке. Шофер в меховой дохе по парижской моде, на руках перчатки с кожаными крагами — в таком одеянии и на северном полюсе не страшно. А им каково! Мокрый снег слепил глаза, руки мерзли, а в ушах ветер свистел. Только шофер лихой — все улочки знал как свои пять пальцев. Виражи за виражами, а Людмила Николаевна разбрасывала листовки. Изредка машина замедляла ход, Луиза торопливо выскальзывала и засовывала пачку листовок около лавчонки или мастерской. Была и погоня — полиция пыталась перехватить машину, но куда там! Шофер дал газ — и ищи ветра в поле. Они с Луизой поднялись разбитые: руки разламывало, голова кружилась, как при морской болезни, ноги ватные, но все это пустяки — листовки нашли парижан. Ничто не может сравниться с сознанием выполненного долга — это Людмила Николаевна давно поняла. Забылось все: усталость, бессонные ночи в типографии, погоня полиции, страх ареста и военного суда — она была счастлива. «Эта война — не наша война. Через море крови работницы всех стран должны, как сестры, протянуть друг другу руки»,— ради таких простых и честных слов Клары Цеткин рисковала она прошлой ночью.

Луиза ушла. Взяла прокламации и ушла. Она жалела ее, Людмилу. Полиция проявляла большой интерес к Парижу, и Людмила Николаевна понимала, что скоро, очень скоро ей опять придется менять города и страну. Она вынула из сумочки приглашение к военному следователю и уныло принялась его рассматривать. Ничего хорошего ожидать от такого приглашения не могла. Это уже не первое. Первое она получила сразу же после возвращения из Берна. Готовилась конференция женщин-социалисток, и она была одним из ее организаторов. Приехала из Берна и сразу попала к военному следователю. И вновь началась эта игра то в искренность, то в лукавое удивление, то в молчанку. Следователь не грозил в отличие от полицейского комиссара, но выражение его чуть прищуренных глаз было таким неприятным и скользким, что новой встречи она бы не хотела. И вот теперь эта встреча должна состояться. Должна ли? Скорее всего, ее арестуют и предадут военному суду. Конечно, арестуют, если она пожалует к следователю, а если не пожалует, то значит...

Людмила Николаевна поднялась. Кивнула Петрову и, осторожно обходя столики, направилась к выходу.

Над шхерами висел плотный туман. Крошечный ледоход вгрызался в воды Финского залива, покрытого тонким льдом. Белым снегом искрились бесчисленные острова, возвышавшиеся среди зыбкого моря. Подмигивали маяки с островов Жениха и Невесты.

Громоздились редкие крепости-бастионы, забытые со времен шведского владычества. Густой зеленью темнели ели, высоко простирали в серое утро свои пунктирные ветви березы. Плавали голубые льдины, дробно ударявшие о борта парома «Фения».

Людмила Николаевна стояла на носу парома и не отрывала сияющих глаз от этой суровой и девственной красы. Ночью она не могла уснуть, волнения нахлынули на нее, как эти волны на борта парома. После почти десятилетнего изгнания она возвращалась на родину. Позади осталась Швейцария, Франция, Англия... Сколько пережито, сколько перечувствовано! Она провела рукой по седеющим волосам, ощутила горьковатый вкус слез на губах. Ба, да она плакала! Вот уж ни к чему! Она давно рассталась с этим женским выражением чувства. Но сегодня плакала... Родина... Россия... Как ждала она этого часа воз-

вращения, как верила и надеялась! Годы, как волны, омывали ее в изгнании, но никогда она не прерывала своих связей с родиной, жила ее радостями, ее горестями. Свято и честно ей служила. Конечно, она в изгнанье была полезнее, чем в российских тюрьмах. Сколько комиссий по оказанию помощи политзаключенным России она возглавляла, с какой изобретательностью пересылала деньги на нужды революции, входила в редколлегии большевистских изданий, сражалась с меньшевиками!.. Да разве возможно все припомнить! Каждый час, каждый день был отдан России.

Из Парижа ей удалось бежать. Луизу арестовали и обвинили в антивоенной пропаганде. Пришлось переехать в Лондон. Тут-то впервые встретилась с английской полицией. Какой изуверский допрос ей учинили! С какой неохотой разрешили жить в стране! Она многое видала, но такой рассчитанной жестокости, с которой к ней относилась английская полиция, не испытывала.

И все же она боролась: Луиза сидела в тюрьме, арестованная правительством социалистов! Вот какие бывают метаморфозы: социалисты держат в тюрьме человека, женщину, подавшую голос против войны! Ренегатами их называл Владимир Ильич, и он бесконечно прав.

В Лондоне Людмила Николаевна развернула кампанию в защиту Луизы: писала в газетах, выступала на рабочих собраниях, и наконец Луизу освободили, но теперь дорога во Францию ей заказана.

От нового ареста Людмилу Николаевну спасла революция в России. Она переехала в Стокгольм. Газеты в тот день вышли с жирными шапками: «Революция в России!» Отречение царя Николая Второго, приход к власти Временного правительства. Эти дни она плохо помнит — все было в каком-то радужном тумане, она не выходила из редакции газеты и ловила каждое сообщение, каждую весточку.

В Россию собралась с удивительным проворством, с трудом скопив деньги на проезд. Хозяйка, у которой она снимала комнату, удивлялась: русская даже вещи не желает брать с собой или хотя бы подумать об их судьбе. Родина звала, манила, требовала. Вся сдерживаемая долгими годами тоска вырвалась наружу и причиняла физическую боль. Домой... Домой... Домой... Конечно, она первая ласточка, и неизвестно, какие неожиданности ее ждут дома. Бои предстоят тяжкие, но в этих боях она будет уже непосредственно участвовать.

Туман отступал. Все явственнее проступали вершины елей на каменистых склонах. Вставало солнце. Огромное и величавое. Широкие красные лучи упали на палубу парома. Все ближе и ближе берег Або, старинного финского города, откуда ей предстоял путь в Россию. Вот и золотые кресты собора, остроконечные готические дома. Женщина крепче вцепилась в поручни и, не справляясь с волнением, восторженно шептала: «Революция... Революция... Революция...»



ОГЛАВЛЕНИЕ

Для среднего и старшего возраста

Морозова Вера Александровна

МОСТ ВЗДОХОВ

Повесть

Ответственный редактор *Г. А. Дубровская.* Художественный редактор *Л. Д. Бирюков.* Технический редактор *Е. М. Захарова.* Корректоры *М. Б. Шварц* и *Е. И. Щербакова.*

Сдано в набор 7/VIII 1972 г. Подписано к печати 22/XI 1972 г. Формат 60×84 1/16. Печ. л. 16. Усл. печ. л. 14,93 (Уч.-изд. л. 15,11). Тираж 75 000 экз. А03439. ТП 1972 № 461. Цена 62 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 4583.

ЦЕНА 62 КОП.

Вера Морозова * Мост вздохов